

Шукшин Василий Макарович

Я пришел дать вам волю

Художественная литература 2024

Я пришел дать вам волю

Шукшин Василий Макарович

Часть первая. Вольные казаки

Каждый год, в первую Неделю Великого поста, Православная Церковь на разные голоса кляла:

«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную Церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градах учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиап, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум...»

Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах Божьих рассказывали притихшим — нечто ужасное, дерзкое:

«...Страх Господа Бога Вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, Церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу — что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего час смертный»? Молчали.

...«Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и сыны на отцы, братья на братья возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин с наставники и зломышленники такого зла, с перво своими советники, его волею и злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»

Такую-то — величально-смертную — грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.

1

Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.

Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию — позади. Разницы приползли чуть живые; не они первые, не они последние «сбегали на Хволынь», но

такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за «зипуны» остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая — Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы «наторговали» у «косоглазых» саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил — отдохнуть, наестся... И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа — побрали рыбу соленую, икру, вязигу, хлеб, сколько было... А было — мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах — чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.

Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там — государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после — припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться... Да и почему отдавать-то?! Все добыто кровью, лишениями вон какими... И — все отдать?

2

...Круг шумел.

С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.

— Ты что, в гости к куму собрался?! — кричали ему. — Дак и то не каждый кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.

— Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня — не ухват! — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. — Сам могу кого хошь угостить.

— Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох и жадный же!

Кругом засмеялись.

— Кондрат, а Кондрат!.. — Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. — Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?

— Проверить-то? — оживился Кондрат. — А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твою же носа, — воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою занепраслину подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка...

— Будет зубоскалить! — Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.

— Браты! — начал он; вокруг притихли. — Горло драть — голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальшиков-стрельцов собралось: новые пришли и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас — тыща с

небольшим. Да хворых вон сколь! Это — одно. Терки — там тоже стрельцы...

Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним — кто стоял, кто сидел — есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярослав Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось — не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:

— Как сам-то думаешь, Федор?

— На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст Бог, возьмем, зазимуем... Есть куда приткнуться.

— Тьфу! — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль). — Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют... А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: «Идите, казачки, пошарпайте нас!» Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу...

— Не путайся, Стырь, — жестко сказал серьезный есаул.

— Ты мне рот не затыкай! — обозлился и Стырь.

— Чего хочешь-то?

— Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.

— Дак вить это — кому как, Стырь, — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. — Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся — шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? — Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. — А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть...

— Язык — это што! — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. — Я лучше тебе вот эту ляльку покажу...

— Хватит! — зыкнул Черноярец, первый есаул. — Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут...

— Но у его все равно длинней, — ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.

— Говори, Федор, — велел Степан. — Говори, чего начал-то.

— К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там...

— Добро-то куда там деваем?! — спросили громко.

— Перезимуем, а по весне...

— Не надо! — закричали многие. — Два года дома не были!

— Я уж забыл, как баба пахнет.

— Молоком, как...

Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.

— Сами вы бабы все тут! — сказал зло и горестно.

— К Яику пошли! — раздавались голоса. — Отыдем Яик — с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.

— Домо-ой!! — орало множество. Шумно стало.

— Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!

— Мы войско али — так себе?! Пробьемся! А не пробьемся — сгинем, не велика жаль. Мы первые, што ль?

— Не взять нам теперь Яика! — надрывался Федор. — Ослабли мы! Дай Бог Терки одолеть!.. — Но ему было не перекричать.

— Братцы! — На бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. — Пошлем к царю с топором и плахой — казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же...

— Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!

— А я думаю...

— Пробиваться!! — стояли упорные, вроде Стыря. — Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись...

Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого... То ли хотел запомнить, кто первый выскочил «с топором и плахой», какой умник.

— Батька, скажи, ради Христа, — повернулся Иван Черноярец к Степану. — А то до вечера галдеть будем.

Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги — чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана — надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.

Поутихли. Смолкли вовсе.

Степан подошел к бочонку... С бочонка прыгнули Федор и кудлатый казак.

— Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.

Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:

— Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: интить нам на Дон али нет? — не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стяхнулись — и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака — бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки...

— Хорошо говоришь, — похвалил Степан. Сшиб набок бочонок, указал старику: — Ну-ка — с него, чтоб слышней было.

Стырь не понял.

— Как это?

— Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.

— Неспособно... Зачем свалил-то?

— Спробуй так. Выйдет?

Стырь в неопикуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана...

— Говори, — велел тот. Непонятно, что он затеял.

— А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? — сплошные какие-то...

Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками.

— Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый!

— Да не могу!.. Он крутится, как эта... как жана виноватая...

— Вприсядку, Стырь! — кричали с круга.

— Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!..

Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.

— Не можешь? — громко — нарочно громко — спросил Степан.

— Давай я поставлю его на попа...

— Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь — не крепко под тобой. Я не хочу так...

Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.

— Мне тоже домой охота! — Только домой прийти надо хозяевами, а не псами битыми. — Атаман говорил короткими, лающими фразами — насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут — в манере держаться и говорить перед кругом — тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, как надо говорить, даже если не всегда знал, что надо говорить.

— Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройти, как есть — с оружием и добром. Пробиваться — сила не велика, братья, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся — не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийти надо целыми. Будем пока стоять здесь — отдохнем. Наедемся вволю. Тем временем проведем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы... Здесь в ямах ее много. Дозору — глядеть!

Круг стал расходиться. Разболочались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье... Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Парами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.

Больных снесли со стругов на бережок, поклади рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.

Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что он таит.

Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил, и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.

— С царем ругаться нам не с руки, — говорил он, стараясь не глядеть на есаулов. — Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!

— Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?

— Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами — пропустили. И мы так же: был грех, теперь смиренные, домой хотим — вот и все.

— Не оказались бы они хитрей нас — пропустит, а в Астрахани побьют, — заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.

— Не посмеют — Дон подымет. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит — станицу к царю пошлем: повинную голову меч не сечет. Будем торчать как бельмо на глазу, силу, какая есть, сбережем. А сунемся — побьют. — Степан посмотрел на есаулов. — Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.

— Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается, — взялся опять за слово Степан. — Я не слыхал, что воеводы астраханские такие уж лопухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды...

— Откуда у вас дружба такая повелась? — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами. — Не побратим ли?

Он весь какой-то — вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует, и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать и чтобы поступал немилосердно. Случается — атамана затрясет неудержимая ярость, — Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.

Степан ответил не сразу, с неохотой... Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить... Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.

— А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?

— Как же он тебе теперь поможет?

Степан, как видно, и про это думал один.

— Будет петь в уши Прозоровскому: «Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь — нам беспокойно». По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стронуться.

— А ну-ка царь им велит? — допрашивал Ларька. — Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?

— Мы с царем пока не цапались — зачем ему? И говорю вам: с Украиной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Серком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал — кто посильней. Царь повыше нас сидит — на престоле, должен это видеть. Он и видит — не дурак, правда что... — Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца. — Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам — Волгой ли, через Терки ли — как способней. К гребенским тоже пошли — тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон... я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут — пусть шум будет: мы без шума не собираемся. А шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнем: небось сговорчивей будут.

— К гребенским послал, — откликнулся Иван.

— Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем. — Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и — в душу опять лезут, дергают.

— На кой черт столько митрополиту отвалил на учуге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана.

— Надо, — коротко ответил тот, думая о чем-то своем. — Помолчал и добавил: — Молиться за нас, грешных, будет.

— А ясырь-то зачем? — пытал Фрол.

— Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва добрая: дашь ей — хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. С ей спорить — легче на коне по болоту ехать.

Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду... Плюнул, пошел дальше. Бездействие самого томило атамана.

— Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо — прокиснем.

Некоторое время шли молчком.

Давно они дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет пять тому назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у людей: «Как на Киев проехать?»). Эта

изобретательность Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз зачем-то даже поперек шел — назло, что ли, только сам Степан не смог бы, наверно, объяснить (да он как-то и не думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет — проверить — как?.. Фрол — как так и надо, молчит к делает как велено, но чуял Степан, что делает больно другу, чуял и потому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом.

В прибрежных кустах, неподалеку, слышались женские голоса, плеск воды — купались.

— Кто эт? — заинтересовался Фрол.

— Тише... Давай напужаем. — Степан чуть пригнулся, пошел сторожким неслышным шагом. Крался всерьез, как на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже.

— А-а... — догадался Фрол. И тоже пригнулся и старался ступать тихо.

Вот — налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок... Тут он весь. И в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос — спокойный — маленько слабел: говорил мало, дельно. Мгновенно соображал, решал сразу много — только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом — только бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и еще не все. К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался... Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше, и после — поступки и дела его — тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи сам. Тогда-то он и свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди, и тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились... И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам все почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь — куда его тащит, зачем? — и бросал: не то что не по силам, а... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай — тоже вытерпеть надо. Это-то как раз и не по силам — долго сидеть. Посидит-посидит, подумает — надо что-нибудь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужики: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, заглядывался... Выйдет во двор — хоть кол надо пошатать, полешко расколоть. Такие неумные.

...Купалась дочь астаринского Мамед-хана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли — радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей.

Казачи подошли совсем близко... Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку.

Степан смеялся беззвучно; Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело шахини.

— Сладкая девка, в святителя мать, — промолвил он в нежностью. — Сердце обжигает, змея.

— Ну, одевай ее!.. — сказал Степан няньке. — Или вон — в воду. Чего расшиперилась, как наседка!

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин.

— В воду! — повторил Степан. Показал рукой.

Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.

— Зря согнал, — пожалел Фрол. — Хоть поглядеть...

— Глазами сыт не будешь.

— Нехристи, а туда же — совестно.

— У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех.

— Такая наведет на грех... Ослепну, не гляди!

Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.

— Что? — непонятно, с ухмылкой спросил Фрол. — Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил... Охота, поди, к тятке-то? А?

Старуха нянька что-то сказала на своем языке, сердито.

— Во-во, — «согласился» Фрол, — тятка-то ее — бяка: бросил доченьку и — драла...

— Будет тебе, — сказал Степан. — Купайтесь! Пошли.

Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про все на свете — резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, ожерелья, перстни... Даже шаль какая-то дивная лежала.

Игроки — старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, — увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.

— Сукины дети! — закричал над ними Степан. — В дозоре-то?

— Да кто ж это так делает, а?! — подал голос и Фрол.

Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону... Старик, понутив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.

— Чей? — спросил Степан молодого.

— Федоров.

— Зовут?

— Макся.

— Знаешь, что за это бывает? В дозоре карюжничать...

— Знаю.

— А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?

— Прости, батька.

— Иди суда!

Казачок медлил.

— Ну, я за тобой гоняться не буду, на кой ты мне нужен. Снимай штаны, старый, тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему не совестно...

— Эхе-хе, — вздохнул старый и стал снимать штаны. — Смолоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у тебя рука-то...

Степан краем глаза наблюдал за молодым.

Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.

— Напаскудил и в бег? — сказал Степан. — Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил, — вложь ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся.

— Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых людей не дурачил, — обрадовался Микифор.

— Обыграл? — полюбопытствовал Степан.

— Всего обчистил, стервец!

— Молодец! Не хлопай ушами тоже.

— Да он мухлюет, наверно! — воскликнул старый казак, как-то — и возмущаясь, и жалуясь — сразу.

— Кто, я мухлюю?! — возмутился и Макся. — Чего зря-то, дядя Микифор... Карта везучая шла. Я сам вчера Миньке Хохлачу чепь золотую продул — карта плохая шла.

— Ложись, ложись, — поторопил его старый.

Макся спустил штаны.

— А хоть и мухлюет — глядеть надо, на то глаза, — вмешался Фрол за-ради справедливости.

— За ими углядишь! Они выются, как черти на огню... Зарок давал — не играть, нет, раззудил, бесенок...

Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.

Степан с Фролом направились к другим дозорам.

— Сам считай — сколько: я только до двух десятков умею, — сказал Микифор.

— Я скажу «хватит», а ты не поверишь, скажешь, обманываю... — Макся отпустил ладонь — хотел было поговорить, даже и голову приподнял — тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: — Сам-то не злись, сатана!

— Я по спине увижу, когда хватит, — сказал старый. — А это тебе за «сатану» — от меня. — Старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще — с сердцем, вволю... Скоро натешился — раз семь огрел — и велел: — Надевай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять мухлевать!..

— Да я с тобой вовсе играть не стану!

— Не станешь, опять ложись: все полста отдам те.

Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на камень — опять играть.

Степан с Фролом остановились на возвышении.

Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь.

Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорей на ярмарку, нежели на стоянку войска.

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:

— Нет, Фрол, с таким табаром — не война, горе: рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи, такие?.. Только торговлишку и затевать.

— Вот и надо скорей сбыть ее.

— Куда? Кому?..

— Терки-то возьмем!

— Терки-то? — в раздумье, но с явным протестом повторил Степан. — А на кой они мне... Терки-то? Мне Дон надо.

По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались.

Вот усатый пожилой хохол, мастер колоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам:

— Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в викно, а у хати москаль... гм... цюлуе його жинку...

Хохол, правда, мастер: встал, «показал», как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно — я увидел... И все — сдержанно, не торопясь, с удовольствием.

— Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв мужика, да мерщий на покутя, вкрывся, сучий сын, — не бы то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а жинка пораяця биля пички. «Хиба ж то я нычого и не бачив!» — кажэ мужик. «А що ты там бачив?» — пыта його жинка. «Як що, бисова дочка!» — «За що ты лаешься, вражий сыну?» — «Як за що, хиба ж

я не бачив, як тобі москаль цюлував». — «Колы?» — «Як колы?!.»

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверно, эту историю.

А вот бандурист... Настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И так же неторопко, даже как будто нехотя — упростили — похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский «перс». Он и не поет и не пляшет — это нечто спокойное, бесконечное, со своей хваткой, ужимками, «шагом» — все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно-складное:

Гуси-лебеди летели,

В чисто поле залетели,

В поле банюшку доспели.

Воробей дрова колол,

Таракан баню топил,

Мышка водушку носила,

Вошка парилася,

Пришумарилася.

Бела гнидка подхватила,

На рогожку повалила;

Тонку ножку подломила, —

Вошку вынесли...

А здесь свое, кровное — воинское: подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками — кто сколько раз перерубит. Здесь — другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, «вкусно» сечет хищная сталь сочные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает «ремесло» в совершенстве. Учит молодых:

— Торописся... Не торопись.

— Охота ишо разок достать.

— Достанешь, еслив не будешь блох ловить. Отпуская не на всю руку... Не на всю — а штоб она у тебя вкруг руки сама ходила, не от собак отбиваисся. Во — глянь...

Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любит, ощерил порченые зубы, приговаривает:

— От-тя, от-тя...

— Ну?.. — скосоротился малолеток, вроде Макси.

— Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит.

— Зато удар слабый.

— А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када крепость, тада на всю руку — и на себя. От-теньки!.. — секир башка! Тут — вкладывай, сколь хватит силенки, и — маленько на себя, на себя...

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами... Красиво.

Степан, спустившись с высоты, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкиев, Сукнин, Ларька Тимофеев...

— С камышом-то вы ловкие! Вы — друг с дружкой! — не выдержал Степан.

Перестали махать.

— Ну-ка, кто порезвей? — Атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он с тем резвачом смертно. — Нет, что ли, никого? Ну и казаки!.. Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы — кто больше съест, тот и молодец? Эх... — Атаман шутил. Но и всегда — и серьезно — учил: «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит». Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ротозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря время, а постигают главное в их опасной жизни. — Ну, молодцы?.. Кто? Правда, охота.

Рубака-дед громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс.

— Што-то я не расслышал, — обратился он к молодым, — кто-то здесь, однако, выхваляется? А?

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали.

— Я выхваляюсь! Я! — сказал Степан.

— Эге!.. Атаман? — удивился дед. — Легче шуткуй, батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб пообтесали язык... А глядь — атаман. Ну, счастье твое — глаза ишо видют, а то б...

— А есть такие? Пообтешут?

— Имеются, — скромно ответил дед. — Могут.

— Да где ж?

— А вот же ж! Перед тобой. Ты не гляди, што у нас ишо молоко на губах не обсохло, — мы и воевать можем.

— Кто? Вот эти самые?

— Ага. Они самые.

Степан поморщился, бросил саблю в ножны.

— Ну, таких-то телят...

— Ойе!.. — сказал дед и поднял кверху палец. — То про нас, сынки! Он думает, мы только девок приступом брать умеем. Ничего не сделаешь, придется поучить атамана. Ну, мы легонько — на память. Смотрите не забываетесь, хлопцы, все же атаман. Што ж ты саблюку запрятал, батька?..

Тут сверху, от дозоров, зашумели:

— Струга!

Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. Слишком уж покойно было вокруг, породному грело солнышко, и слишком уж мирно настроились казаки...

Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных... Не верилось...

— Откуда?!

— От Астрахани!

— Много?! — крикнул Черноярец.

Дозорные, видно, считали — не ответили.

— Много?! — закричали им с разных сторон. — Какого там?!

— С тридцать! — поспешил крикнуть молодой дозорный, но его поправили:

— Полста! Большие!..

Есаулы повернулись к Степану. И все, кто был близко, смотрели теперь на него.

Степан смятенно думал.

Весь огромный лагерь замер.

— В гребь! — зло сказал Степан.

Вот — наступила ясность: надо уходить. Полста астраханских больших стругов со стрельцами — это много. Накроют.

— В гребь!! — покатилося от конца в конец лагеря; весь он зашевелился; замелькали, перемешались краски. Не страх охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж нелепо.

3

Из единственного прохода в тучных камышах выгребались в большую воду.

— В гребь — не в гроб: можно постараться. Наляжь, братцы!

— Их ты!.. Рраз! Ма-рье в глаз!

— Уйдем не уйдем, а побежали шибко.

Скрипели уключины, шумно путался под веслами камыш, ломался, плескалась вода... Казаки,

переговариваясь в стружках, перекрикиваясь, не скрывали злой досады и нелепости этого бега. Матерились негромко.

— Уйде-ом, куда денемся!

— Шшарбицы не успел хлебнуть, — сокрушался большой казак, налегая на весло. — Оно б веселей дело-то пошло.

— Ишь ты, на шшарбу-то — губа титькой.

— Не горюй, Кузьма! Всыпет вот воевода по одному месту — без шшарбы весело будет.

— А куда бежать-то будем? Опять к шаху? Он, поди-ка, осерчал на нас...

— Это пусть батька с им разговоры ведет... Они дружки.

— А пошто бежим-то? — громко спросил молодой казачок, всерьез озабоченный этим вопросом.

Рядом с ним засмеялись.

— А кто бежит, Федотушка? Мы рази бежим?

— А чего ж мы?..

Опять грохнули.

— Мы в догонялки играем, дурачок! С воеводой.

— Пошел ты! — обиделся казачок. — Ему дырку на боку вертют, а он — хаханьки!

Головные струги вышли в открытое море. Было безветренно. Наладились в путь дальний, неведомый. А чтоб дружнее греблось, с переднего струга, где был Иван Черноярец, голосистый казак громко, привычно повел:

— Эхх!..

— Слушай! — скомандовал Черноярец.

Не великой там огоньшек горит...

Разом дружный удар веслами; почти легли вдоль бортов.

То-то в поле кипарисный гроб стоит...

Еще гребок. Все струги подстроились махать к головным.

Во гробу лежит удалый молодец, —

ведет голос; грустный смысл напева никого не печалит. Гребут умело, податливо: маленько все-таки отдохнули.

Во резвых ногах-то уж и чуден крест,

У буйной-то головы душа добрый конь.

Как и долго ли в ногах-то мне стоять,

Как и долго ли желты пески глотать?

Конь мой, конь, товарищ верный мой!

Степан сидел на корме последнего струга. Мрачный. Часто оборачивался, смотрел назад.

Далеко сзади косым строем растянулись тяжелые струги астраханцев. Гребцы на них не так дружны — намахались от Астрахани.

Эх-х!..

Ты беги, мой конь, к моему двору,

Ты беги, конь мой, все не стежкой,

Ты не стежкой, не дорожкой;

Ты беги, мой конь, все тропинкою,

Ты тропинкою, все звериною...

— Бегим, диду?! — с нехорошей веселостью, громко спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть саблей.

— Бегим, батька! — откликнулся дед-рубака. — Ничего! Не казись: бег не красен, да здоров.

Степан опять оглянулся, всматриваясь в даль, прищурил, по обыкновению, левый глаз... Нет, погано на душе. Муторно.

Прибеги ж, конь, к моему ты ко двору.

Вдарь копытом у вереички.

Выдет, выдет к тебе старая вдова,

Вдова старая, родная мать моя... —

причитал голос на переднем струге.

— Бегим, в гробину их!.. Радуются — казаков гонют. А, Стырь? Смеется воевода! — мучился Степан, накаляя себя злобой. От дома почти, от родимой Волги — гонят куда-то!

Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно качнул головой. Сказал:

— Тебе видней, батька. У меня — нос да язык, у тебя — голова.

Вдова старая, родная мать моя,

И про сына станет спрашивати:

Не убил, не утопил ли ты его?

Ты скажи: твой сын жениться захотел,

В чистом поле положил-то я его,

Обнимает поле чистое теперь...

Степан встал на корме... Посмотрел на свое войско. Потом опять оглянулся... Видно, в душе его шла мучительная борьба.

— Не догнать им, — успокоил дед-рубака. — Они намахались от Астрахани-то.

Степан промолчал. Сел.

— А не развернуться ли нам, батька?! — вдруг воскликнул воинственный Стырь, видя, что атаман и сам вроде склонен к бою. — Шибко уж в груди погано — не с руки казакам бегать.

— Батька! — поддержали Стыря с разных сторон. — Что ж мы сразу салазки смазали?!

— Попробуем?!

Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному Стырю: другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза смотреть — тяжело. Но Стырю сказал нарочно громко, чтоб другие тоже слышали:

— Нет, Стырь, не хочу тебя здесь оставить.

— Наше дело, батька: где-нигде — оставаться.

— Не торопись.

— Дума твоя, Степан Тимофеич, дуже верная, — заговорил молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда обратят на него внимание. — Отмотаться надо сперва от этих... — Показал глазами на астраханскую флотилию. — Потом уж судить. Бывало же: к царю с плахой ходили. Ермак ходил...

— Ермак не ходил, — возразил Степан. — Ходил Ивашка Кольцов.

— От его же!

— От его, да не сам, — упрямо сказал Степан. — Нам царя тешить нечем. И бегать к ему каждый раз за милостью — тоже не велика радость.

— Сам сказал даве...

— Я сказал!.. — повысил голос Степан. — А ты лоб разлысил: готовый на карачках до Москвы ийтить! — Гнев Разина вскипал разом. И нехорош он бывал в те минуты: неотступным, цепенящим взором впивался в человека, бледнел и трудно находил слова... Мог не совладать с собой — случалось.

Он встал.

— На!.. Отнеси заодно мою пистоль! — Вырвал из-за пояса пистоль, бросил в лицо Федору; тот едва увернулся. — Бери Стеньку голой рукой! — Сорвался с места, прошел к носу, вернулся. — Шумни там: нет больше вольного Дона! Пускай идут! Все боярство пускай идет — пускай мытарют нас!.. Казаки им будут сапоги лизать!

Федор сидел ни жив ни мертв: черт дернул вякнуть про царя! Знал же, побежали от царева войска — не миновать грозы: над чьей-нибудь головой она громыхнет.

— Батька, чего ты взъелся на меня? Я хотел...

— В Москву захотел? Я посылаю: иди! А мы грамоту тебе сочиним: «Пошел-де от нас Федор с поклоном: мы теперь смиренные. А в дар великому дому посылаем от себя... одну штуку в золотой оправе — казакам, мол, теперь ни к чему: перевелись. А вам-де стодится: для умножения царского рода».

— Батька, тада и меня посылай, — сказал Стырь. — Я свой добавлю.

* * *

На переднем струге астраханской флотилии стояли, глядя вперед, князь Семен Львов, стрелецкие сотники, Никита Скрипицын.

— Уйдут, — сказал князь Семен негромко. Без особого, впрочем, выражения сказал — лиса, жадный, как черт, и хитрый. — Отдохнули, собаки!

— Куда ж они теперь денутся? — озадачило стрелецкого сотника.

— В Терки уйдут... Городок возьмут, тада их оттуда не выковырнешь. Перезимуют и Кумой на Дон уволочутся.

— А не то к шаху опять — воровать, — подали сзади голос.

— Им теперь не до шаха — домой пришли, — задумчиво сказал князь Семен. — У их от рухляди струги ломаются. А в Терки-то их отпускать не надо бы... Не надо бы. А, Микита?

— Не надо бы, — согласился простодушный Никита Скрипицын, служилый человек приказа Галицкой чети.

— Не надо бы, — повторил князь Семен, а сам в это время мучительно решал: как быть? Ясно, казаков теперь не догнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье Волги заслоном? Но тогда переговоры с Разиным поведутся через его голову — это не в интересах князя. Князю хотелось первым увидеться с Разиным, с тем он и напросился в поход: если удастся, то накрыть ослабевших казаков, отнять у них добро и под конвоем проводить в Астрахань, не удастся, то припереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в переговоры, слупить с него побольше и без боя — что лучше — доставить в Астрахань же. Но — в том и другом случае — хорошо попользоваться от казачьего добра. В прошлый раз, под видом глупой своей доверчивости, он пропустил Разина на Яик «торговать» и славно поживился от него. Разин сдуру хотел даже от него бумагу получить впрок, что вот-де князь Львов, второй воевода астраханский, принял от него, от походного атамана, от Степана Тимофеича... Князь Семен велел посыльщикам передать атаману: пусть не блажит! И велел еще сказать: уговор дороже денег, и никаких бумаг!

Так было в прошлый раз.

Теперь же так складывалось, что не взять с Разина — грех и глупость. У разбойников — правда что! — струги ломаются от добра всякого, а на руках у князя «прощальная» царская грамота: год назад царь Алексей Михайлович писал к Разину, что, если он уймется от разбоя и уйдет домой, на Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко дну, простит стрельцов и

десятников стрелецких, вздернутых на щегле, простит монахов, которым Степан Тимофеич сам, на бою ломал руки через колено. (Забыл Степан, рассуждая с Фролом Минаевым про ЦЕРКОВЬ, забыл про этих монахов.) Князь Львов подсказал князю Прозоровскому, первому воеводе, воспользоваться этой грамоткой теперь и не заводить с донцами свары, ибо стрельцы в Астрахани ненадежны, а Разин богат и в славе: купит и соблазнит стрельцов.

— А ведь не угрести нам за ними, — молвил наконец князь Семен. — Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь — догоняйте налегке. Отдай грамоту, только — упаси Бог! — ничего не сули. Не надо. Пускай в Волгу зайдут — там способней разговаривать.

— Спросют ведь: как, что? Не поверют...

— В грамоте, мол, все писано: «Царь вам вины ваши отдает — идите». Все. С богом, Микита: пусть в Волгу зайдут, там видно будет.

Через некоторое время из-за переднего струга астраханцев вылетела резвая лодочка и замахала в сторону разинцев. С княжьего судна бухнула тяжелая пушка. Флотилия стала.

* * *

Степан, услышав пушечный выстрел, вскочил.

— Лодка! — крикнул рулевой. — Те стали, а лодка вдогон идет!

— Ну-ка, обожди! — велел Степан. — К нам ли?

— Послы, чай? — гадали казаки.

— К нам, что ли?! — крикнул Степан в нетерпении. Послы — это уже не бой. Не ему теперь, слабому, увешанному добром, как гирями, желать боя. Послы — это хорошо. — Ну-ка, кто поглазастей — гляди хорошенько!

Все смотрели на далекую лодочку.

— К нам! — заверили кто поглазастей. — Прямиком суда машет. Легкая, без набоев.

Через минуту Степан уже распоряжался:

— Пальни, из какой громче! Сенька, дуй к Черноярцу — пускай кучней сплывутся. Сам пусть ко мне идет. Одеться всем!

В разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тявкнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались: на каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистолы. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец пистоль.

— Веселей гляди! — слышался бодрый голос Степана. — Хворых назад!

Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар.

Лодочка с послами все скользила и скользила по воде. Торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами Стеньки. И оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась.

И вот солнце закатилось совсем; на воде остался широкий кровавый след. Лодочка заскользила по этому следу. Пересекла, подступила к атаманову стругу. Несколько рук протянулось с баграми — придержали лодочку. Послов подняли на высокий борт.

Тихо на море. Только чайки кружат и кричат ущемленными кошками.

Ровное, гладкое море. Скоро ночь. Покой.

— «...Чтоб шли вы с моря на Дон, — читал Никита Скрипицын Разину и его есаулам. — И чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали. А которые люди и без вашего подговору учнут к вам приставать, и вы б их не принимали и за то опалы на себя не наводили...»

Степан покосился на есаулов. Есаулы внимательно слушали.

— «И чтоб вы за вины свои служили, и вины свои заслуживали...»

— Читай ладом! — обозлился Степан. — Задолбил одно: «служили да заслуживали»!

— Здесь так писано! — воскликнул Никита и показал Степану.

Тот оттолкнул грамоту.

— Чти!

— «А что взяли понизовых людей и животы многие, и то все б у вас взять и отдать в Астрахани...»

* * *

Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, продумывал простой и надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент.

Князь Семен беседовал с сотниками.

— Дума у меня такая, ребяташки, — тянул, по обыкновению, хитрый Львов. — Стеньке деваться некуда: шаху насолил, в Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы... А на бой идти ему неохота. Ему домой надо — разгрузиться. Во-от... А как зайдут в Волгу — тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. В Волгу его зазвать, в Волгу... Отымем барахлишко, тогда уж и приведем в Астрахань. А?

* * *

Милостивая царская грамота прочитана.

Казачи думают. Послы ждут.

Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова (он решил, что грамота фальшивая), но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность.

— Иван! — позвал он Чернорца.

— Ну, — откликнулся тот.

— Так сделаем: мы в десять стругов останемся тут, ты в двенадцать, с ясырем, бусами, пойдешь в Волгу. А мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох затеяли — мы у их со спины окажемся. Взят? Ишь, они обмануть нас задумали...

— Ты хитрый, Стень... Степан Тимофеич, — заговорил Никита Скрипицын, — а и там не гольные дураки: там-то знают, вы не в двенадцать стругов шли, а в двадцать два. Сметют.

— Знамо, сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку — и к князю Львову. Скажете: вышел у нас здесь раздор: одни на милость пошли, другие со Стенькой в Терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется, подвох — с их начнем: своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван. Поменьше бери — только гребцов. Ларька, Федор, Фрол, — со мной. Расскажите казакам, чтоб все знали. Чтоб наизготовке были. Берегите послов. Айда!

Разинская флотилия пришла в движение.

Там и здесь вспыхивали факелы; казаки менялись местами. Двенадцать стругов отряжалось с Чернорцем, остальные должны были быть со Степаном — в засаде.

Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потёмный князь Семен додумается: сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово — задавит, в этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты, но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной; если дать Скрипицыну удрать, то он и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану: он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая, черт ее разберет так-то.

— Пропали, Кузьма, — негромко сказал Скрипицын своему товарищу.

— Чую, — откликнулся тот.

— Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти двенадцать стружков? Подумают, все прошли, и кинутся. Пресвятая богородица, отведи напасть. Пропадем...

— Перехитрил, черт дошлый!

— Обманешь их! — с малых лет на воровстве. Черта вокруг пальца обведут. — Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря, — успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался — пойдет. Если бы к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы, и Львов опомнился бы...

— Чего Львов задумал-то? — спросил его Кузьма.

— Откуда мне знать? Ты знаешь?

— Я знаю... Вы там всё шепчетесь-то, всё выгадываете... Кинется он на этих, как думаешь?

Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно:

— А то ты не знаешь!

Двенадцать стругов под командой Черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. Десять с Разиным осталось.

— Огни в воду! — донесся голос Разина. — В гребь! И тихо надо! Смочите колышки, весла... — Голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме. — В гребь! Но — тихо, — повторил он. — Повернулся к рулевому. — Будешь держать за ими пока, — показал в сторону удаляющихся огоньков. — Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне, накажу вам одно дело важное, — позвал он.

Стырь прошел на корму.

— Как совсем стемнеет, — заговорил Степан на ухо старику, — я велю перевести послов на другой струг. Приставными пошлю вас с дедом. В ихней лодке. Надо, чтоб они утекли от нас. Дайте им...

— Как? — не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом.

— Дайте им сбежать.

— А мы как? — все не мог понять Стырь.

— Не знаю. Можя, с собой возьмут.

— Хм... А можя, стукнут бабайкой да в воду?

— Не знаю. Иди скажи деду. Оборони Бог, чтоб послы чего-нибудь зачужали... Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали.

Стырь подумал. Встал. Он понял.

— Убегут. А на на худой конец — дай чмокну тебя. Я хошь не шахова девка, а люблю тебя... — Поцеловались. Стырь еще сказал: — Батьке твоему поклон передам.

— Раньше время-то не умирай.

— А кто ведает? Они вон быки какие.

— Иди к деду, расскажи ему все, — поторопил Степан.

— Не поминай лихом, Тимофеич.

Степан некоторое время смотрел в темноту. Потом сказал гребцам:

— Не торопитесь. Поспеем. Гребите тише.

Долго плыли в полной тишине. Только чуть слышно вскипала вода под веслами, шипела. Струги с Черноярцем были уже далеко; плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов.

Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью.

— Остров, батька, — подали голос с носа струга.

— Вали влево. Как остров обогнем... Стырь! И ты, дед Любим! Проводите послов на последний струг, к Федору. А то они развесили тут уши-то — много знать будут, — нарочно громко сказал Степан. — Уберите их отсудова!

— Пошли, голуби! — скомандовал Стырь. — Вязать будем, Любим?

— Шевелитесь! — прикрикнул Степан нетерпеливо.

— В лодке свяжем, — решил дед Любим. — Шагайте.

Гребцы притабанили струг; четверо с правого борта слезли в лодку. Молчали.

Струг тотчас отвалил влево, к острову, и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся.

— Побудем здесь. Федор подойдет, мы ему шумнем, — сказал Стырь. — Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу. — Стырь склонился к Никите Скрипицыну.

Никита слегка ошалел от неожиданного поворота, протянул было руки... Но его товарищ сгреб уже деда Любима и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение и Стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них; лодка очумело полетела в темноту.

— Мм!.. — замычал Стырь и засучил ногами.

Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот... Захватил в узластую лапу седую бородавку старика, пару раз крепко посунул его голову — туда-сюда — по днищу лодки.

— Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду, — сказал негромко и весело.

Стырь притих. Дед Любим тоже лежал смиренно: видно, товарищ Никиты перестарался, помял Любима от души. Или — прирожденный воин — Любим хитрил и, не в пример Стырю, не скреб понапрасну на свой хребет.

— Пресвятая Матерь Божья, — шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын, — спаси-пронеси, свечей в храме наставлю. Пособи только, Господи.

* * *

Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах Черноярца плясали поодаль, качались...

— Прошли, что ль? — ни черта не разберу...

— Прошли. Больше нету.

— Сколь нащитал-то?

— По огонькам — вроде много... Они мельтешат как...

— Ну, сколь? Чертова голова...

— С двадцать, — неуверенно отвечал молодой стрелец. — А можа, боле. Они мельтешат как...

Можа, боле, не поймешь.

— Откуда их боле-то? Их сэстоль и есть. Во-от... Гасите-ка огни! Пошли. Зря не шумите. С богом! Пушкари — готовься. Как отрежем, так лодку к им: «Складай оружие — окруженные». Мы их седня прижмем... В Волге, там с ими поговорим покруче. Взвоятся, открываем пальбу... Но, я думаю, они умней — не взвоятся. Во-от. Топить-то их не надо бы... Не надо бы — у их добра много. Не топить! Так договоримся.

Князь Семен был доволен.

* * *

— Добре! Стой! — распорядился Иван Черноярец. — Так и есть — окружают, собаки: огни в воду пометали. Сучья порода... Ну-ка, кто? — до батьки! Отрезают с моря, мол. К воеводе я сам отправлюсь. Ах, вертучая душа: медом не корми, дай обмануть. — Забыл первый есаул, совсем как-то забыл, что сами они первые раскинули стрельцам сеть. — Батьке скажи, чтоб не торопился палить: может, я их счас припужну там. Может, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им...

— А затеется бой, — ты как же?

— Ну, как? Как есть... Не затеется, я их припужну счас. Давай лодку!

* * *

В астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса... Похоже, кто-то прибыл, что ли.

— Какова дьявола там?! — зашипел князь Семен. — Оглоеды... Опупели?

Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны.

— Тиха! — прикрикнули с воеводского струга.

— Никита вернулся, — сказали с воды. — Ну-к, прими! Спусти конец... Да куда ты багром-то?! Дай конец!

— Никита? — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов. — Давай суда его. А чего они? Чего, Никита?

— Беда, князь! — заговорил Никита, перевалившись через борт. — Слава Те Господи!.. успели. Фу!.. С того света.

— Что? Говори! — почти закричал воевода.

— Перехитрили нас, воевода. Ты их отрезал? С моря-то.

— Отрезал.

— А Стенька у нас за спиной! Слава те Господи, успели. Я так и знал, что отрежешь. Налетели б счас на румяную...

— Как так? — раздраженно спросил князь. — А кто прошел?

— Сколь прошло-то?

— Двадцать нащитали...

— Двенадцать стругов! А десять, самых надежных, у нас за спиной. Разделились они — подвох зачуяли. Мы-то насилу головушки свои унесли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого? — Скрипицын кивнул в сторону разинцев с Черноярцем, которых воевода запирает в Волге.

Воевода помолчал.

— Рази ж они не все прошли?

— Скоро пришлют посыльчиков. Послухай, что плести будут! Скажут, раздор вышел: Стенька в десять стружков к Теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Ворье хитрое... Мы двоих прихватили — приставных к нам. Слава те Господи! А уж про нас, князь, и не подумал? Стенька посулился самолично задавить нас...

— Во-от, — понял наконец воевода. — С вами рази чего сделаешь! — Обидно ему сделалось — так все ладно обдумал, так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди: там, где Разин, например, легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро уронил интерес к делу, им овладела досада. — А попробуем?! — вдруг вяло оживился он. — Их же меньше. Да мы теперь знаем про ихнюю хитрость. А?

Сразу ответили в несколько голосов:

— Что ты, Семен Иваныч!

— Нет, князь! Господь с тобой!..

— Они как кошки. Им только дай ночью бой затеять. Любезное дело... Они и месяц-то казачьим солнышком зовут.

Опять с воды послышались шум и голоса. Опять, похоже, пришлые.

— Кто?! — окликнули с воеводского струга.

— Есаул Иван Черноярце! К воеводе.

— Зови, — велел князь. — Запалите огонь.

Никита с Кузьмой отошли в сторонку — из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе.

«Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри я его в Волге, — подумал князь Семен. — Воистину, казаки обычаем — собаки».

— Ну? — спросил князь строго. — С чем пожаловал?

— Челом бьем, боярин, — заговорил Иван. — Вины наши приносим великому государю...

— Вы все здесь? — нетерпеливо перебил князь.

— Нет. Атаман наш в десять стружков ушел к Теркам.

— Чего ж он ушел? Вины брать не хочет?

— Убоялся гнева царского...

— А вы не убоялись?

— Воля твоя... Царь нас миловал. Нам грамотку вычли.

— А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то? — Теперь князь открыто злился; особенно обозлило вранье есаула, и то еще, что есаул при этом смотрит прямо и бесхитростно. — Ушел ваш атаман?! Или вы опять крутитесь, собаки?! Ушел атаман?

— Вот — божусь! — Иван, не моргнув глазом, перекрестился.

— Страмцы, — сказал князь брезгливо. — Никита!..

В круг света вошел Никита Скрипицын, внезапный и веселый.

— Здоров, есаул! Узнаешь?

Иван пригляделся к послу, узнал:

— А-а... — И поник головой, даже очень поник.

— Чего ж ты врешь, поганец?! — закричал князь. — Да ишо крест святой кладешь на себя!

— Не ввали б мы, боярин, кабы вы первые злой умысел не затаили на нас, — поднял голову Иван. — Зачем с моря отсек? В царской милостивой грамоте нет того, чтоб нас окружить да побить, как собак.

— Кто вас побить собирался?

— Зачем же с моря путь заступили? Зачем было...

— Где атаман ваш? — спросил воевода.

— Там, — Иван кивнул в сторону моря. — За спиной у вас... Ты, воевода, будь с нами как с ровней. А то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно, ей-богу... И ты, служилый, ты же только грамоту нам читал: рази там так сказано! Кто же обманом служит!..

— Пошли к Стеньке! — заговорил князь. — Пускай ко мне идет без опаски: крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноморских, яицких, — отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай.

— Я сам пойду, чего посылать...

— Сам тут побудешь! — резко сказал воевода. — Посылай.

Иван подумал... Подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте.

Воевода меж тем рассматривал стариков — Стыря и Любима, коих подвели к нему, — он велел. Вступил в разговор с ними.

— Куда черт понес — на край света? — с укоризной спросил князь. — Помирать скоро! Воины...

— Чего торописся, боярин? Поживи ишо, — сказал Стырь участливо. — Али хворь какая? — Старики осмелели при есауле: слышали, как тот говорил с воеводой — достойно. Особенно осмелел Стырь.

— Я про вас говорю, пужалы! — воскликнул князь.

— Чего он говорит? — спросил дед Любим Стыря. Стырь заорал что было силы на ухо Любиму:

— Помирать, говорит, надо!

— Пошто?! — тоже очень громко спросил дед Любим.

— Я не стал про то спрашивать!

— Э?!

— Я враз язык прикусил! Испужался!

— А-а! У меня тоже в брюхе чего-то забурчало. Тоже испужался!

Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял.

— Не погляжу счас, что старые: стяну штаны и всыплю хорошенько!

— Чего он? — опять спросил дед Любим громко.

— Штаны снимать хочет! — как-то даже радостно орал Стырь. — Я боярскую ишо не видал!? А ты?

— Пошли с глаз! — крикнул воевода. И топнул ногой.

Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло вкось, надо теперь как-то его выравнивать — не злить, например, лишний раз Стеньку: за стариков тот, конечно, обозлился бы.

* * *

Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода:

— Привести к вере все войско. И чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена — все бы отдали. А струги и припас на Царицыне отдали б...

— Голых и неоружных отправить?! — воскликнул Фрол Минаев. — Во, образина!..

— Батька, давай подойдем скрытно, всучим ему щетины под кожу, — подсказал Ларька Тимофеев. — Чтоб он, гундосый, до самой Астрахани чесался.

— Гляди-ко!.. — воскликнул Степан. — Какие у нас есаулы-то молодцы! А то уж совсем в Москву собралися — милости просить. А царь-то, вишь, вперед догадался — грамотку выслал.

Молодец! И есаулы молодцы, и царь молодец! — Степан воистину ликовал.

— Мы не напрашиваемся в молодцы, — обиделся Ларька.

— Славный царь! Дуй, Ларька, к воеводе. Перво-наперво скажи ему, что он — чурка с глазами: хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба... Крест поцалуй за нас. Чего хмурился?

— Я не ходок по таким делам, — сказал Ларька.

— Кто же пойдет? Я, что ль?

— Вон Мишка Ярославов: и писать, и плясать мастак. Пусть он.

— Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпарь, Лазарь, не робь. — Мишка широко улыбнулся.

— Вместех пойдете, — решил Степан. — Молодец, Ларька, надоумил. Собирайтесь. — Степан посерьезнел. — Гнитесь там перед им, хоть на карачках ползайте, — а домой нам попасть надо. Чего отдать, чего не отдать — это мы в Астрахани гадать будем: грамотка-то, видно, правдишная. Лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте.

Есаулы, Лазарь и Михаил, поднялись нехотя.

— Пушки, знамена, струги, припас — на то, мол, у нас в Астрахани круг будет, там обсудим, — наказывал Степан.

— Лучше уж счас прямо насулить, — посоветовал Фрол, — чтоб у их душа была спокойная. А в Астрахани стрельцов поглядим — какие они твердые, посадских людишек... Там-то способней разговоры вести.

— И то дело, — согласился Степан. — Сулите и пушки. наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет. До самой Астрахани. А чтоб сердце воеводино помягче было, подберите рухлядишки шаховой — от меня, мол. Поболе! Намекните воеводе: пускай заклад наш помнит. А то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, ишо дары будут. Скажите: атаман все помнит — и добро, и худо.

Так Разин прошел в Астрахань — без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая.

* * *

«Тишайший» в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он собирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги:

— «...Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабат, Фарабат; и, произведя везде ужасные злодеяния, губил беспомощно мирных жителей. И побил персидский флот. И теперь пошел к Волге...»

— Объявился, злодей! — воскликнул царь. — Откуда пишут?

— Из Терков.

— Писать в Астрахань, к князю Ивану Прозоровскому: остановить! Оружье, припас, грабленное — все отнять! Воров расспросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по стрелецким

приказам! Собаки беспокойные!.. Они уж в охотку вошли — грабют и грабют. Всех по приказам!

Случившийся рядом окольный Бутурлин напомнил:

— Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную Стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту...

— Ту грамоту изодрать! Год назад писана... Успеть надо, чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо!.. Не мешкайте! Ах, злодей!.. Он эдак мне весь мир с шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!

Царская грамота заторопилась в Астрахань — решать судьбу непокорного атамана.

А пока что атаман шел к Астрахани. Позади Львова князя.

И пока он шел к Астрахани, в Москве «тишайший» выезжал из Кремля на охоту.

Думные дворяне, стольники, бояре, сокольничьи, сокольники... Все пылает на них — все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников (перчатки у сокольников с золотой бахромой) и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах.

Нет еще главного «охотника» — царя Алексея Михайловича, «рожденного и воспитанного в благочестии» (как он сказал о себе на суде Вселенских Патриархов).

Вот вышел и Он... В высокой собольей шапке, в девять рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелье — все из алмазов и драгоценных камней. Бояре и окольные с ним — в парчовых, бархатных и шелковых одеяниях.

Путь от Красного крыльца до кареты устлан красным сукном. Царь проследовал в карету... «Царева карета была весьма искусно сделана, и обтянута красным бархатом. На верху оной было пять глав, из чистого золота сделанных». Одевание кучеров и вся сбруя были также из бархата.

Поезд тронулся.

Впереди ехал «кроткий духом».

«Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден».

«Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра».

«Хотя он и был Монарх Самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их. Любил помогать несчастным, и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь. Удаленным в сию дику страну, ино давал малые пенсии, дабы они там совсем не пропали.

Волнение умов и внутренние неудовольствия побудили его учредить Тайный Приказ, коего действия были не всегда справедливы; а ужасное СЛОВО и ДЕЛО приводило в трепет самых

невинных».

«Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь».

«Против Июня 1662 г. случился в Москве бунт.

Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтоб он не доверял боярам, ибо они, безбожники, стакнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору и произвели бы там изрядные злодеяния, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское.

Отчаянные преступники сии, числом до 10 000, кинулись в село Коломенское, окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожали сему зданию совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено».

«Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опытами, поступил в сем случае, как Монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных, с предводителем их, были схвачены и закованы.

После сего возвратился царь в Москву и приказал произвести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2000 человек были четвертованы, колесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву «Б» и сослали с семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо».

«Совершив сии важные действия, для успокоения Отечества нашего необходимо нужные, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан был новый Полицейский Устав, исполнителем коего определен был князь Македонский».

«Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царицы...»

4

Утром, чуть свет, бабахнули пушки первого российского боевого корабля «Орел», стоявшего у астраханского Кремля...

С флотилии князя Львова ответили выстрелами же.

Разинцы, не долго думая, зарядили свои и тоже выстрелили.

Первыми плыли струги Львова, за ними, на расстоянии, правильным строем шли разинцы.

— Не понимай, мы кого встречайт: князь Львоф или Стенька Расин? — спросил с улыбкой капитан корабля Бутлер воеводу Прозоровского (они были на борту «Орла»).

Тот засмеялся:

— Обоих, капитан! Живы-здоровы — и то слава богу. — Он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать: — Плыви к князю Семен Иванычу, скажешь: Стеньку проводить к Болде, к устью, пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет. Наши стружки здесь

поставить. И пускай он Стеньке скажет: чтоб казаков в городе не было! И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводите!

— Вينيшко как? — подсказал бойкий писчик.

— Вينيшко?.. Тут, брат, ничего не поделаешь: найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб у Болды оставил наших стругов... пять — для пригляду. Понадежней стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами.

* * *

Разинские струги сгрудились в устье речки Болды (повыше Астрахани).

На носу атаманьего струга появился Разин.

— Гуляй, братцы! — крикнул он. И махнул рукой.

Не мало тысяча казаков сыпануло на берег. И пошло дело.

По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже успели сюда из Астрахани — с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода «жонок». В треть цены, а то и меньше переходили из щедрых казачьих рук в торопливые, ловкие руки покупателей саженой ширины дороги, зендень, сафьян, зурф, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский (каракуль); узорочный золотой товар: кольца, серьги, бусы, цепи, сулеи, чаши...

Наступил тот момент, ради которого казак терпит голод, холод, заглядывает в глаза смерти...

Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татариним, калмыком и... с бабой.

Вот разохотился в торговлишке рослый, носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает. Орет:

— Я какой? Она! — Показал свой рост. — А я на ем два раза укладываюсь. Глянь: раз! — Лег. — Замечай, вертихвостые, а то омману. — Вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. — Два! Из-под самого шаха взял.

— Да рази ж на ем спят? — заметила одна. — Его весют!

— Шах-то с жонкой небось был? Согнал, что ль?

— Шах-то?.. Шах — он шах и есть: я ему одно, он другое: уросливый, кое-как уговорил...

Разворачиваются дороги, мнут в руках сафьян...

— Эття сафьян! Карош?

— А ты что, оглазел?

— Эття скур сибка блеха — толсти...

— Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать!

— Посьто ругася? Сяцем?

— Сяцем, сяцем... Затем! Затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла, вот зачем.

Оборотистые астраханцы не забыли про «сиуху». Местами виночерпии орудуют прямо с возов. Появились первые «ласточки»... Прошелся для пробы завеселевший казачок:

Ох,

Бедный еж!

Горемышный еж!

Ты куды ползешь?

Куда ежисся?

Ох,

Я ползу, ползу

Ко боярскому двору,

К высокому терему...

Но есаулам строго-настрога велено смотреть: не теперь еще успокоиться, нет. Есаулы и без атамана понимали это.

Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам:

— За караулом глядеть крепко! А то учинят нам тут другой Монастырский Яр. Ни одной собаке нельзя верить. На думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три — пускай кружат. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.

Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга — всем, что именуется ПРАЗДНИК, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все — и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.

Ох,

Бедный еж!

Горемышный еж!

Ты куды ползешь?

Куда ежисся?..

Назревал могучий загул. И это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным есаулам.

* * *

В приказной палате в Кремле — верховная власть Астрахани: князь, боярин, воевода Иван

Семеныч Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иваныч Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семеныч Прозоровский (брат Ивана Семеныча), митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали-гадали.

— Что привел ты их — хорошо, — говорил князь Иван Семеныч, высокий дородный боярин с простодушным, открытым лицом. — А чего дале делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем: наказывал же я не затеваться с торговлей!.. А вот что делается! А такие-то, оружные да с добром, на Дон уйдут?.. Что же будет?

— Дело наше малое, князь, — заметил Львов. — У нас царева грамота: спровадим их, и все на том.

— Грамота-то, она грамота... Рази ж в ей дело? Учнут они, воры, дорогой дурно творить — где была та грамота! С нас спрос: куда глядели? Потом хоть лоб расшиби — не докажешь. Дума моя такая: отправить их на Дон неоружных. Перепись им учинить, припас весь побрать...

— Эка, князь! — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой. — Размахался ты — все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи Господи! Разбойники! Анчихристы!.. Они весь город раскатают по бревнышку.

— Да ведь и мы не с голыми руками!

— Нет, князь, на стрельцов надежа плоха, — сказал Львов. — Шатнутся. А пушки бы и струги, если б отдали, — большое дело. Через Царицын бы Бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут — не наша забота. И спрос не с нас.

— Что ж, Иван, так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина, стрелецкого голову.

— Хвастать нечем, Иван Семеныч, — признался тот. — Самое безвременье: этих отправлять надо, а сменщики — когда будут! А скажи этим, останьтесь: тотчас мятеж.

Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил:

— Да что же такое-то?.. Разбойники, воры, государевы ослухи!.. А мы с ими ничего поделать не можем. Стыд же головушке! Куры засмеют — с голодранцами не могли управиться! Дума моя такая: привести к вере Божьей, отдать по росписям за приставы — до нового царева указа. Грамота — она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим, за приставами.

— Эх, князь, князь... — вздохнул митрополит. — Курям, говоришь, на смех? Меня вот как насмешил саблей один такой голодранец Заруцкого, так всю жизнь и смеюсь да головой трясусь, вот как насмешил, страмец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили!.. Это кара Божья! Пронесет ее — и нам спасенье, и церкви несть сраму. А мы сами ее на свою голову хотим накликасть.

— Что напужал тебя в малолетстве Заруцкий — это я понимаю, — сказал Иван Семеныч. — Да пойми же и ты, святой отец: мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его, у Стеньки, на уме? Он отойдет вон к Черному Яру да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут: тут были, не могли у их оружие отобрать?!

— Дело к зиме — не примется, — вставил Иван Красулин.

— До зимы ишо далеко, а ему долго и делать нечего: стренут караван да на дно. Только и

делов.

— Да ведь и то верно, — заметил подьячий, — оставлять-то их тут неохота: зачнут стрельцов зманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая: спробовать уговорить их утихомириться, оружие покласть и рассеяться, кто откуда пришел. Когда они в куче да оружные, лучше их не трогать. Надо опробовать уговорами...

— А к вере их, лиходеев, привести! По книге. В храме господнем, — сказал митрополит. — И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили... — Митрополит достал из-под полы исписанный лист. — «В нынешнем, государь, году августа против сего числа приехали с моря на деловой мой митрополей учуг Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, и икру, и клей, и вязигу — все без остатка пограбили и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарьи, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы все без остатка побрали. И, разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин с товарищи, покинули у нас же на учуге, в тайке заверчено, всякую церковную утварь и всякую рухлядь и ясырь и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не оставили.

Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего...»

Вошел стряпчий. Сказал:

— От казаков посыльщики.

— Вели, — сказал воевода. — Стой. Кто они?

— Два есаулами сказались, один казак.

— Вели. Ну-ка... построже с ими будем.

Вошли Иван Черноярец, Фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.

— От войскового атамана от Степана Тимофеича от Разина: есаулы Ивашка и Фрол да казак донской Стырь, — представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии; Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец за-ради его длинного языка: случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть Стыря — тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять, Иван не дал.

— Я такого у вас войскового атамана не знаю, — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. — Корнея Яковлева знаю.

— Корней — то не наш атаман, у нас свой — Степан Тимофеич, — вылетел с языком Стырь.

— С каких это пор на Дону два войска повелось?

— Ты рази ничего не слыхал?! — воскликнул Стырь. — А мы уж на Хволынь сбежали!

Фрол дернул сзади старика.

— С чем пришли? — строго спросил старший Прозоровский.

— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеич, даров сулится прислать... — начал Черноярец.

— Ну? — нетерпеливо прервал его Прозоровский.

— Велел передать: завтра сам будет.

— А чего ж не сегодня?

— Сегодня?.. — Черноярец посмотрел на астраханцев. — Сегодня мы пришли уговор чинить: как астраханцы стретют его.

Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.

— Как же он хочет, чтоб его стретили? — спросил воевода.

— Прапоры чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли...

— Ишо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо б молебен отслужить, отче...

— Бешеный пес тебе отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. — Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! Нечестивцы, чего удумали — молебен служить!.. — Голова митрополита затряслась того пуще; старец был крут характером, прямодушен и скор на слово. — Это Стенька с молебном вас надоумил? Я прокляню его!..

— Они пьяные, — брезгливо сказал князь Михаил.

— У вас круг был? — спросил Львов.

— Нет. — Черноярец пожалел, что взял Стыря: с молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. — Будет.

— Это вы своевольно затеяли?.. С молебном-то? — хотел понять митрополит.

— Пошто? Все войско хочет. Мы — Христианы.

Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены.

— Идите в войско и скажите своему атаману: завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурасть никакую не затевал. А то такую стречу учиню, что до дома не очухаетесь.

5

Странно гулял Разин: то хмелел скоро, то — сколько ни пил — не пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому не ведомые мысли занимали его; выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русские уважают сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата: есть кому одернуть, но и пожалеть и заступиться тоже есть кому. Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин — сам человек, разносимый страстями, — пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта душа, и болит-то — в судорожных движениях любви и справедливости, и нету в ней

одной только голой гадкой страсти — насытиться человеческим унижением, — нет, эту душу любили. Разина любили; с ним было надежно. Ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться — а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы: всем не до того, все толкаются, рвут куски... Или — примется, умница и силач, выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство... Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили.

«Застолица» человек в пятьсот восседала прямо на берегу, у стругов. Выстелили в длину нашестья (банки, лавки для гребцов) и уселись вдоль этого «стола», подобрав под себя ноги.

Разин сидел во главе. По бокам — есаулы, любимые деды, Ивашка Поп (расстрига), знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана.

Далеко окрест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели...

На восходе было солнца красного.

Не буйные ветры подымались,

Не синее море всколыхалось,

Не фузеюшка в поле прогрянула,

Не люта змея в поле просвиснула...

Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез. Особенно эту; казалось ему, что она — про названного брата его дорогого, атамана Серегу Кривого.

Она падала, пулька, не на землю,

Не на землю, пуля, и не на воду.

Она падала, пуля, в казачий круг,

На урочную-то на головушку,

Што да на первого есаулушку...

И совсем как стон, тяжкий и горький:

Попадала пулечка промеж бровей,

Што промеж бровей, промеж ясных очей:

Упал молодец коню на черну гриву...

Сидели некоторое время подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало. Не грустно, а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная или охватит тоска по милой родине — и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна.

Степан страхнул оцепенение.

— Ну, сивые! Не клони головы!.. — Он и сам чувствовал: ближе дом — больней сосет тоска. Сосет и гложет. — Перемогем! Теперь уж... рядом, чего вы?!

— Перемогем, батька!

— Наливай! — велел Степан. — Ну, осаденили разом!.. Аминь!

Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо, даже еще лучше — не грустно.

— Наливай! — опять велел Степан.

Еще налили по чарам. Раз так, так — так. Чего и грустить, правда-то. Свое дело сделали, славно сделали... Теперь и попить не грех.

— Чтоб не гнулась сила казачья! — сказал громко Степан. — Чтоб не грызла стыдобушка братьев наших в земле сырой. Аминь!

— Чарочка Христова, ты откуда?..

— Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет.

— Кху!..

Выпили. Шумно сделалось; заговорили, задвигались...

— Наливай! — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца.

Налили еще. Хорошо, елкина мать! Хорошо погулять — дом рядом.

— Чтоб стоял во веки веков вольный Дон! Разом!

— Любо, батька!

— Заводи! Веселую!

— Э-у-а!.. Ат-тя! — Громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске... А петь не умел.

Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне:

Ох, по рюмочке пьем,

Да по другой мы, братцы, ждем;

Как хозяин говорит:

За кого мы будем пить?..

— Ат-тя! — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком. — Чего бы исделать?

А хозяин говорит:

Ох, за тех мы будем пить, —

За военных молодцов,

За донских казаков.

Не в Казани, не в Рязани,

В славной Астрахани...

Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Не у одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стало как-нибудь вывихнуться, мощью своей устроить — заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь.

В другом конце подняли другую песню, переорали:

А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие,

Вы сыграйте-ка мне песню новую!

Как во полюшке, во полянушке

Там жила да была молодая вдова,

Ух-ха-а! Ух-х!..

— Батька, губи песню! — заорали со всех сторон.

Забеспокоилась, забеспокоилась тыща; большинство, особенно молодые, не пели — смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел замечать нетерпения молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть.

Ох, вдовою жила — горе мыкала,

А как замуж пошла — слез прибавила;

Прожила вдова ровно тридцать лет,

Ровно тридцать лет, еще три года...

— Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. А то зареву-у!.. — Кондрат закрутил головой и опять трахнул по доске. — Заплачу-у!..

— Добре лу укусили, казаченьки?! — спросил атаман.

— Добре, батька! — гаркнули. И ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения. Все не замечал.

— Не томи, батька, — сказал негромко Иван Черноярец, — а то правда заревут. Давай уж...

Степан усмехнулся, глянул на казаков... Его, как видно, самого подмывало. Он крепился. Он очень любил своих казаков, но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи.

— А добрая ли сиуха?

— Ох, добрая, батька!

— Наливай!

Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили.

Степан поставил порожнюю чару, вытер усы... Полез вроде за трубкой... И вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю.

— Вали! — сказал с ожесточением.

Это было то, чего ждали.

Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны. И пошла, родная... Плясали все. Свистели, ревели, улюлюкали... Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал. Скалился по-доброму. Тоже дорогой миг: все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь, и она ворочается и горячо дышит — радуется. Похоже на внезапный боевой наскок или на безрассудную женскую ласку.

Земля вздрагивала; чайки, кружившие у берега, шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов.

А солнце опять уходило. И быстро надвигались сумерки. Запылали костры по берегу.

Праздник размахнулся вширь: не было теперь одного круга, завихренья праздника образовывались вокруг костров.

У одного большого костра к Степану волокли пленных, он их подталкивал в круг: они должны были плясать. Под казачью музыку. Они плясали. С казаками вперемешку. Казаки от всей души старались, показывая, как надо — по-казачьи. У толстого персидского купца никак не получалось вприсядку. Два казака схватили его за руки и сажали на землю и рывком поднимали. С купца — пот градом: он бы и рад сплясать, чтобы руки не выдернули, и старается, а не может.

— Давай, тезик! Шевелись!

Тезик (купец) тяжело и смешно (уж и рад, что хоть смешно) прыгает — только бы не зашиб невзначай этот дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так размашисто и опасно радуется.

— Оп-па! Геть! Оп-па! Геть! Ах, гарно танцует, собачий сын!.. Ты глянь, ты глянь, что выделяет!..

Среди танцующих — и прекрасная княжна. И нянька ее следом за ней подпрыгивает: все должно плясать и подпрыгивать, раз на то пошло.

— Дюжей! — кричит Разин. — Жги! Чтоб земля чесалась...

К нему подтащили молодого князька, брата полонянки: он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, показал на круг. Князек качнул головой и залопотал что-то на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. Взметнулся вверх сноп искр... Князек пулей выскочил из огня и покатился по земле, гася загоревшуюся одежду. Погасил, вскочил на ноги.

— Танцуй! — крикнул Степан. — Я те, курва, пообзываюсь. Самого, как свинью, в костре зажарю. Танцуй!

Не теперь бы князю артачиться, не теперь бы... Да еще и ругаться начал... Тут многие понимали по-персидски.

— Ну? — ждал атаман.

Бандуристы приударили сильнее... А князек стоял. Видно, молодая гордость его встрепенулась и восстала, видно, решил, пусть лучше убьют, чем унижат. Может, надеялся, что атаман все же не тронет его — из-за сестры. А может, вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и плясали другие, когда он того хотел... Словом, уперся, и все. Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали; на лице отчаяние и упрямство, вместе. Но как ни упрям молодой князь, атаман упрямей его; да и не теперь тягаться с атаманом в упрямстве: разве же допустит он, хмельной, перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в чем-то, в упрямстве в том же.

— Танцуй! — сказал Степан. Он въелся глазами в смуглое тонкое лицо князька. Тот опять заговорил что-то, размахивая руками. Степан потянул саблю... Из круга к атаману подскочила княжна, повисла на его руке. Персы схватили князька и втащили сами в круг. Степан откинул княжну и, следя за князем, велел: — Дюжей! Повесели глаза казацкие... Вот отец выкупит, там уж... сам заставляй других.

У одного из костров группа молодых и старых затеяли прыгать через огонь. И тут рев и гогот. Мочили водой только голову и бороду. Больше нигде. Пахло паленым.

«Бедный еж» набрел на эту группу... А был он вовсе пьян.

— Ммх!.. Скусно пахнет! — И «еж» стал снимать с себя кафтан. — Дай-ка я свой тоже подвялю.

Его прогнали. И он пошел, и опять запел:

Ох,

Бедный еж!..

А на все это, изумленно мигая, глядели с темного неба крупные звезды. И еще из темноты, из кустов, смотрели завистливые глаза караульных. Не все из них удержались: кое-кто сумел урвать малую малость — чарку-другую.

Иван Черноярец с сотниками обходил караулы... В одном месте, где должен был стоять караульный, случилась заминка. Караульный спал... Услышав, однако, шаги, он вскочил, но поздно. Короткая возня, хриплое дыхание, обрывки слов:

— Держи руку! Руку!.. Собака!..

— Дай ему по башке.

— Руку! Мх!.. Бэк! — Тупой удар, должно быть, под дыхало: часовой перестал сопротивляться.

— Я те покусаясь! Вяжи, Семен. Суда другого поставь.

— Федька! — позвал сотник. — Становись. Руку укусил, змей. Долго теперь не заживет. Человечий укус долго не заживает. Собачий — и то скорей. Вот змей-то!.. Как жилу не повредил.

— Помочись на ее — заживет.

— Этот пускай лежит, — велел есаул. — Развяжешь, Федька, — гляди! При солнышке мы с им погударим.

Группа с Черноярцем, шурша кустами, двинулась дальше. Пока войско гуляло, первый есаул покоя не знал.

К Степану пришло состояние, когда не хочется больше никого видеть. Он выпил еще чару и пошел к стругам — побыть одному. Он не опьянел, только в голове толчками качалось.

Его догнала персиянка. Сзади, поодаль, маячила ее нянька.

— Ну? — спросил Степан, не оборачиваясь: он узнал легкие шаги девушки. — Наплясалась?

Персиянка что-то сказала.

— Испужалась за брата-то? Чего он, дурак, заупрямился?

Она опять залопотала что-то — скоро-скоро, негромко, просительным нежным голоском.

Подошли к воде. Степан присел, ополоснул лицо... Потом стоял, задумавшись. Смотрел в вязкую темень.

Тихо плескались у ног волны; колготил за спиной пьяный лагерь; переговаривались на стругах караульные. Огни смоляных факелов на бортах отражались в черной воде, змеились и дрожали. Теплая ночь мягким брюхом лежала на земле, на воде, на огнях... Немного душно было; пахло рыбой и дымком.

Долго стоял Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо всем на свете. Какие-то далекие, нездешние мысли опять овладели им. Он умел отдаваться думам, он иногда очень хотел быть один.

Персиянка притронулась к нему: она, видно, замерзла. Степан очнулся.

— Никак, озябла? Эх, котенок заморский, — ласково и с удивлением сказал он. Погладил княжну по голове. Развернул за плечо, подтолкнул: — Иди спать. А то и правда, свежо у воды-то.

Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой струг.

— Иди, иди, — подтвердил Степан. — Иди.

Княжна всплеснула руками и побежала. Крикнула на бегу своей няньке; та откликнулась, тоже довольная.

Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, качнул головой.

— Вот и возьми с ее... В куклы тут играют, дуреха малая. — И подумал: «Отдам, хватит. А князька пусть выкупают: заломлю, как за полста жеребцов добрых».

Стал опять смотреть в темень... И вспомнилась почему-то другая ночь, далекая-далекая.

Тоже было начало осени... И тоже было тепло. Стенька с братом Иваном (Ивану было тогда лет шестнадцать, Стеньке — десять) засиделись на берегу Дона с удочками, дождались — солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой. Сидели, слушали тишину.

И наступил, видно, тот редкий тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человек ясно поймет: я есть в этом мире! И оттого, что все-таки не встаешь, а сидишь, крепко обняв колени, — только желанней и ближе вера: «Ничего, я еще это сделаю — встану». Это сильное чувство не забывается потом всю жизнь.

Братья сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. Вдруг они услышали неподалеку женские голоса — казачки пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как-то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор над водой. Слова слышались отчетливо, близко.

— Ох, вода-а, ну парная!.. Ох хорошо-то!

— Ласкает... Господи, прямо ласкает. Правда, хорошо.

— Нюрашка, прыгай, какого ты?! Прыгай, Нюрашка!

— Нюрашка Сазонова, — сказал Иван Разин. — Слушай, какой счас визг подымут.

Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. Стенька сразу же и потерял его из виду. Потом Иван рассказывал, что он, невидимый и неслышимый, подплыл к казачкам, поднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька услышал, как тишину ночи прорезал страшный, щемящий душу женский крик... Он сдуру побежал туда и стал звать брата. Он испугался. Стеньку узнали по голосу, и узнали, кто нырял — Ванька Разин. И схватил он не Нюрашку, а, как на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без того-то заполошную, а тут... Тут она выдала древний крик и сникла в воде. Ее вытащили на берег полуживую. Костька Миронов, муж Феклы, ночью же и пошел к Тимофею Разе — требовать судилища над сорванцами. Тимофей принял было к сердцу упрек и укоры Константина, вознамерился учинить расправу сынам, как только они заявятся домой... но Константин разошелся в обиде и забрал высоко:

— Наплодили живодеров каких-то! Они эдак голову кому-нибудь открутят — шастают по ночам-то. Чего по ночам шастать?

— Если она у тебя припадошная, то теперь и купаться в реке не моги? — сдержанно спросил Тимофей.

— Купаться!.. Он же, гаденыш такой, под их нырял! Купаться... Купайся он себе, чего его под баб понесло нырять? Ясное дело: испужать хотел, страмец.

— А ты чего это к гаду пришел жалиться? Рази ж гад тебя может понять? Гаденыш-то — от гада.

— И то, смотрю, — гады. Вся порода гадская — на ножах ходите, живорезы.

— Зачем нож?.. С крыльца-то я и так сумею тебя спустить, без ножа, — вконец обозлился Тимофей.

Поругались.

На прощанье Костька пригрозил:

— Я сам с имя управлюсь! Я им ходули-то повыдергаю!

— Это — как выйдет, — сказал Тимофей. — Спробуй.

Костька пробовал. Не вышло. Не смог.

Костька Миронов погиб вместе с Иваном Разиным в польском походе. Память о том роковом походе была свежа, сколь ни утекло времени, ныла и кровоточила раной под сердцем. И теперь видел Степан... Мучился проклятым видением: брата Ивана, головщика (предводителя казачьего отряда, полковника), и его есаулов, связанных, ведут к суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил в усмешке рот: никто не верил, что казаков повесят, и сам Иван не верил. Весь проступок казаков был в том, что они — по осени — послали горделивого князя Долгорукого к такой-то матери, развернулись и пошли назад — домой: зимой казаки не воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участвовавшие в походах с царевым войском. Так поступил и Разин Иван. Князь Долгорукий догнал мятежный отряд, разоружил... А головщика принародно, среди бела дня, повел давить. Это было невероятно, поэтому никто не верил. Иван сам влез на скамью, ему надели на шею веревку... Только тут стали догадываться: это не нарочно, не поугатать, это — казнь. Долгорукий был здесь же... Иван в последний момент с тревогой глянул на князя, спросил: «Ты что, сука?» Князь махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так было... И теперь Степан, как закроет глаза, видит страшную муку брата: бьется он в петле, извивается всем телом. И Степан скорей куда-нибудь уходил с глаз долой, чтоб не видели и его муку, какая отражалась на его лице. Вот уж чего ни в жизнь, видно, не позабыть!

«Славный царь!.. Славные бояре... Долгорукие: махнул белой рученькой — и нет казака. Во как!»

Степан стиснул зубы и весь напрягся от боли: боль лизнула сердце. Чтобы успокоиться, трижды сказал себе, не разжимая зубов: «Мгм, мгм, мгм», как если бы соглашался или уговаривал себя. И пошел в свой шатер на струге.

Долго еще гудел лагерь. Но все тише и тише становился этот гул, все глуше. Только самые крепкие головы не угорели вконец; там и здесь у затухающих костров торчали малые группы казаков, о чем-то невнятно беседующих. Храп стоял по всему берегу. Спали — где кто упал. Караульные оставались на местах и сменялись вовремя.

Вдруг среди ночи со стороны стругов раздался отчаянный женский вскрик. Он повторился трижды. На стружке с шатром, где находились молодая персиянка со своей нянькой, забегали. Громко всплеснула вода: кого-то не то сбросили, не то сам кто-то сорвался. И еще раз отчаянно закричала молодая женщина...

Степан проснулся как от толчка. Вскочил, нашарил рукой саблю и как был в чулках, шароварах и нательной рубахе, так выскочил из шатра.

— Там чего-то, — сказал караульный, вглядываясь во тьму. — Не разберешь... Кого-то, однако, прищучили. Вроде бабенку...

Степан, минуя зыбкую сходню, махнул из стружка в воду, вышел на берег и побежал. Он знал, кого прищучили — его персиянку, он узнал ее голос.

К стружку пленниц бежал с другой стороны Иван Черноярец.

При их приближении мужская фигура на стружке метнулась к носу... Кто-то там, на носу стружка, помедлил, всматриваясь в ту сторону, откуда бежал Степан; должно быть, узнал его, прыгнул в воду и поплыл, сильно загребая руками. Когда вбежал на струг Иван, а чуть позже Степан, пловец был уже далеко.

У входа в шатер стояла персиянка, придерживала рукой разорванную на груди рубаху, плакала.

— Кто? — спросил Степан Черноярца. Его трясло.

— А дьявол его знает... темно, — ответил Иван. И незаметно сунул за пазуху пистоль.

— Дай пистоль, — сказал Степан.

— Нету.

Степан вырвал у него из-за пояса дротик и сильно метнул в далекого пловца. Дротик тонко просвистел и с коротким сочным звуком — вода точно сглотнула его — упал, не долетев. Пловец, слышно, надал.

— Далеко, — сказал Иван, послушав всплески на реке.

Степан сгоряча начал было рвать с себя рубаху, Иван остановил:

— Ты что, сдурел? Он выплывет — и в кусты, а там его до второго Христа искать будешь. Он уж у берега почти...

Подошла сзади княжна, стала говорить что-то, показывать за борт. Потащила Степана к борту... Говорила быстро-быстро, так быстро, что Степан не понимал, хоть много знал по-персидски — мог бы в другое время понять.

— Чего? — не понимал он. — Кто там? Ты скажи мне, кто та-ам вон!.. — Степан повернул ее лицом к реке, показал. — Там-то кто?!

— Ге!.. — воскликнул Иван. — Старушку-то он, наверно, того — скинул! Он старуху туда? — спросил он княжну; та уставилась на него. Иван плюнул и пошел в шатер. — Ну да! — крикнул оттуда. — Старушку торнул — нету. — Вышел из шатра, крикнул караульному на соседнем струге: — Ну-ка, кто там?! Спрыгни, пошарь старушку.

Караульный разболокся, прыгнул в воду. Некоторое время пыхтел, нырял, потом крикнул:

— Вот она!

— Живая? — спросил Иван.

— Кого тут!.. Он ее, видно, зашиб ишшо до этого — вся башка в крове, липкая.

Степан мучительно соображал, кто тот пловец. Кто же это?

— Фролка! — сказал он. — Вот кто.

— Минаев? — изумился Черноярца. — Господь с тобой, Степан!.. Да ты что?

— Ну-ка... как тебя? — перегнулся Степан через борт, где шарился караульный.

— Пашка Хоперский, — откликнулся тот.

— Дуй до Фрола Минаева. Позови суда. Скорей!

— А эту-то куда?

— Оттолкни — пусть домой плывет, — велел Черноярца.

Княжна, догадавшись о чем-то, забеспокоилась, тронула Черноярца и стала знаками показывать, чтоб старуху подняли.

— Иди отсюда! — зашипел тот и замахнулся. — Тебя бы туда надо... змею черную. — Ивану как кто на ухо шепнул — вдруг понял он: Степан прав в своей догадке.

Караульный побежал к есаульскому стругу.

— Потеряли есаула, — горько вздохнул Иван. Он теперь вовсе не сомневался, что это был фрол Минаев, бабский угодник, падкий на эту сладость. И знал, что Фрол — от атаманова гнева — двинет далеко теперь. Если совсем не скроется с глаз долой. Какую дурь спорол есаул!

— На дне морском найду, гада, — сказал Степан. — Живому ему не быть.

Черноярцу до смерти жалко было Фрола. В таком загуле, конечно, что-нибудь да должно случиться, но потерять такого есаула... Из-за кого! Было бы хоть из-за кого.

— Может, она его сама сблзнила, — сказал он. — Чего горячку-то пороть?

— Я видел, как он на ее смотрит.

— Прокидаемся так есаулами, — не отступал Иван.

— Срублю Фрола! — рявкнул Степан. — Сказал: срублю — срублю! Не встревай.

— Руби! — тоже повысил голос Иван. — А то у нас их шибко много, есаулов, девать некуда! Руби всех подряд, кто на ее глянет! И я глядел — у меня тоже глаза во лбу.

Степан уставился на него... Помолчал несколько и сказал просительно, но глубоко неукротимо:

— Не наводи на грех, Иван. Добром говорю...

— Черт бешеный, — негромко сказал Иван. И пошел со струга.

По дороге встретил посыльного: тот возвращался с есаульского струга. Иван остановил его, спросил обреченно:

— Ну?

— Нету Фрола, — сказал посыльный. И хотел бежать дальше — сказать атаману.

— Погоди, — остановил Иван. Подумал, но ничего не придумал, махнул рукой. — Тьфу!.. Иди. — Он хотел выдумать какой-нибудь увертливый ход, но тут же и понял, что все без толку: случилось то, что случилось, никуда от этого не уйдешь. Хорошо, хоть Фрол вовремя дал тягу — несдобровать бы ему этой же ночью.

Иван еще постоял... И пошел будить стариков: Стыря и расстригу. Что-то такое ему все-таки влетело в лоб.

Степан сидел в шатре, подогнув под себя ногу, когда вошли Стырь и Ивашка Поп. Они еще не

проспались как следует; их покачивало. Но что им надо делать, они знали.

— На огонек, батька, — сказал притвора Поп, старик блудливый, трусоватый, но одаренный краснобай и гуляка.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Эххе, — вздохнул Стырь. — Какой я сон видал, Тимофеич!.. — И этот тоже пошел заходить издалека. Его не раз подсылали смирить атаманов гнев на милость. Иногда ему это удавалось. Степан любил старика (Стырь и отец Разина, Тимофей, были земляки — из-под Воронежа), уважал старого воина, но поблажек никаких не давал, Стырь даже обижался. «Ты только об мертвых сокрушаисся! — брякнул ему один раз Стырь. — Что потом кости-то жалеть? Ты лучше меня живого приветь». Степан помрачнел на это, но ничего сразу не сказал. Потом уж, много позже, вроде мимоходом, спросил: «Ты со зла это? Или правда так думаешь?» А Стырь и думать забыл, не сразу и понял, о чем говорит атаман. «Да что мертвецов только жалею», — напомнил Степан. И пытливо смотрел в глаза старику. Стырь не растерялся, а кинулся далеко и туманно рассуждать, что он так, конечно, не думает, но порой ему кажется... Степан не дослушал, махнул с досадой: «Чего выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что ли? Я же не виню». Но мысль эта — что он не жалеет товарищей, а жалеет, только когда их убьют, — эта колючая мысль застряла занозой, и Степан нет-нет, а невзначай пытал то одного, то другого. «Конешно, атаман у вас злой, никого не жалеет... Так, видно?» Нет, так не думали. Но, кто посмелей, не скрывали и того, как думают. Иван Черноярец, когда Степан допек его такими намеками, сказал напрямки: «Да пошто злой? Дурак бываешь, это правда, ты и сам про то знаешь, а злой... Не знаю. Не лезь ко мне, Степан, с такими делами, я тут тебе не помогу: не умею. Да и сам-то... не задумывайся шибко — злой, не злой... Какой есть». Нет, не понимал Иван, как это важно душе. Интересно бы с Фролом Минаевым поговорить, но тут Степан сам не давал себе ходу. Что-то тут останавливало. Может, то, что Степан постоянно чувствовал: не до конца искренен с ним Фрол, нараспашку здесь не будет, не выйдет... Что-то таил Фрол, завидовал, что ли, другу — его воинскому счастью, атаманству его, — что-то такое с неких пор постоянно стояло между ними. А теперь с этой княжной... Не знали старики, Поп со Стырем, никто не знал, только Степан знал: не тронет он Фрола. Именно потому и не тронет, что — не просто между ними. Другого тронул бы, а Фрола почему-то нельзя. А почему нельзя, это и Степан не понимал, не мог как-то понять, но только знал, что — нельзя из-за девки.

— Ну? — спросил Степан. — Сон, говоришь?

— Чудной такой сон!.. — вскинулся было Стырь, но Степан осадил:

— Запомни: старухе расскажешь. Чего поднялись-то? Иван небось разбудил?

— Иван, — сознался Стырь. — Ты, Тимофеич, атаман добрый, а на Ивана хвоста не подымай. У нас таких есаулов — раз-два, и нету.

— А Фрол?.. — спросил Степан. — Фрол добрый был есаул. Мне его жалко. Иван, он, знамо, добрый есаул, но Фрол... У Фрола ведь и голова была.

— А пошто — «был», батька? — спросил Ивашка Поп, ужасно наивничая.

— Какой хитрый явился! Глянь на его, Стырь... От такой черт заморочит голову, и правда дурнем исделаеся. Нету больше Фролки. — Степан как будто даже рад был сообщить старикам эту печальную новость. И еще он злорадствовал, что старики с Черноярцем вместе так просто и глупо повели эту игру «в уговоры», так беспомощно и бестолково. А то уж больно все умные да хитрые, прямо не подкопаешься ни под кого — такие все умные и хитрые.

— А где ж он? — все простодушничал Поп.

— Пропал. Так мне его жалко!.. Ни за что пропал.

— Ну, можа, ишо не пропал?

— Пропал, пропал. Добрый был есаул.

Помолчали все трое. Степан представил, как мокрый Фрол лежит теперь где-то под кустом... Как он все же насмелился на такое дело, с княжной-то! Это удивляло Степана. То ли пьяный был в дымину, то ли взбесился вовсе. Как же он мог подумать, что ему это сойдет с рук? Ну, Фрол!.. Ну, поганец! Интересно, чего ты сейчас лежишь думаешь своей головой? Но вот что, пожалуй, не менее удивительно: когда давеча стали гадать, кто мог покуситься на княжну, о первом, о ком подумал Степан, — о Фроле. И это тоже удивляло, и безрассудство Фролкино удивляло. Он же осторожный человек. Что же с ним случилось?

— От я тебе одну сказку скажу, — заговорил Стырь. — Сказывал мне ее мой дед. Жил на свете один добрый человек...

Степан встал, начал ходить в раздумье.

— Посеял тот человек пшеницу... Да. Посеял и ждет. Пшеница растет. Да так податливо растет — любо глядеть. Выйдет человек вечером на межу, глянет — сердце петухом поет. Подходит страда...

— Я твою сказку знаю, дед, — прервал Степан. — Слушай, какую я тебе скажу. — Он трезво и серьезно посмотрел на стариков.

— А ну. Я люблю сказки. Больше всего — про чертей: отчаянные, мать их!.. А ну — сказку? — оживился Стырь.

— Жили на свете тоже добрые люди...

— Кхм. Так.

— Хорошо жили, вольно. Делали, что хотели. А потом им сказали: «Больше вам воли нету». И стали их всяко теснить. И жизнь их... стала плохая. — Степан посмотрел на стариков, невольно усмехнулся, видя, как озадачил он их своей притчей.

— И вся сказка?

— Что этим людям делать? — весело и значительно спросил Степан.

— Кто тебе такую сказку сказал? — поинтересовался Стырь.

— Один человек... Я теперь вас спрашиваю: как им быть-то?

— Вот спрости того человека: он знает, как быть. Кто затевает такие сказки, тот и должен знать, как быть. Припрет, так отгадаешь, как быть. Мы вон с отцом с твоим доразу отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует?

— Хорошая сказка, — в раздумье молвил Поп. — Жалко, конца не знаешь.

— Вот думаю: какой бы ей конец приделать? Славный надо конец. А? — Степан вызывающе и с

нахальной веселостью посмотрел опять на Стыря. С некоторых пор он изводил старика зловещей выдумкой: будто Стырь подговаривает атамана «поднять на нож» царицы города по Волге — Астрахань, Царицын, Самару... К этой шутливой выдумке относились по-разному. Стырь злился и скоморошничал в ответ: «Не Самару, а уж Москву тада!» Иван Черноярец недоумевал. Фрол Минаев внимательно приглядывался к Степану, когда тот затевал странную перебранку со стариком, Ларька Тимофеев хоть скалился, но тоже с интересом и серьезно взглядывал на атамана — этим казалось, что в этой опасной шутке есть — не шутка. Но никогда об этом не говорили — ни атаман, ни есаулы. — Что молчишь-то? — спросил Степан. — Надо ж сказке конец придумать?

— Делай, — откликнулся Стырь, чувствуя, что атаман вознамерился опять позубоскалить. — Какой я тебе советчик?

— Кто же мне советчик тада, еслив не ты? Да не Поп вон... Вы много видали, много думали...

— Нашел думных! — воскликнул Стырь. — Мы те надумаем... Я вот думаю: где бы нам теперь сиушки раздобыть? У тебя нету?

— Нету, — серьезно сказал Степан. — Чего приперлись? Фрола выручать? Рази так делают, как он?

— Он спьяну, батька. Сдурел, — осторожно повел было расстрига Поп. — Ударило в голову...

— Пускай молоко пьет, раз с вина дуреет, — отрезал Степан.

— Брось, Тимофеич, — серьезно сказал Стырь. — Серчай ты на меня не серчай, скажу: не дело и ты ведешь. Где это видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случалось? Это вечно так было! Отдать ее надо — от греха подальше. А за ее ишо и выкуп хороший дадут. За ее да за брата ейного надо...

— Ладно! — обозлился Степан. — Явились тут... апостолы. Сами пьяные ишо, проспитеесь. Завтра в Астрахань поедем.

«Апостолы» замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил к выходу — подталкивал Стыря.

— Идите спать, — уже мягче сказал Степан. — А то... сны какие-то принялись тут рассказывать... Делать нечего.

Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали спускаться по сходне — одной гибкой доске, на которой в изредь набиты поперечные рейки.

— А ты, Иване, догадлив: голову за пазушку положил, — с сердцем сказал Стырь. — Чего же язык проглотил, когда я про девку-то заикнулся? То — «надо присоветовать ему», а то онемел сразу. И присоветовал бы — самое время.

— Боюсь, — просто сказал расстрига. — Зачем, думаю, на свою руку топор ронять?

— Э-э... да ты из этих, правда-то, из думных? — съехидничал Стырь.

Расстрига вздохнул. Помолчал и сказал с грустью:

— Был когда-то и во мне молодца клок — выдрали.

На берегу их ждал Иван Черноярец.

— Ну? — спросил есаул; он надеялся на стариков.

— Отойдет, — пообещал Стырь. — Весь в деда свою: тот, бывало, оглоблю схватит — дай Бог ноги. Потом ничего — отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Разя.

— Оглобля — куда ни шло, — заметил Черноярец. — Этот чего похуже хватает.

— Лют сердцем, правда. А вот Иван у их был — девка красная! Вот кого я любил! И этого люблю, но... боюсь, — признался и Стырь. — Не поймешь никак, что у его на уме.

— Извести ее, что ли, гадину? — размышлял вслух есаул. — Насыпать ей чего-нибудь?..

— Не, Иван, то грех. Что ты! — чуть не в один голос сказали старики.

— С ей хуже грех! «Грех»... Мы из-за ее есаула вон потеряли — вот грех-то!

— Нет — грех страшный: травить человека, — стояли на своем старики; особенно расстрига взволновался. — Грех это великий. Лучше так убить.

— Убей так-то! — воскликнул есаул. — На словах-то вы все храбрые...

— Посмотрим. Домой он ее, что ли, повезет? Там Алена без нас ей голову открутит. Где Фрол-то? — спросил Стырь.

— Вон, у огня сидит. Сушится. Как завтра-то быть? — Черноярец был в большом затруднении.
— Ума не приложу.

— Пошли к Фролу, — сказал Поп. — Чего-нибудь придумаем.

— Что-то у меня голова какая-то стала?.. Забыл, чего-то хотел сказать тебе, Иван... — Стырь придержал есаула, потер ладошкой лоб. — Чего я хотел сказать-то?

— Ну? — недовольно сказал есаул. — Чего?

— А-а!.. Спомнил: пошли выпьем по чарочке! Прямо из головы вылетело. С вечера же ишо помнил...

— Чтой-то, Стырь, худой ты становишься, — заметил Черноярец. — Такие дела забываешь... Стареешь?

— Я? Нисколько. Кто тебе сказал?

— Стареешь. — Есаул любовно хлопнул старика по загривку. — Ты рази такой был? Я же помню...

— Старею, Ваня. Осталось мне выпить на этом свете всего... двадцать бочек вина. — Стырь сказал это с наигранной грустью, даже сморкнулся как-то печально.

— Сторишь к черту.

— Не сгорю! — распрявился Стырь. — Я хоть и старый, да старого замеса, не вам чета. Случись я давеча заместо Фрола, у меня бы осечки не было. Вы только башкой берете, а мы, как яички, — со всех сторон круглые. Хоть поставь нас, хоть положь — мы все на боку. Так-то, паря.

— Что-то надо с ей делать, — опять вспомнил Черноярец княжну. — На Дону ей делать нечего. Куда?!

Он был не злой человек, Иван Черноярец, но святое воинство для него — истинно святое, на том он стоял, за то и любили его в войске, и уважали.

Трое свернули от берега в сторону дальнего костра, возле которого сушился Фрол Минаев. С того берега его перевез в лодке Черноярец.

Где-то во тьме невнятно пели двое:

Ох,

Бедный еж!

Горемышный еж!

Ты куды ползешь?

Куды ежисся?..

«Бедный еж» нашел наконец родную душу.

ПРАЗДНИК, которого так ждали казаки, отшумел. И славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть одна крайность — немислимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая — прямо противоположная. Ведь и Разин не был бы Разин, если бы почему-то — по каким-то там важным военачальным соображениям — не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных, самых что ни на есть важных соображений! Так русский человек отдыхает — весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день — будет пища. Это на Руси давно сказали.

6

Утро занялось светлое.

После тяжелой угарной ночи распахнулась ширь вольная, чистая. Клубился туман.

Собиралось посольство в Астрахань.

Степан сидел на носу своего струга. С ним вместе на струге были: Иван Черноярец, Стырь, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Княжна сидела нарядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помяты, хмуры с похмелья: Степан не дал опохмелиться, а упрашивать бесполезно — не даст, знали.

Иван Черноярец распоряжался сборами. Наряжалось двенадцать стругов. Хотели перво-наперво пустить астраханцам пыль в глаза: удивить богатством, дорогим оружием.

— Князька-то взяли?! — кричал Иван. — Как он там?

— Ничего! Харю ему маленько спортил батька вчера, а так ничего, веселый!

— Напьяльте на его поболе. Пусть смеется, скажите! Прапоры взяли?! (Знамена.)

— Взяли!.. А сколь брать-то?

— Тимофеич, сколь прапоров брать? На каждый стружок?

Степан подумал.

— Десять.

— Десять! — крикнул Иван. — Поисправней выберите!

Двенадцать стругов пылали на воде живописным разноцветьем. Потягивал северный попутный ветерок; поставили паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые кресты. Снасти тоже из шелка. Двенадцать стружков, точно стая белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые отвалить.

К Степану подошел Стырь (казаки подослали).

— Что, Тимофеич, хотел я тебе сказать... — начал было он.

— Нет, — кратко отвечивал Степан. — Гребцам можно по чарке. Иван!..

— О!

— Гребцам по чарке! Больше никому!

— Добре! — Пасмурное настроение атамана тяготило Ивана, но он старался делать вид, что все хорошо. Ничего. Дело делается, чего еще? Первый есаул нарочно бодрил себя и других.

Гребцы оживились, услышав про чарку. Посмотрели на есаулов весело.

Стырь, печальный, пошел к своему месту. Оглянулся на атамана... Подсел к одному смуглому гребцу.

— Васька, ты помнишь, собачий сын, как я тебя тада выручил? — ласково спросил он. — Когда тебя к березе-то привязали...

— Помню, диду. А чарку не отдам. — Васька сплюнул за борт горькую слюну. — Я лучше ишо раз к березе стану...

— Пошто? Ты же как огурчик сидишь! А у меня калган счас треснет. Помру, наверно. Неужель тебе не жалко? А? Васк...

— У меня у самого... — заговорил было смуглый Васька, но Стырь притиснулся к нему ближе, чуть не обнял, и горячо зашептал, обдавая вонючим перегаром:

— Погоди-ка. Давай такой уговор: ты мне счас отдаешь свою вшивую чарку, а дома поедем в Черкасск к Мирону Чорному — сватать за тебя его девку...

— Я про ту девку ни сном ни духом, — изумился Васька. — Я ее в глаза не видал. Ты что?

— Увидишь. Он мне кумом доводится, Мирон-то. А девка у его — не девка, клад. Крестница моя. Ну? А вино у Мирона — ты небось слышал?.. Ты сприси у любого тут: «Что за вино у Мирона?» — тебе скажут. Мы там будем три недели гулять...

В группе, где есаулы, шел негромкий разговор. Свои дела.

— Он где счас-то?

— В тальнике где-то, Иван сховал.

— Ну, он хучь добрался до ее?

— Не успел.

— Жалко. Страдать, дак хоть уж знать, за что.

— Иван подговаривает уморить ее как-нибудь...

— Как?.. Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь — сразу к нам кинется. Нет, тут всем тада несдобровать.

— Мда-а... От сучка-то! Сгубила казака.

— Да он, Фрол-то, тоже... ни одну бабенку так не пропустит.

— Заглядывался он на ее, я давно замечал. А тут, видно, перебрал вчерась... Не утерпел.

Есаулы приняли близко к сердцу несчастье своего товарища. Жалко было Фрола. Люто возненавидели красавицу княжну. Только двое из них оставались спокойными, не принимали участия в пустом разговоре: Ларька Тимофеев и Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от княжны. Придумал Ларька.

Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степана особой любовью и предан атаману совсем не так, как преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы атаман — был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все никло и трепетало, и тогда, за такого атамана, он, не задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избранного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был сам ползать на брюхе перед атаманом — чтоб все видели и чтоб все тоже ползали, — лишь бы величился любимый «вож» и благословлялось удачей его дело. Если он, к примеру, страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на самом деле — больше показывал, что страшится. Он не боялся, он любил, и если бы он когда-нибудь понял, что атаман совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его ножом в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол поклонился и скоро упадет.

Сегодня утром Ларька открылся Федору: он придумал, как умертвить княжну. План был варварски прост и жесток: к княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку, и он иногда — редко — заходил. Пусть он войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька — клятвенное слово! — сам возьмется освободить его из неволи. Здесь — Астрахань, здесь легко спрятать князьку, а уйдут казаки, воеводы переправят его к отцу. Объяснение простое: князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает.

Федор изумился такой простоте.

— Да задушит ли? Сестра ведь...

— Задушит, я говорил с им. Ночью через толмача говорил... Только боится, что обману, не выручу.

— А выручишь?

— Не знаю. Можя, выручу. Это — потом, надо сперва эту чернявочку задавить. Как думаешь? Надо ведь!..

— Давай, — после некоторого раздумья сказал Федор.

Так они порешили сегодня утром.

— А куда он ее счас-то повез? — продолжали негромко беседовать есаулы. — Зачем? Перед воеводами, что ли, выхвалиться?

— Черт его знает... Нарядил!

Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке своей, которую решил этой ночью Фрол Минаев. Няньку так и не вытащили из воды — оттолкнули плыть.

Подошел Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську.

— Ну? — спросили его из есаульской группы.

— Не велел, казачки, — весело сказал Стырь. — Ни в какую. Всяко пробовал. Уж и так и эдак подкатывался... Нет! Ничего, потерпите, ребята. А то правда — на такое дело едем...

— А ты где-то уж урвал! — с завистью сказал Мишка Ярославов. — Ишь как разговорился. Тут на свет белый глядеть неохота, а он ишо тараторит... Урвал?

— Урвал, — сознался Стырь. — Хлопец один должок отдал.

— Кто б мне тоже должок отдал! — вздохнул Мишка.

— Потерпите, — благодушно посоветовал Стырь. — Вот побываем у воеводы, потом уж разговеемся.

Тем временем Степан махнул рукой.

А минутой раньше он же, Степан, пока есаулы разговаривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел с соседнего струга на Степана... Тот кивнул головой, подтверждая, что — да, ссади. Иван свел нарядного князя и отдал казакам, которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не понял. И никто не понял. Потом уж, позже, многие догадались: чтобы князь не знал о горькой участи своей сестры и нигде бы не рассказывал, что ему довелось видеть.

Головной струг, а за ним остальные выплыли из Болды в Волгу. Сразу набрали хороший ход.

Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, посасывал трубку. Изредка взглядывал на есаулов. Видел, что — шушукуются. И уж знал, зна-ал, какие они там разговоры ведут.

Княжна сидела одна. Она даже похудела за эту ночь.

Есаулы всё разговаривали. В сторону атамана не смотрели.

А Степан уже неотступно смотрел на них... И взгляд его стал нехороший — внимательный. Он вздохнул. И вдруг вскочил и, шагая через нашествя, быстро пошел к ним. Есаулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев потрогал саблю...

— Прячете Фрола! — тихо закричал Степан, хватая первого попавшегося за грудки. Им оказался Федор Сукнин. Степан толкнул его. Тот споткнулся сзади о нашествя, грохнулся. — В гробину вашу, в кровь!.. — Еще один есаул полетел от сильного толчка, Мишка. — Жалко Фрола? А я вам кто?!. Я атаман или затычка?! Мной помыкать можно?! Собаки!.. Шепчетесь тут?!.

Двое успели выхватить сабли — вскочивший Федор и Ларька. Федор прямо пошел на Степана, Ларька оказался сбоку и тоже двинулся к атаману.

— А-а, — вдруг вовсе тихо, как-то даже радостно сказал Степан, и в руке его сверкнул косой белый огонь. — Ну?..

Никто не заметил, как выхватил саблю подоспевший Иван Черноярец; увидели только, он махнул рукой... Тонкий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина перелетела через борт и булькнула в воду: Иван вышиб ее у Федора. И он же заслонил Федора и оказался перед Степаном. Федора оттолкнул дальше казак Мишка Ярославов, ибо Федор, очутившись без сабли, засуетился рукой у пояса, где пистоль.

— Миротворец, — тихо и вкрадчиво сказал Степан. — Ну?.. Спас атамана? Спас? — И шел на Ивана, страшный, белый; губы его покривились обидой, тряслись, он никак не мог ими улыбнуться.

— Уймись, шальной! — крикнул Иван. — Что ты делаешь?

— Ать! — Степан резко качнулся вбок... И Ларька чудом уцелел — увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул Ларьку по руке. — На-ка!..

В момент, когда Степан повернулся к Ларьке, Иван кинулся на Степана, растопырив руки, — хотел схватить. Степан с нечеловеческой быстротой нырнул ему под руку и подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил, крутнулся лежа, поднял саблю, чтоб заслониться ею от неминуемой смерти. Но сабля атамана уже взлетела над ним...

— Пропал, казаче! — крикнул Степан Черноярцу.

В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил саблю в дно стружка на четверть от Ивановой головы. Только после этого повернулся на выстрел.

— Кто стрелил?

— Я, — сказал Иван Аверкиев. — Хотел...

— Куда метил? В руку?

— В саблю, батька. Святой крест, в саблю. Хотел выбить.

Степан сел на лавку, сплюнул за борт.

— Ну, повоевали, и будет. — Ядовитая, злая тоска, которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало. — Рассказывайте, чего вы тут шептались?

Случившееся произошло с такой быстротой, что не все сразу опомнились. Отовсюду, со всех стругов, на атамана во все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им — гребите.

— Садись, — пригласил Степан есаулов. Он даже повеселел — так легко сделалось на душе. — Ларька, покажь руку. Как мы ее там?.. На атамана — с саблей! Бесстыдник.

— Что я, рубить, что ль, стал бы?

— Показывай руку. А что б ты стал? Причесывать?

— Плашмя бы достал — чтоб руку отсушить.

— Показывай рану. Я те отсушу... Нашелся!

Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разорвал рубашку... Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана была незначительная, даже до кости не достало.

— Память, Ларька: не крадись сбоку. Ходи теперь с зарубкой...

— Ты сдурел, Степан, — с упреком сказал Иван. — Так можно заикой сделаться. Чего взбесился-то?

— Ты хоть заранее сказывай: буду пужать, — попросил Стырь. — А то я чуть в штаны не наделал.

— Будет про это, — сказал Степан. Помолчал... Посмотрел на реку, на безоблачное небо, промолвил, вроде как с сожалением: — Ясно-то как!.. Господи! Конец лету. — Глянул на есаулов, остался недоволен: — Ну, пошли глаза пялить! Вёдро, говорю, стоит! Стало быть, хорошо! И нечего глаза пялить...

Есаулы молчали. Таким они своего атамана еще не видели: на глазах двоился — то ужас внушал, то жалость.

Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял княжну, поднял и кинул в воду. Она даже не успела вскрикнуть. Степан прошел дальше, в самый нос, позвал:

— Идите ко мне!

Он сел, опять привалился боком к борту... Коротко глянул на воду, куда без крика ушла молодая княжна... В глазах на миг вскинулась боль и тоска, он отвернулся.

Есаулы подошли; кто присел, кто остался стоять. На атамана боялись смотреть. Теперь уж — только боялись: кому-то да эта княжна отольется слезами. Но кто знал, что он так ее маханет? Знай есаулы, чего он задумал, может, и воспротивились бы... Хотя вряд ли. Может, хоть ушли бы на это время. Как-то не так надо было, не на глазах же у всех... Было ли это обдуманно заранее у Степана — вот так, на глазах у всех, кинуть княжну в воду? Нет, не было, он ночью решил, что княжну отдаст в Астрахани. Но после стычки с есаулами, где он вовсе не пугал, а мог по-настоящему хватить кого-нибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, как он сам, после этой стычки разум его замутился, это был миг, он проходил мимо княжны, его точно обожгло всего — он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть ее, тосковать, злиться станет...

— Ларька, чего насулили Львову? Перескажи, — велел Степан.

— Отдать прапоры, пушки... — стал пересказывать Ларька: это то, что они, по научению атамана, согласились отдать во время переговоров с князем Львовым у устья Волги.

— Сколь?

— Не уговаривались. Сказали, чижолые отдадим.

— Ну? Дальше.

— Ясырь. Струга морские, припас... Но припас и струга — в Царицыне. Служилых людишек, какие с нами, он говорит, отпустить...

— Как же мы без припасу останемся? — встрял Черноярец.

— Погоди. Ишо?

— Ишо: бить челом царю за вины. Без того, мол, не пустим на Дон: царь, мол, с их тоже спросит, зачем...

— Иван, сколь пушек у нас?

— Сорок две всех.

— Ишо чего, Ларька?

— Рухлядь, какую на бусах взяли...

— Ишо?

— Все вроде. Ну, к присяге станем — само собой.

— Мишка, списал, чего в дар везем?

— Списал, — живо откликнулся Ярославов.

— Ну-ка?

— Воеводе бархат красный заморский — шесть бунтов, девять тюков сафьянов — в тюку по пять сафьянов, три килима рытых, кутни с травами — четыре косяка, линты золотые — сорок аршин, недолиски — три, снизки с яхонтом — две, дорожки с золотыми травками — тридцать аршин, кружева шемахинские с золотом и серебром — две стопы, чашки золотые — тринадцать, тридцать юфтей шемахинских — в четырех узлах. Этому воеводе везем, второму: сорок юфтей шемахинских — пять узлов, десять косяков кружев с золотом и серебром, две какие-то книги, ковер большой турецкий с шелком, три штуки бархату золотного, ишо сундук с книгами грецкими, восемь пар пистолей с озолотной оправой, пять косяков тафты струйчатой разных цветов, хрусталей — не счесть, шелк...

— Насобачился ты в этом деле! — удивился Степан. — Чешет, как поп обедню.

— Ишо списки есть...

— Будет. — Степан посмотрел на есаулов. Спросил: — Будет аль нет — глотки-то заткнуть? Али мало?

Есаулы промолчали: никто не знал этого. Только Черноярец высказал свое мнение:

— Выше ноздрей. Припас-то зачем посулились отдать?

— Федор, — позвал Степан, — посылал кого-нибудь, куда я велел?

— Семерых. Пятеро пришли, двое ишо в городе.

— Чего говорят?

— Ждут, говорят, казаков: охота на наше богатство глянуть.

— Ну? Это я без их знаю. Про стрельцов-то?

— Стрельцы-годовальщики домой собираются, ждут новых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую грамоту к нам — знают, даже посадские знают.

Степан вытащил из-за себя небольшую кожаную сумку с тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, когда Федор поймал ее.

— Дак как с припасом-то? — всерьез обеспокоился Черноярец, глядя на атамана и на есаулов.

— Чего вы, на самом-то деле? Куда мы без припасу?!

— Быть бы беде, Ваня, да случились деньги на бедре. Федор, передай Красулину — наособицу, чтоб не видал никто. Я тоже думаю, хватит. А там поглядим, как они... Покажем себя строго. Нос кверху шибко не драть, но и... телятами тоже не притворяйтесь: волки съедят. Смотрите за мной: я в таких делах бывал.

Бывал — есаулы знали. Молчали.

— Ну, рады теперь ваши душеньки? — вдруг зло спросил атаман. И зло и обиженно поглядел снизу на есаулов. — Довольные?.. Живодеры.

И на это ему никто ничего не сказал. Не то чтоб есаулы очень уж были довольны, но... теперь случилось. А раз уж случилось, то оно и к лучшему.

* * *

Народу высыпало на берег — видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками... Рады были. Счужу хоть порадоваться: вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся.

Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход; казаки влились в этот проход яркой, цветастой рекой.

Степан шел в окружении есаулов, ничем особенным не выделяясь среди них: на нем было все есаульское. Только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него... Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть шурил глаза.

Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги.

— А не послать ли нам воеводу к такой-то матери? — спросил вдруг Черноярец. — Тимофеич? Ты глянь, что делается!.. — Они шли рядом; Черноярец посмотрел на атамана. — А, Тимофеич? — Тимофеичем Черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное

атаманом, оборачивалось большой удачей.

Степан молчал. Вроде не слышал.

— Я, мол: не кланяться б нам теперь воеводе! Хозяева-то мы получаемся, не воеводы. Тимофеич!..

Степан еще больше сощурил глаза. Наверно, Степан был счастлив. Он был рад.

— Дай срок, Ваня, — сказал он негромко. — Не егозись пока. Может, пошлем, не теперь только. А охота послать-то? — Степан глянул на первого есаула и засмеялся.

Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто притерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому и стон-то в горло забили, все, с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются! Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира — чтобы любить, а не бояться.

С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами.

7

Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом Божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит.

— Знамо, он — подлец отпетый, — сказал митрополит, — но все же... крестили же его! Тут мы его лучше пройдем.

Перед небольшим алтарем стоял длинный стол, за ним восседали: князь Иван Прозоровский, князь Михайло Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, голова стрелецкий Иван Красулин, еще пять-шесть приказных — всего человек двенадцать-тринадцать.

— Э!.. — сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. — Я в Соловцах видал: вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Исус-то?

Разин, еще молодым человеком не раз ходивший послом к калмыкам — склонять тайшей против крымцев (при этом сперва надо было раззудить до визга давнюю злобу калмыков к Малому Ногаю, а уж через Малый Ногай направить эту злобу на Крым), бывший в «головщиках» крупных отрядов в войне с тем же Крымом, к тридцати годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки... Этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих (особенно когда видели казаки), такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось, — уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались: этак и до беды скоро. Наверно же многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать: как видел какого властителя (с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде Корнея), да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал: надо было обязательно уесть этого важного, строгого.

— Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи! — строго сказал митрополит. — В конюшню зашли?!

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.

— Так: это дело сделали, — сказал Степан. — Теперь...

— Всю ватагу привел?! — крикнул вдруг первый воевода, покраснев. — Был тебе мой указ: не шляться казакам в город, стоять в устье Болды! Был или нет?

— Не шуми, воевода! — Резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. — Ты боярин знатный, а все не выше царя. В его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили, чего ты горло дерешь?

— Кто стрельцов в Яике побил? Кто посады пограбил, учуги позорил?.. «Никакого дурна»! — сказал митрополит тоже зло.

— Был грех, за то приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой — кладу. — Степан подошел и положил на стол перед воеводами символ власти своей. — А вот прапоры наши. — Он оглянулся... Десять казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол — тряпки на колышках.

Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

— А вот дары наши малые, — продолжал он, не оглядываясь.

Опять казаки расступились... И тринадцать молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу. И отошли.

— Мишка! — позвал Степан.

Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману.

— Списки — кому чего, — пояснил он. — Дары наши...

— Просим покорно принять их. И просим отпустить нас на Дон, — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее.

За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать... Князь Львов мигнул приказным; один скоро куда-то ушел и принес и подставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой. Табурет далеко отлетел.

— Спаси Бог! — воскликнул атаман. — Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господами, а ты табурет приволок, дура. Постою, ноги не отвалются. Слухаю вас, бояре!

Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд — в бубенцах и в ленточках — с обрыва вниз. «Прощенческого» спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже.

Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго:

— Про дела войсковые и прочия разговаривать будем малым числом. Не здесь.

Воеводы, дьяк и подьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михайло Ярославов, Федор Сукнин — с казачьей удалились в приказную палату толковать «про дела войсковые и прочия».

На переходе из церкви митрополита в приказную палату, в тесном коридорчике со сводчатым потолком, Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметят, приотстал. Нахмурился.

— Здоров, князюшка! — тихо сказал Степан.

— Ну? — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана.

— Здоров, говорю.

— Ну, чего?

— Хочу тебе про уговор наш напомнить...

— Дьявол! — зашипел князь. — Чего тебе надо? Мало — прошел на Астрахань?

— Я неоружным на Дон не пойду, — серьезно заявил Степан. — Не доводите до греха. Уговаривай их... Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай.

— Знаю! Ивана Красулина подкупил?

— Бог с тобой! Как можно — голову стрелецкую! — притворно изумился атаман. — Где это видано!

— Дьявол ты, а не человек, — еще раз сказал князь. — Подлец, правда что.

— На море-то правда хотел побить меня? — миролюбиво спросил Степан. — Или — так, для отвода глаз? Небось, если б вышло, — и побил бы?.. Я думал, там Прозоровский был: грешным делом, струсил.

— Отойди от меня! — зло сказал князь.

Степан отошел. И больше к Львову не подходил и даже не смотрел в его сторону: он все сказал, а князь Львов все понял — это так и было.

* * *

Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал славную!

— Я скажу вам, а вы скажите своему атаману и всем начальным людям вашим и подумайте в войске, что я сказал. А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христоролюбивое подскажет вам разгадку: можно ли забывать церкву господню! И как надо, помня господа Бога, всегда думать про церкву его святую, ибо сказано: «Кесарево — кесарю, богово — богу».

Казачья поначалу с интересом слушала, длинного сухого старика; говорил он складно и загадочно.

Митрополит начал:

— Заповедает раз Господь Бог двоим-троим ангелам: «О вы, Мои ангелы, три небесных воеводы! Сойдите с неба на землю, поделайте гуслицы из сухого явору да подите по свету, будто пчела по цвету. От окна Божьего — от востока солнечно, и пытайте все веры и все города по ряду: знает ли всякий о Боге и Божьем имени?» Сошли тогда ангелы, поделали гуслицы из сухого явору. Пошли потом по свету, будто пчела по цвету. От окна Божьего — от востока солнечно, и пытаются все веры и все города по ряду: знает всякий о Боге и о Божьем имени?

Казаки помаленьку заскучили: похоже, святой старик разбежался издалека — надолго. Часть их, кто стоял сзади, незаметно улизнули из церковки на волю.

— И вот пришли перед дворы богатого Хавана — а случилось то прямо в святое воскресенье — и стояли ангелы до полуденя. Тут болели они и ногами, и руками трудились белыми, от собак бороняючись. Вышла к ним Елена, госпожа знатная. Перед ней идут служаночки, и за ней служаночки. И вынесла Елена, госпожа знатная, обгорелый краях хлеба, что месили в пятницу, в субботу в печь сажали, а в воскресенье вынули...

Вовсе поредела толпа казаков. Уж совсем мало слушали митрополита. Митрополит, видя это, заговорил без роздыха:

— Не дала его Елена, как Бог милует, бросила его Елена башмаком с ноги правья: «Вот вам, убогие! Какой это Бог у вас, что прокормить не может своих слуг при себе, а шлет их ко мне? У меня мой бог на дому, сотворил мне мой бог дворы, свинцом крытые, и столы серебряные, много скота и имения...»

— Передохни, отче, — посоветовал Стырь. — Запалился.

— Тогда пошли ангелы. Повстречал их Степан, верный слуга Хавана. И говорят убогие: «Послушай-ка, брат Степан, удели, ради Бога, чего-нибудь». А Степан им: «Послушайте, братья убогие, ничего нигде нет у меня, кроме одного ягнечка. Служил я у Хавана, служил полных девять лет, ничего-то он не дал мне, кроме одного ягнечка. Молоком побирался я и ягненка откармливал. Теперь мой ягненок самый лучший из всех овец. Будь здесь мой ягнечок, я бы вам отдал его теперь». Говорят ему ангелы: «Спасибо, брат Степан! Если то и на сердце, что на языке, — тотчас ягненок будет здесь». Обернулся Степан — ан идет ягнечок через поле, блеючи: он Степану радуется, будто своей матушке. Взял Степан ягнечка, поцеловал его три раза, потом дал убогому. «Вот, братья убогие, пусть на вашу долю пойдет. Вам на долю, а мне — заслуга перед богом!» — «Спасибо, брат Степан!» И ушли ангелы. И увели ягнечка. Когда пришли ангелы к престолу Христову, сказывают господу, как что было на земле. А Господь знает то лучше, чем как они сказывают. И молвил им Господь Бог: «Слушайте-ка, ангелы, сойдите вы с неба на землю да идите ко двору богатого Хавана, на дворе ему сделайте болотное озеро; схватите Елену, повяжите на шею ей камень студеное, привяжите к камню нечестивых дьяволов, пусть ее возят по муке, как лодочку по морю». Вот такая притча, — закончил митрополит. И крепко потер сухими белыми руками голову, виски, чтоб унять тряску. — Ну, поняли хоть?

— Утопили? — спросил Стырь (перед митрополитом стоял он и еще несколько пожилых казаков). — Ая-яй!.. Это как же так?

— Карахтерный Бог-то, — промолвил дед Любим, которого история с ягнечком растрогала. — А ягнечка небось зажарили?

Митрополит не знал: злиться ему или удивляться.

— Подумайте, подумайте, казаки, за что Бог Елену-то наказал, — сказал терпеливо. — В чем

молитва-то наша богу? Заслуга-то...

— В ягненочке? — догадался простодушный дед Любим.

— Да пошто в ягненочке-то?! — вышел из терпения митрополит. — Ягненочек — это здесь для притчи сказано. Вы вон добро-то спускаете где ни попадя — пропиваете, а ни один дьявол не догадался из вас церкви господней вклад сделать. Только бы брюхо усладить!.. А душу-то... о спасении-то надо подумать? Кому уж, как не вам, и подумать-то — совсем ведь от церкви отбились.

* * *

А в приказной палате дым коромыслом — торг. Степан не сдавал тона, взятого им сразу. Да его уж и сдавать теперь нельзя было — дело клонилось к казачьей выгоде.

— Двадцать две пушки, — уперся он. — Самые большие — с имя можно год взаперти сидеть. А нам остается двадцать.

— Для чего они вам?! — горячился старший Прозоровский. — Если вы на мир-то, на покой-то идете — для чего они вам?

— Э, князь!.. Не гулял ты на степу-приволе. А — крымцы, татарва? Мало ли! Найдутся и на нас лихие люди. Дойтить надо. А как дойдем, так пушечки эти вернем тотчас.

— Хитришь, атаман, — сказал молодой Прозоровский. — Эти двадцать две, они тяжелые: тебе их везти неохота, ты и отдаешь...

— Не хотите — не надо, мы доведем как-нибудь. Не пойму вас, бояре: то подвох от нас чуете, а отдаешь вам пушки — не берете...

— Не про то речь! — с досадой воскликнул старший Прозоровский. — «Не берете». Ты и отдай все, еслив ты без подвоха-то. А то же ведь ты все равно оружный уходишь!

— А вы чего же хотите? Чтоб я с одними баграми от вас ушел? Не бывать этому. Не повелось так, чтоб казаки неоружные шли. Казаки-то!.. Бог с вами, вы разумные люди: когда это было?

— Да ведь ты если б шел! Ты опять грабить начнешь.

— Куда? Нам теперь хватит на пять лет сытой жизни, даже останется. Солить его, что ли, добро-то?

— Ну, а струги? — спросил младший Прозоровский.

— Как порешили: девять морских берите от нас, нам — струги полегче, а взамен морских — дайте нам лодки.

— А ясырь? Сколько у вас их?

— Ясырь — нет. Мы за ясырь головы клали. Надо — пускай шах выкуп дает. Не обедняет. Понизовские, какие с нами ходили... мы их не неволим: хочут, пусть идут, куда знают. За вины наши пошлем к великому государю станицу — челом бить. Вот Ларька с Мишкой поедут. А теперь — не обессудь, боярин: мы пошли гулять. Я с утра не давал казакам, теперь самая пора: глотки повысыхали, окатить надо. Пушки свезем, струги приведем, князька этого — тоже берите. Его привезут вам. Даром берите, ну его к черту: пока дождедся выкупа за его, он с

тоски околеет.

— А сестра его? С ним же и сестра его?..

— Сестры его... нету, — не дослушав воеводу, сказал Степан. — Ушла.

— Как ушла? — опешил воевода. — Куда ушла?

— Не знаю. Далеко. — Степан поднялся и вышел из палаты, не оглянувшись. Дальше он стал бы бестолково злиться, и было бы хуже. Только и оставалось — уйти.

Астраханцы удивились, ничего не поняли.

— Как так? Что он?..

— Где девка-то? — спросил Прозоровский у есаулов.

Есаулы пожали плечами: они тоже не знали, куда она ушла.

— Отдавать не хочет, — понял дьяк. — Сколько вас в Москву поедет? Двое, что ли?

— Шестером, — ответил Иван Черноярец. — Ну, мы тоже пошли. Правда, головы лопаются... Вчерась потанцевали маленько, игры всякие... а похмелиться утром батька не дал. Зарублю, говорит, кто пьяный на глаза воеводам покажется! А голова... Говорю вот, а там все отдает. Не обессудьте нас. Рады бы ишо с вами поговорить, да... какие мы теперь говоруны! Ишо повидаемся!

Есаулы вышли.

Власти остались сидеть. Долго молчали.

— Тц... — вздохнул старший Прозоровский. — Нехорошо у меня на совести, неладно. Ушел, сукин сын, из рук ушел, как налим. Ох, спросят нас, спросят: «А чего вы-то сделали?» А ничего: как он пришел с моря, так и ушел. Отдал, что себе в тягость, — и ушел. Всей и строгости нашей, что молебен отказались служить. Ведь вот как дело-то повернулось.

— Хитер, вор... — вздохнул Иван Красулин. В кармане у Ивана покоился — тянул книзу — тяжелый мешочек: тайный дар Степана.

— Не та беда, что хитер, беда наша, что — умен. Хитрых-то у нас у самих много, умных мало. Чует мое сердце, спомним мы ишо этот разговор, спомним... Это вам не Ивашка Кондырев. Не Ермак даже. Этот — похлеще будет, побашковитей.

— Ну уж, Иван Семеныч... отыскал умницу! — воскликнул князь Семен. — Прямо уж — головой в омут: перемог разбойник умом! Чего уж так?

— Да ведь оружным опять уходит! «Чего так...» Так!

— Ну и уходи он! Они сроду оружные ходют, как теперь? Не нами заведено, не нам отменять. У нас царева грамота на руках — при чем тут его башковитость?

— Знамо, не без головы, — вздохнул стрелецкий начальник, — я согласный с тобой, Иван Семеныч. Но то и худо-то, что не дурак. Не дурак, да и не сотню, не две ведет за собой, а тыщу с лишком — тут и нам тоже не оплошать бы, помощи, Господи. Увел бы он их поскорей отсудова

— вся забота теперь: лишь бы миновать беду.

— Да ведь и я-то про то! — рассердился старший Прозоровский. — Только забота-то моя дальше вашей смотрит: не было бы у его завтра — пять, а то и поболее тыщ-то. Вот заботушка-то! Ведь он оружный, да при таком богатстве...

— Укажи тада, чего делать? — тоже недобро спросил князь Львов.

— А вот и не знаю. Знал бы — указал. То-то и оно, что не знаю. Все верно, указ довели... А душа болит. Вещует. Неладно поступили, неладно. Разумом — вроде так, а совесть не чиста, хоть ты убей меня.

— Выше царя не станешь, Иван. Указ довели — чего же?.. Все. Ну ладно, — стал размышлять Львов, — захотели мы поотнять у них все: оружие, припас, добро... А кто отнимать-то станет? Стрельцы? Да они вон вместе с имя гуляют, стрельцы-то, вино ихное пьют наши стрельцы... А и найдется сколько-то надежных, так посадские не дадут. Не видишь, что ли, что делается? Не тут, не с нами, он башковитый, а вон где, в городе: он уж все разузнал там, оттого и смелый такой. Нету у нас силы — унять его, нету. А он... что же, он, знамо, не дурак: понял это. Да тут и ума большого не надо, чтобы это понять.

— Оно — так, — согласился Прозоровский. — Так-то оно так...

8

Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный.

С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми... Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо. Где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.

— Сево? Сяцем так? — возмущались татары. — Конька ма-ла-десь, сево зубым смотришь?

— Сево, сево... Вот те и сево! Нисево!

— Ая-йй!.. Касяк — понимать надо конь! Такой конька — ма-ла-десь!

Изучались копыта, глаза, уши коней, груди... Даже зачем-то под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.

— Кузьма, ну-к прыгни на его: сразу не переломится, до Царицына можно смело бежать. Подержи-ка, севокалка!

— А спина-то сбитая! Воду, что ль, возил на ем?

— Сево?

— Вот! Как же ее под седло? Спина-то!..

— Потниська, потниська...

— Пошел ты!.. Хитрый Митрий нашелся — «потниська». Я лучше на тебе доеду, без потничка. Дурней себя нашел...

Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так: они тоже нужны — струги везти на Дон. Кони, вот радость-то долгожданная!

— Ну-к, вон того карего!.. Пробежи кто-нибудь! — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут — вчерашние мужики, любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови.

Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину... Расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети... Тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику.

— Пойдет, — говорил Степан. — А, дед?

Дед Любим отвечал не сразу, с толком — дело это знал.

— Зад маленько заносит... Вишь? Не годится. — Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры.

— Сойдет, ничего. Мы все не годимся, а на свете живем. Нам много надо. Берем! — решал Степан.

— Бери. Чего же тада спрашивать? — обижался дед.

Степан в то утро был в добром настроении. Улыбался.

— Не обижайся, Любим. Я знаю, ты разбираисся. Только — как же ты не поймешь-то? — нам много надо. Всех надо, сколь тут есть. А смотрины эти... я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж...

Окружали следующего коняку. И опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки, и шуметь, и спорить.

— Води! Бегом!.. — орали. — Как?! Дед!..

— Ну, эдак-то моя тешша бегала, даже резвей! Ноги-то навыверт. Эх, ноги-то, ноги-то — навыверт!

— У кого навыверт? У тешши? Рази у ей навыверт были? Ты что, Любим?

— Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей навыверт-то были, чего я?.. А у моей, царство ей небесное, ровные были ножки...

К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку.

— Воевода плывет, Тимофеич. К нам, похоже.

— К нам?

— Вон! Суда рулит... А куда больше-то?

— Найди Мишку Ярославова, — быстро велел Степан. — Стой-ка! — Он всмотрелся в большой струг, махавший от Астрахани. — Нет, воевода. Чего у их там стряслось? А?

— Шут их знает.

— Не от царя ли чего?.. Ну-ка, Мишку.

Мишка скоро оказался тут.

— Написал тайше? — спросил Степан.

— Написал.

— Все там указал?

— Все, как же. Как велел, так и написал.

Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел татарина. Судя по всему, старшего.

— На, — сказал Степан, передавая ему лист. — Отдашь тайше. В руки! Будет так: завидишь, перехватить могут, — сожги, а не то — съешь. Никому больше, кроме тайши!

— Понял. — Татарин прекрасно владел русским языком. — Отдам в руки тайше. А попадусь — съем. Я ел, ничего.

— Бежи скоро! Старайся лучше не попадаться. За коней мы исправно заплатим, никого не обидим, скажи там.

— Понял, батька-атаман.

— От тайши мне ответ привезешь. Здесь не захватишь — мы уйдем скоро, — бежи на Дон. — Степан вынул кошелек, отдал татарину. — Приедешь, ишо дам. Пошли гостя стренем, братцы: воеводу.

Атаман с есаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы.

— Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струг. — Львов, сам Прозоровский, ишо кто-то... Зачем, а?

— Не грамота ли какая пришла? — высказал тревожную мысль Мишка Ярославов. — Неужто в Москве хватились?

— Мы б знали, — сказал Федор. — Иван Красулин прислал бы сказать. Нет, так чего-то... Может, ишо порядиться — мало взяли. Если б чего такое, Иван бы прислал сказать.

— Ты передал ему? — спросил Степан. — Деньги-то.

— А как же.

— Он чего?

— Кто, Иван?

— Ну.

— Радый. Будет слать нарочного все время. Говорит: из тех годовальщиков, которых ждут, у его есть тоже надежные.

— Добре. Чего же тада воевода пожаловал, овечий хвост? Зови ко мне. — Степан свернул к своему стругу, недоумевая и тревожась. Неужели царь хватился? Хватился да новую грамоту двинул... Но тогда почему один храбрец воевода пожаловал? Нет, не похоже, что от царя чего приехало. Ему и донести-то небось не успели еще. Нет, что-то другое. Что? — Князька отвезли воеводе? — спросил на ходу есаулов.

— Вчерась.

— Зачем же он пожаловал? Не возьму в толк.

Воевода пожаловал по той причине, что крепко, ему казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли: облапошил их атаман, как детей малых.

— Здоров, атаман! — бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана. Опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится — так уходить!

— Здорово, бояре! Сидайте, — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей: Прозоровского (старшего), Львова, подъячего Алексеева.

— Экая шуба у тебя, братец! — воскликнул вдруг Прозоровский, уставившись на дорожную соболью шубу, лежащую в углу шатра. — Богатая шуба. В Персии вроде и холодов-то больших нету — откуда ж такая добрая шуба? Небось ишо на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашенская шуба-то...

— С чем пожаловали, бояре? — спросил жестковато Степан. — Не хотите ли сиухи? А то я велю...

— Нет. — Прозоровский посерьезнел. — Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит...

— Чего ж вам надо ишо? — перебил атаман. Он понял: ничего от царя нет — сами воеводы ткнут ему петельку потуже.

— Ясырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары... — те, какие боем у персов взяли, — это ваше, Бог с ими, а которые на Волге-то взяли?.. Те надо отдать, они грабленные. Надо отдать, атаман. Там же ведь и цареву добро...

— Все отдать! — воскликнул Степан. — Меня не надо в придачу?

— А ишо: перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней, — непреклонно и с силой договорил Прозоровский.

Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра — как если бы ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойней было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.

— Пушки — я сказал: пришлем. Ясырь у нас — на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших братьев, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили — не собрать. Списывать нас — что это за чудеса? Ни на Яике, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю. — Степан присел на лежак. — Не велось такого, с чего вы удумали?

— Не велось, теперь поведется.

— Пошли со мной! — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. — Чего мы одни гадаем: поведется, не поведется...

— Куда? Ты что? Эй!..

— Спросим у казаков: дадут они себя списывать?

— Брось дурить! — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. — Слышь!..

— Не дело, атаман, — встрял и князь Львов. — К чему это?

Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе:

— Зови всех суда! Всех!

— Ошалел, змей полосатый, — негромко сказал Прозоровский. — Не робейте — запужать хочет. Пошли, счас надо построже...

Воевода и подьячий тоже вышли из шатра.

Степан стоял у борта струга; на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям: этого волка по заливку не погладишь — оскалился, того гляди, хватит клыками.

— Для чего всех-то зовешь? — все больше нервничал Прозоровский. — Чего ты затеял-то?

— Спросим... — тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. — А то молотим тут...

— Мы тебя спрашиваем, а не их!

— Чего меня спрашивать? Вы меня знаете... Писать-то их хотите? Их и спрашивайте.

— А ты вели. Ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают...

— Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им — на походе, войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно.

Меж тем казаки с торгов хлынули все на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли.

— Братцы! — крикнул Степан. — Тут бояры пришли — списывать нас! Говорят, обычай такой повелся: донских и яицких казаков всех поголовно списывать! Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить: слыхали вы такое?!

Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным вздохом:

— Нет!

— Говори сам, — велел Степан Прозоровскому. — Ну?..

Прозоровский, не без чувства отчаяния и решимости, выступил вперед:

— Казаки! Не шумите! Надо это для того...

— Нет!! — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле, никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки — перепись.

— Да вы не орите! Надо это... Ти-ха!!

— Нет!!!

Прозоровский повернулся и ушел в шатер, злой.

— Скоморошничаете, атаман! — строго сказал он вошедшему следом Степану. — Ни к чему тебе с нами раздор чинить, не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет!

— Не пужай, боярин, я и так от страха трясусь весь, — сказал Степан. — Слышал: брата мово, Ивана, боярин Долгорукий удавил. Вот я как спомню про это да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего. — Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу.

— К чему эт ты? — спросил Прозоровский. — При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умней его — не лезь на рожон, а то и тебе несдобровать.

— Не пужай, ишо раз говорю.

— Я не пужаю! Ты сам посуди: пошлете вы станицу к царю, а царь спросит: «А как теперь? Опять они за старое?» Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили... Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?

— В милостивой царской грамоте не указано, чтоб пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас да казаков списывать и теснить.

— Грамота-то когда писана! Год назад писана.

— А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому... Но я слышал — тот же, дай ему Бог здоровья.

На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их; и впрямь, такого еще не знали на Дону — перепись: сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу: сперва перепись, потом, глядишь, седло накинута и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев: прямо как к стене припирали средь бела дня — и мерзко, и деваться некуда.

— Уйми ты их! — попросил князь Львов. — Чего расшумелись-то?

— Они, не ровен час, за сабли бы не взялись, — сказал Степан. — Могут. Тада и мне не остановить. Останови-ка!..

— Ну что, телиться-то будем? — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. — Как уговоримся-то?

— Кому время пришло — с богом, — миролюбиво сказал Степан. — Мне рано телиться: я ишо не мычал.

— Ну дак замычишь! — Прозоровский поднялся. — Слово клятвенное даю: замычишь. Раз добром не хочешь...

Степан впился в него глазами... Долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал:

— Буду помнить, боярин... клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнят. Один раз вот так и я клялся — теперь будем помнить: ты и я.

Разговор принимал нехороший оборот... И очень уж шумели казаки: на нервы действовали. Самая пора — уйти от греха.

Воеводы пошли из шатра... Прозоровский шел последним, замешкался у выхода — что-то как будто вспомнил... Остановился.

— Не люблю уходить с тяжелым сердцем... Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то?

Степан молчал. Смотрел на воеводу. А тому опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым.

— Ах, добрая шуба! — сказал он. — Пропьешь ведь! А?

Степан молчал.

— А жалко... Жалко такую шубу пропивать, добрая шуба. Сколько б ты за ее хотел?

Степан молчал.

— Хорошо дам... Все равно же она тебе за так досталась. А?

Степан молчал.

— Зря окрысился-то на меня, — сказал Прозоровский и нахмурился. — Про дела-то твои в Москву я писать буду. А я могу всяко повернуть. Так-то, атаман... Должен понимать.

Степан молчал.

— Ну, шуба!.. — опять молвил воевода, подходя и трогая шубу. — Ласковая шуба... Только — один черт — загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь?

— Бери себе, — сказал Степан.

Кое-то как дождался князь этих слов! Его даже стала слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его — недогадливость, скорей всего.

— Ну — куда с добром! Только я счас не понесу ее, а вечером пришлю. Ага, так-то лучше — чтоб не глазели. А то пойдут глазеть! Греха потом не оберешь...

— Я сам пришлю.

— Ну и вот, и хорошо. И хорошо, Степан... — Воевода даже растрогался, у него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят — вооруженные, с припасом, богатые. И никакой острастки на дорогу он им не задал, а забота его — вся-то — страх перед царем, а страх снимался милостивой царской грамотой. Откровенно говоря, хоть он и пугал вчера своих помощников возможными выходками казаков, сам в них не верил: казаки устали, добра у них невпроворот — пить им теперь, заливаться. А мысль эта: что Стенька — не просто разбойная

душа, что это умный, сильный, матерый волк, — мысль эта влетела вчера и вылетела вчера же, вечером, когда разбирали дома дорогие Стенькины подарки. «На кой ляд, — думал воевода, — ему теперь разбойничать, когда это-то добро не пропить за пять лет». — Только, Степан... — Прозоровский прижал руку к груди. — Христом-богом прошу тебя: не вели казакам в город шляться. Они всех людишек у меня засмущают. Ведь они вот счас всосутся пить, войдут в охотку, а ушли вы — они на бобах. А похмельный человек, сам знаешь, ни работник, ни служака. Да ишо злые будут, как псы, сладу с имя не будет.

— Не заботься, боярин. Иди спокойно.

Прозоровский ушел.

Степан, оставшись один, стал ходить по шатру. Думал. Он когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал: «Мгм, мгм».

— Будет тебе шуба, боярин, — сказал он. И остановился. — Будет тебе шуба... свинья ненасытная.

* * *

Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков, слегка хмельные, направлялись к Кремлю; впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклянул воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом:

У ворот трава росла,

У ворот шелковая!

Триста человек дружно гаркнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Пока шел «голубь», гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел:

Кто ту травушку топтал.

Кто топтал шелковую?

И снова разом крикнули триста:

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Худой человек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал:

Воеводушка топтал,

Свет Иван Семенович!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная, развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицы. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой.

Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче... Пели и все громко, самозабвенно.

Он искал перепелов,

Молодых утятешек!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Посадские потянулись за казаками: кто, ожидая большого скандала, кто — выпивки.

А нашел он нашу шубу!

Шубу нашу, шубыньку!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше:

Перепелку на тарелку,

Шубыньку на рученьку!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Лица казаков торжественны, серьезны. И Разин тоже вполне старателен и серьезен.

Шуба величаво плывет над толпой.

Шубыньку на рученьку,

Душечку, на правую!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Несколько казаков отстали, поясняют посадским:

— Шуба батьки Степан Тимофеича замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему... В ногах валялся — выпрашивал. Ну, батька отдает. Он добрый...

— Не горюйте: в надежных руках будет, — понимали посадские.

— Да мы не горюем! Но проводить надо хорошо — по-доброму, чтоб им жить-поживать с воеводой в согласии, чтоб согрела она воеводу, как воевода замерзнет.

Полежи-ка, шубынька,

У дружка у милого!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

У сердца ретивого,

У Ивана Семеныча!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Толпа идет не шибко; шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она «шевелила руками».

Ты лежишь, как душечка,

Все лежишь, как кунычка!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Друг ты моя, шубынька,

Радость моя, шубынька!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Ты меня состарила,

Без ума оставила!

Тут особенно громко, «с выражением» рявкнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!..

Без ума, без разума,

Без великой памяти!

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

Посадские дивились: так складно, дружно получалось у казаков — и все про шубу, про шубыньку, да про ихнего воеводу, Ивана Семеныча. Не слышали раньше такой песни. Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков: ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали «голубя», спевались. Слова им дал скоморох Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный.

— Ие-э-эх!.. — заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею. — Все разом:

То-то, голубь, голубь, голубь!

То-то, сизый голубок!

* * *

В покоях воеводы сидели: сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети, старший, Борис, шестнадцати лет, и младший, тоже Борис, восьми лет, брат воеводы Михайло Семеныч. Слушали с большим неудовольствием.

Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал:

— Один впереди идет — запевала, а их, чай, с полтыщи — сзади орут «голубя».

— Тьфу! — Иван Семеныч заходил раздраженно по горнице. — Вот страмцы-то! Ну не гады ли подколодные!..

— Ты уж позарился на шубу! — с укором сказала Прасковья Федоровна. — На кой бы уж она?..

— Думал я, что они такой свистопляс учинят?! Ворье проклятое. Ну не гады ли!..

— Это кто же у их такой голосистый — запеваает-то? — спросил Михайло Семеныч.

Ярыга знал и это:

— Скоморох. Днями сверху откуда-то пришли. Трое: татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе...

— Ты приметь его, — велел Михайло. — Уйдут казаки, он у меня спляшет.

— Я так смекаю: они с имя уйдут, — ответствовал вездесущий ярыга. — Приголубили их казаки... С имя ушлепают.

— Стало быть, теперь возьмем, — сказал Михайло Семеныч. — Укажи его, когда суда явятся.

— Укажу. Я его харю приметил.

— Сам ихний там же? — спросил воевода, скривившись как от боли зубной. — Стенька-то?

— Стенька? Там. Со всеми вместе орет, старается.

— Стыд головушке! — вздохнула Прасковья Федоровна. — Людишки зубоскалить пойдут. Прямо уж окошел ты без этой шубы! Глаз не кажи теперь...

— Иди-ка отсудова, мать! — воскликнул воевода сердито. — Не твое это бабье дело. Иди к митрополиту, детей туда же возьми. Идите.

Прасковья Федоровна ушла и увела детей.

— Ах, поганец! — сокрушался воевода. — Что учинил, разбойник!.. Голову с плеч долой снял. Ну, я с тобой поговорю, кобель. Ты гляди, чего выдумал!.. И подумать нельзя было.

В горницу заглянула усатая голова:

— Казаки!

Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо, изготовились встретить гостей сурово.

Казаки молча шли по двору Кремля. Увидав воеводу, остановились. Стырь и дед Любим, в окружении шести казаков с саблями наголо, вынесли на руках дорогую шубу.

— Атаман наш Степан Тимофеич жалует тебе, боярин, шубу со своо плеча. — Положили шубу на перила крыльца. — На.

— Вон!!! — закричал воевода и затопал ногами. — Прочь!.. Воры, разбойники! Где первый ваш вор и разбойник?! Он с вами?! Чего он прячется, еслив такой смельчак? Чего же он такой?!

— Какой? — спросил Стырь. — Ты про кого, батюшка?

— Кого вы атаманом зовете?!

— Степан Тимофеича... Кого же нам больше атаманом звать? Степан Тимофеича.

Степан наблюдал за всем из толпы, шурил злые, мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.

— Он больше не атаман вам! — кричал воевода. — Поганец он, вор!.. Он сложил свою власть! Бунчук его — вот он! — Воевода показал всем бунчук Разина. — Какой он вам атаман?! Идите по домам, не гневите больше великого государя, коли он вас миловал. Не слушайте больше Стеньки! Он — дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!..

Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз, в землю. Слегка кивал головой.

— Замычал? — сказал он негромко себе. — Подожди, белугой закричишь, сукин сын.

— Пошли отсуда, — тронул его Иван Черноярец. — Он тут несет чего ни попадя... А эти слушают. Пошли.

— Подожди, дай наслушаюсь досыта. Может, когда спомнить доведется. Ты запоминай тоже. Ишь, как поет!..

— Царь-государь милостив, но и у его сердце лопнет, не дожидайтесь этого! — говорил громко воевода. — Хуже будет! Не гневите царя-батюшку и Бога всевышнего, не слушайте больше атамана: пропадете с им! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает?! Чего затевает?!.

— Пошли, — сказал Степан. — Уводи их, а то правда...

Казачи вышли из Кремля. Шубу оставили воеводе.

За воротами, в толпе, к скомороху Семке присоседился ярыга. Заговорил с ухмылкой, с восхищением:

— Эт ты на голове-то пляшешь?

— Я. Я ишо на пузе могу, — похвастался Семка.

— Пошли со мной?.. Дворовым людишкам охота глянуть.

Семка колебнулся, подумал...

— Денег дадут, — заторопил ярыга. — Чего? Ну?..

— Нас трое... — Семке не хотелось и от казаков отстать и охота было показать свое искусство, где просят.

— Зови и их. Где они?

Семка крикнул старика с бандурой и татарчонка, маленького, проворного, смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским. Больше — по городам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.

— Пошли! — торопил ярыга. — Накормят, денюжку дадут...

Скоморохи с ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.

— А я один разок видал вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос: «Тоже хочем!» — Ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семке. — Я говорю: «Денюжку дадите? Они за денюжку пляшут». Они все в один голос: «Дадим!»

— Девки есть? — спросил Семка.

— Девки? — удивился ярыга; он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса. — А для че тебе?

— Девки смеяться любят.

— Есть, есть! Полно. Счас посмеемся!..

За казаками на посаде увязались посадские, стрельцы, бойкие бабенки... Казаки ласково щупали астраханок, те визжали, били казаков по рукам, смеялись: ждали гульбы и подарков. Казаки сулили и то, и другое... И третье сулили.

И как пришли к стружкам, тут и всё: торговлишка открылась, виночерпии тут как тут, праздник опять готов раскинуться, море человеческое закачалось, заходило волнами...

Степан смотрел со стороны на знакомую картину... Пожевал ус: картина явно не пришлась ему по душе. Велел есаулам сесть на коней и ускакал с ними сухопутьем к Болде, в лагерь.

А казаки подсаживали бабенок на струги. На струги же закатывали бочонки с вином, вносили караваи хлеба, солонину в туесах, вязанки копченой, вяленой рыбы... Кого не грызут завтрашние заботы, тот сегодня живет через край. А тут еще такая редкая, дорогая радость — бабы. Тут уж — кривись, атаман, не кривись — не твое дело. Да и не заметили, что он кривится-то, — не туда смотрели.

9

Степан заторопил события.

Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил есаулов. Собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться.

— Сколько коней закупили, Иван? — к Черноярцу. Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Есаулы знали эту его привычку.

— Сто двадцать. А сбруи на полста.

— Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу.

— Они посулились сами...

— Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выест. Пошли пять стружков. И пускай не скупятся. Федор, в Царицын кто поехал? Послал?

— Минька Запорожец, — откликнулся Федор Сукнин.

— Велел передки закупить?

— Велел.

— На Дон ушли? — опять к Черноярцу.

— Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин...

— Послать к Ваське, к Алешке. Давно ведь велел! Чего ждете?

— В Москву-то будем посылать? — спросил Иван Черноярца.

— Пошлем, — сказал Степан. — Из Царицына. Вот ишо: у воронежцев закупим леса, сплавим плотами... Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери полста, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. Скажи воронежцам: долю ихнюю — за свинец и за порох — везем. Свяжите с десять плотов — и вниз. Там, наспроть устья Кагальника, между Ведерниковской и Кагальницкой, островок есть — Прорва. Там стоять будем. Поделайте засеки, землянки — сколь успеете. Если кто из казаков уйдет домой хоть на день, хоть на два, — тебе, Иван... всем вам головы не сносить. Мы не зимовые казаки, а войско. Сам буду отпускать на побывку — за поруккой. Иван... — Степан в упор посмотрел на Черноярца. — Где Фрол?

Иван увел глаза в сторону.

— А я откуда знаю! Что я, бегаю за им?

— Где Фрол? — повторил вопрос Степан. — Куда вы его спрятали? Чего в глаза-то не смотришь?

Иван уперся:

— Не знаю, где он. Никто его не прятал...

Некоторое время все молчали.

— Не трону я его, — негромко сказал Степан. — Пускай вылазит. — И повысил голос: — Дело делать или по кустам хорониться? Нашли время!..

— Батька, хлопец до тебя, — сказал подошедший казак.

— Какой хлопец?

— Трое шутовых давеч было... шубу-то когда провожали...

— Ну?

— Один, малой, прибег счас из Астрахани; заманули их ярыги воеводины — мстятся за шубу. А этот вывернулся как-то...

— Позови.

Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза. Рассказал:

— Семку и дедушку... бичишшем... Мы думали: спляшем им, денег дадут... Семка соблазнил — девок шибко любит. Сколько уж раз, дурака, били!.. Спаси их, батюшка-атаман! А то их совсем заколотют там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного...

— Не реви, — сказал Степан. — Позови Фрола, Иван. Скажи, хуже будет, еслив счас не вылезет. Не плачь, сынок, поможем. Давай Фрола!

Иван отошел к кустам дальним, громко позвал:

— Фрол!

Фрол откликнулся, не вылез пока. Они стали переговариваться с Иваном. Иван, как видно, принялся его уговаривать вылезти. Фрол колебался...

— Били? — спросил Степан татарчонка.

— Бичом. Дедушке бороду жгли... Семку огнем тоже мучают. Батюшка-атаман, пособи им... родненький...

— За шубу? Так и говорят — за шубу?

— За шубу, Семке посулились язык срезать...

— А ты как же убег?

— Они мне раза два по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучают... Батюшка, ради Христа истинного...

— Вы откуда? — Видно, как изо всех сил крепился Степан, чтобы самому не закричать тут от жалости и злобы.

— Теперь — из Казани. А были — везде. В Москве были...

Фрол вылез наконец из кустов... Подошли. Фрол остановился в нескольких шагах от Степана — на всякий случай.

— Загостился ты там, — сказал Степан. — Поглянулось?

— Прямо рай! — в тон ему ответил Фрол. — Ишо бы гостевал, но заела проклятая мошкара — житья от ее нету, от...

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Теперь так: бери с двадцать казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте. — Степан подтолкнул татарчонка к Фролу.

— Как? Боем прямо? — удивился Фрол.

— Как хошь. Хошь прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были!.. Слышал?!

— Батька, дай я с имя поеду, — попросился Иван Черноярец. — Я больше там знаю...

— Ты здесь нужен. С богом, Фрол. Спробуй не привези скоморохов — опять в кусты побежишь. — Степан отвернулся.

Фрол пошел отбирать казаков с собой.

— Федор, поедешь к воронежцам не ране, чем придем в Царицын. — Степан помолчал: все ли сказал, что хотел, не забыл ли чего... Но видно было — другое уже целиком овладело им. — Сучий ублюдок!.. — вырвалось вдруг у него. Он вскочил. — Людей мучить?! Скорей!.. Фрол! Где он?..

Отряд Фрола был уже на конях.

— Фрол!.. Руби их там, в гробину их! — кричал атаман. — Кроши подряд!.. — Его начало трясти. — Лизоблюды, твари поганые! Невинных-то людей?!

С ним бывало: жгучее чувство ненависти враз одолевало, на глазах закипали слезы; он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил.

— Отворяй им жилы, Фрол, цеди кровь поганую!.. Сметай с земли! Это что за люди?! — Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой, сник. Стоявшие рядом с ним молчали. — Кто породил такую гадость? Собаки!.. Руби, Фрол!.. Не давай жить... — негромко, с хрипом проговорил еще атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить.

— Он уехал, батька, — сказал Иван Черноярец. — Счас там будет, не рви сердце.

Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь.

Оставшиеся долго и тягостно молчали.

— А ведь это болеть у его, — вздохнул пожилой казак. — Вишь, всего выворачивает. Маленько

ишо — и припадок шибанет. Моего кума — так же вот: как начнет подкидывать...

— Он после Ивана так, после брата, — сказал Стырь. — Раньше с им не было. А после Ивана ослабнул: шибко горевал. Болесть не болесть, а сердце надорванное...

— Никакая не болесть, — заспорили со стариками. — С горя так не бывает... Горе проходит.

— С чего же он так?

— Жалосливый.

— Ну, с жалости тоже не хворают. И мне жалко, да я же не реву.

— Да ты-то!.. С жалости-то как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого... У другого — болит. У меня вон Микишка-то, сын-то, — вспомнил Стырь, — когда помер? — годов с двадцать. А я его все во сне вижу. Проснусь — аж в груди застынет от горя, как, скажи, вчерась его схоронил. Вот те и проходит — не проходит. А он брата-то вон как тоже любил... Да на глазах задавили — какое тут сердце надо иметь — камень? Он и надорвал его.

— А ты-то был в тем походе? Видал?

— Видал. — Стырь помолчал... и еще раз сказал: — Видал. Не приведи Господи и видать такое: самых отборных, головку самую...

— А вы чего глядели?

— А чего ты сделаешь? Окружили со всех сторон — чего сделаешь? Рыпнись — перебили бы всех, и с концами.

— Дед, скажи, — заговорил про свою догадку один казак средних лет, — ты батьку лучше знаешь: ничего он не затевает... такого?..

— Какого? — вскинулся Стырь.

— Ну... на бояр, может, двинуть?.. К чему он, правда, силу-то копит? На кой она ему так-то?

— Это ты сам его спроси, он про такие дела со мной не советуется. Никуда он не собирается двигать... С чего ты взял?

— А силу-то копит...

— Сила завсегда нужна. Кому она мешала, сила?

— Ну, не такую же... Слыхал, по домам — за порукой только? Это уж — войско прямо.

Ларька Тимофеев, бывший тут, сощурил в усмешке девичьи глаза.

— Ну, а доведись на бояр стрепенуться?.. — спросил он. — Как вы тада?

Вопрос несколько ошеломил казаков. Так прямо еще не спрашивали.

— На бояр?.. Дак это ж — и на царя?

— Ну — на царя... — Синие глаза жестокого есаула так и светились насмешливым, опасным

блеском. — Чем он хуже других?

— Да он-то не хуже... — трезво заговорил Стырь. — Нам бы не оплошать: у нас сила, а у его — втрое силы.

— Наша сила ишо не вся тут, — гнул свое Ларька. — Она вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугало темные тыщи — голод там... Вот сила-то! А куда ее? Зря, что ль, ей пропадать? Оружьешко с нами...

— Нет, Лазарь, не дело говоришь. — Стырь решительно покачал головой. — Не дело, парень. Если уж силу девать некуда, вон — Азов на то... Чего же мы на своих-то попрем?

Глаза Ларькины утратили озорство и веселье... Он помолчал и сказал непонятно:

— Своих нашел... Братов нашел. Вон они, свои-то, чего вытворяют: невинных людей огнем жгут, свои.

Все промолчали на это.

Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника, у воды.

Степан лежал в траве лицом вниз. Долго лежал так. Сел... Рядом — Иван и Федор. Он не слышал, как они подошли.

Степан выглядел измученным, усталым.

— Принеси вина, Федор, — попросил негромко.

Федор ушел.

— Как перевернуло-то тебя!.. — сказал Иван, присаживаясь рядом. — Чего уж так? Так — сердце лопнет когда-нибудь, и все.

— Руки-ноги отвалились, как жернов поднял... — тихо сказал Степан. — Аж внутри трясется все.

— Я и говорю: надорвешься когда-нибудь. Чего уж так?

— Не знаю, как тебе... Людей, каких на Руси мучают, — как, скажи, у меня на глазах мучают, — с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан. — Не могу! Прямо как железку каленую вот суда суют. — Показал под сердце. — Да кто мучает-то!.. Тварь, об которую саблю жалко поганить. Невинных людей!.. Ну за что они их? И нашли кого — калек слабых...

— Ладно, скрепись. Счас Фрол привезет их. Лоб расшибет, привезет: ему теперь любой ценой вино надо загладить.

Федор принес вина в большой чаше. Степан приложился, долго с жадностью пил, проливая на колени. Оторвался, вздохнул... Подал чашу Ивану:

— На.

Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора...

— Пей, я там маленько прихватил, — сказал тот.

— Сегодня в большой загул не пускайте, — сказал Степан. — Ишо не знаем, чего там Фрол наделает. Надо собираться да уходить: больше ждать нечего. — Он опустил голову, помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом. — Нечего больше ждать, ребята.

* * *

Фрол ворвался в нижний ярус угловой, Крымской, башни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, старик еще шевелился и слабо постанывал. Наружную охрану — двух стрельцов — казаки втокнули с собой в башню и велели им не трепыхаться.

— Живые аль нет? — спросил Фрол, склонившись над стариком.

— Живые-то живые, — шепотом сказал старик. — Никудышные только... Изувечили.

Фрол склонился еще ближе, взгляделся в несчастного старика.

— Как они вас!.. Мама родимая!

— Семке язык вовсе срезали...

— Да что ты! — удивился Фрол. Подошел к Семке, разжал его окровавленный рот. — Правда. Ну, натешились они тут!..

В дверь с улицы заглянул казак:

— Увидали! Бегут суда от приказов. Живей!..

— Берите обоих. Шевелитесь! — Фрол быстро подошел к стрельцам: — Вы что же это? А? Гады вы ползучие, над живыми-то людьми так изгаляться...

— А чего? Мы не били. Мы глядели только... Да подержали, когда язык...

Фрол ахнул стрельца по морде. Тот отлетел в угол, ударился головой и сник.

— Чтоб не глядел, курва такая!..

Второй стрелец кинулся было к выходу, но его оттуда легко отбросил дюжий Кондрат.

Казаки, трое, выбежали из башни, вскочили на коней. Всего их здесь было пятеро; остальные ждали за стеной Кремля, снаружи.

Скоморохи были уже на седлах у казаков. При белом свете на них вовсе страшно было глядеть: истерзали их чудовищно, свирепо. Даже у видавших виды казаков сердца сжались болью.

От приказных построек, под уклон к башне, бежали люди. Передние легко узнались: стрельцы с ружьями. И бежало их много, с пятнадцать.

Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, потом на Фрола... Обеспокоился, но к коню не торопился.

— Фрол, успею... Дай?

Фрол мгновение колебался... Кивнул согласно:

— Мигом! По разу окрести, хватит.

Кондрат бегом вернулся в башню; тотчас оттуда раздались истошные крики и два-три мягких, вязнущих удара саблей. Крики оборвались почти одновременно.

Тем временем стрельцы были совсем близко. Некоторые остановились, прикладываясь к ружьям.

— Кондрат! — громко позвал Фрол.

Казачи вынули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата все не было.

Раздались два выстрела. Потом третий...

Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в карман какие-то мелкие штуки.

— Что ты там? — зашипел Фрол. — Сдох, что ли?!

— Пошурудил в карманах у их... — Кондрат никак не мог попасть ногой в стремя: татарская кобылка, не приученная к выстрелам, испугалась. Дико косила глазом и прыдала вбок.

— Тр!.. Той!.. — гудел Кондрат, прыгая на одной ноге. — Чего ты, дурочка, испугалась-то?..

Еще трое бегущих приостановились, припали на колено... Казачи закрутились на месте, дергая поводья. Кони всхрапывали, сучили ногами, норовили дать вдыбки.

— Прыгай! — заорал Фрол. — Твою мать-то!..

Кондрат упал брюхом в седло... Подстегнули коней... Еще три выстрела прогремели почти одновременно. Под одним из казаков конь скакнул вбок и стал падать. Казак бросил его и прыгнул на ходу к Фролу, который для того несколько придержал свою лошадь.

Вылетели через Никольские ворота... И весь отряд Фрола на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля наискосок к Волге. Остался в воздухе только слабый следок пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег коней.

Стрельцов было человек восемь. В числе первых подбежал к башне Иван Красулин, голова стрелецкий. Сунулся в башню...

Некоторое время его не было. Потом он вышел. Подавленно молчал. С силой потер ладошкой лоб.

Подбежали другие... По виду Красулина догадались, что тут случилось.

— Казаки?

— Должно... Кто же больше?

— Они, больше некому. Раз скоморохов взяли, то они. Не татарва же... Казачье дело.

— Вот чего, — заговорил Красулин, — скоморохов взяли — это не скроешь теперь, а вот стражных срубили — то надо замести как-нибудь. Надо чего-то выдумать.

— Срубили?! — узнавали вновь подбегающие.

— Вон лежат... За скоморохов можно перетерпеть, а за этих — не приведи Господи: всем будет. Если кто из вас донесет тайком, и тому несдобровать: я всех тут знаю.

— Совсем срубили-то? — Двое вошли в башню... И тотчас вышли. — Да... Напополам развалили.

— Чего делать-то? — вслух думал Иван. — Самих ведь срубят... Ишо и умысел потайной присобачут: нарочно, мол, попустили. И так воевода окрысился давеч: «С ворами гуляете!»

— В воду, чего!.. Чего тут больше выдумашь? Ушли — и все тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит?

— Знамо, им теперь — где-нигде... все то же. Тут не грех и об себе подумать. Да ить как скоро управились!

— Как? Все-то как думаете? — спросил Красулин.

— В воду — и подальше, — согласились все.

* * *

С астраханской стороны Болды послышался конский топот, голоса. Свистнули.

На этой стороне от костров отделилось несколько фигур; пошли к воде. Было уже совсем темно.

— Ты, Фрол?! — спросил отсюда голос Ивана Черноярца.

— Мы! — откликнулся Фрол. — Переплавляйте!

Два стружка отвалили от берега.

На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь одних. Фыркание коней, плеск воды, голоса людей звучно отдавались ночной рекой. Ночи стояли тихие.

Стружки ткнулись в берег... Фрол прыгнул в передний.

— Ну как? — спросил его Черноярца. — Привез?

— Везем... Старик кончился дорогой. А парню язык срезали. Живой пока, но... худой тоже.

— Ох?.. Успели. — Иван сокрушенно прицокнул.

— Куда старика-то? — спросили есаулов с берега.

— Заноси! — велел Иван. — Завтра схороним. Вот твари дак твари!.. И за што ухайдакали? Ни за што.

Занесли на струг тело старика и полуживого Семку, поплыли.

— Уходить надо, — сказал Фрол. — Мы там двух стрельцов срубили... Всполохнуться могут.

— Каких стрельцов? Приставу?

— Ну.

— Про старика-то да про язык — не надо, промолчите, — посоветовал Иван. — А то его опять корежило давеча. Пусть хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло?

— Так... вышло: не стерпели. Кондрат вон раскрыл. Как не сказать, говоришь? Про старика-то?..

— Не надо.

— А спросит?

— Привезли, мол... Шибко, мол, избитые — пусть отдыхаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу.

— Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться? Пока у их терпенье лопнет? Дождемся...

— С конями он затеялся... Посулились татары ишо пригнать.

— Да мы их на Царицыне приторгуем, у едисанов! А нет, на Дон пригонют.

— Вот будешь счас с им говорить, скажи так. Надо, конечно, уходить.

10

Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за заволжской степи... И земля, и вода, все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду; плескались задумчиво волны. Но уже — там и тут — в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле...

Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в полторы сотни лошадей. Там был Иван Черноярец.

Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны — не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни: много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь — собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо — не будет пустых слов. От пустых слов — своих и чужих — атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и без толку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил, и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить — надо: ждут. А ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате, у персов, договорились между собой распотрошить город: сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку... Торговлишка шла, казаки посматривали на атамана... Подходящий момент давно наступил — персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется... Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул.

Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство; от умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Мончака, и калмыки помогут донцам тряхнуть Малый Ногай; ждали, что он, удачливый, прорвется с ватагой в Азовское

море, и они добудут «зипуны» у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь: мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути — разведать о настроении татар перед походом. Там, у татар, томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар — это уж потом — Степану удалось вскинуть Алену с дитем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали — он видел, понимал — ждут. Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин... Даже спокойный Иван Черноярца и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов... Он даже не знал — как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо было: было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-нибудь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки... И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время — особенно как возвращались из Персии, с моря, — неотступно гвоздила его одна мысль: не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали: чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу... Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету... Но он стоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман... Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место; Степан, как услышал их, удивился: почему он сам-то не додумался до этого! Ведь это просто, и это — верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный — во веки веков. Чтоб даже одна мысль — как-нибудь потеснить казаков, — чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его — то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать... В Астрахани в этот раз почудилось, что — пора, надо немедля открываться... Душа ходуном ходила, разум мутился... Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай: есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой, опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со Стырем выдумал, вникал в души близких... Понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него, сила — на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет — с Дона выдачи нет, — готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это — тем скорей прильнет к ним эта мысль — о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился — как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомневались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут, надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся! Дай время, дай Господи ума и терпения — все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не малолеток же, не слабоумный какой... Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится! Вспомнил

Степан Алену, жену, ухмыльнулся... То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда стать взялась, хозяйский взгляд обрела, нотку в голосе обрела... Милая баба, родная стала, даже не думалось, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок... Смышленный парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот — и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся: не знал за собой такого. Ну ладно: пусть. И все-то, наверно, так, все стосковались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука — даже когда не держит — чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а — покачивает, покачивает — конский скок в крови гудит... Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету — и не надо, а в голове все: где лучше укрыться, где речку перемахнуть... Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать. Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной — никак. А вот — случилась и жена, и семья... Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне — быть, это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре... не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна мысль об этих владыках жгла как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не прогневи!.. Только и спасение мужику что — в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся. Собаки!..

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон:

— Конные! Догоняют!..

— Эге! К нам?!.

— Война, хлопцы! Воевода очухался...

Степан вскочил...

Краем высокого берега конных разинцев догоняли с полсотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и напрямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники.

Никто не понимал, что это могло значить, кто это.

— К берегу! — велел Степан.

Струги свалили влево, устремились к берегу.

Конники — те, что догоняли, и разинцы — сошлись. Но никакой свалки или стычки там не случилось; вместе, те и другие, двинулись к месту, куда подгребали стружки.

Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался.

— Царь передумал, — гадали казаки. — Милость отнял: видно, из Астрахани, с новой грамотой.

— Не, то воевода горилки послал. За шубу...

— Федька, чего такое? — спросил Степан Сукнина. — Как думаешь? Может, татары?

— Нет, на татар не похожи... Нет.

— Кто же?

— Даже подумать на кого, не знаю, — размышлял Федор. — Думал, едисаны, — нет, русские. А, похоже, стрельцы!

— Стрельцы, верно, — узнали и еще некоторые.

— Они...

Конные на берегу — большинство — спешили, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струг. Спешили тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз, к атаману.

Степан выпрыгнул из струга... Теперь видно было: спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник.

— Чего? — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу.

— Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника. — Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами.

— Зачем? — спросил Степан стрельца.

— Здоров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку.

— Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или как?.. — Степан пожал протянутую руку.

— Прогуляться с вами до Паншина. — Сотник отвечал смело.

Степану поглянулась его смелость и веселость.

— Далеко. Не боитесь? — невольно тоже попал он на веселую ноту. — Или храбрые такие?

Сотник засмеялся:

— Мы смирные...

— Мясники смирные. Я знаю. — Степан нахмурился, пресекая балагурство. — Зачем явились-то?

— Велено нам провожать вас, — серьезно заговорил сотник. — Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных. И... всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван Красулин... — Сотник замолчал, значительно поглядел на Степана... Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана: опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну.

Степан понял.

— Ефим, иди попроведай своих на стружке, — велел он своему сотнику, при котором стрелец опасался говорить.

Ефим пошел к казакам на струг.

— Ну?.. — спросил Степан.

— Велел передать голова наш, что все как и было, а стрельцов этих он сам подобрал — хорошие люди: едем для отвода глаз.

— А ты хороший? — усмехнулся Степан. Ему положительно нравился веселый, словоохотливый стрелец.

— А я над хорошими — хороший. Леонтий едет только до Царицына, я аж до Паншина. Там велено мне пушки взять...

— Ишо чего велено? — насторожился Степан.

— Грамоту везем Андрею Унковскому: чтоб вино для вас в царицынских кружалах в два раза в цене завесить. Тоже и в Черном Яру...

— Дай суда ее, — кратко сказал Степан.

— Кого?

— Грамоту.

— Она у Леонтия...

— Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту грамоту сверху. Вместе с Леонтием. — Степан не на шутку обозлился: воевода аж до Царицына протянул свои руки.

— Не надо. Вы на Царицыне — сами себе хозяева. У Андрея под началом полторы калеки, — резонно говорил стрелецкий сотник. — А разгуливаться вам там ни к чему: смена наша где-нибудь под Самарой. Так велел сказать Иван.

Степан с минуту думал.

— Хороший, говоришь? — спросил он и хлопнул сотника по плечу. — Добре! Чара за мной... В Царицыне, по дорогой цене. Идите. Ефим!..

— Ге, батька! — Сотник Скула прыгнул со струга и шел к атаману.

— Скажешь Ивану: Черный Яр минуем.

— Добре.

— Стрельцов не обижайте... Они хорошие, пусть идут с нами.

— Когда спят? Или — проснутся, тоже хорошие? А то я знал одного москаля: спит — ангел господний, а проснется — черт с рогами. Так мы что сделали: взяли...

— Из виду нас не теряйте, — прервал атаман болтливый казак. — В степь поглядывайте.

— Добре, батька. И так не зеваем.

Сотники полезли вверх.

Флотилия снова начала выгребать на середину реки.

Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завьют для казаков цену на вино; и то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников. Сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо... Но унял себя с этим. Зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение, он даже встал и оглядел своих — на стругах и конных. Хоть впору теперь начинай, нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал — нельзя, рано еще, надо собраться с силой, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно... Но душа-то, душа-то, что с ней делать, с этой душой!.. — мучился Степан. «Ну, змеи ползучие, владыки!.. Навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю».

11

Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились.

— Здорово, гостенька! — крикнул Степан, улыбаясь. — Лапушка!.. Стосковался я без тебя! Давай-ка суда, родной мой!

На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо. Плыли навстречу — их легонько подносило самих.

На стружке были: гребцов двенадцать человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков: с кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился.

Стружок зацепили баграми, придержали.

— Откуда Бог несет? — спросил Степан. — Куда?

— Саратовец, Макар Ильин, — отвечал купец. — В Астрахань... Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость! Товару у нас — кот наплакал, а мне — петля. Отпусти, право!.. — Купец и правда не из дородных и важных: поджарый, русоголовый, в карих умных глазах — не то что испуг — грусть и просьба. — Отпусти, атаман!..

— Ишь ты!.. — сказал Степан. — А чем ты краше других? За что тебя отпустить?

— А так, ни за что. Мы слышали: ты добрый.

— А вы, молодцы, куда путь держите? — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника. — И откуда?

— Я везу в Астрахань государевы грамоты! — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который, он знал, опять объявился на Волге... И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает.

— Дай-ка мне их, — попросил Степан. — Гумажки-то.

— Не могу. — Сотник гордо качнул головой.

— А ты перемоги... Дай! — настойчиво сказал Степан.

— Не могу... Я в ответе перед государем.

— Счас возьмем, батька. — Кондрат спрыгнул в купеческий струг. Подошел к сотнику. — Вынь грамотки.

И вдруг сотник — никто не ждал такого — выхватил пистоль... Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел: сотник выстрелил, пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом:

— Гребни! Петро, стреляй в разбойников!..

Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла... А один, который был позади, вырвал из гнезда уключицу и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле; он схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь... Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а, видно, любил покрасоваться — очень уж глупо погиб, красиво.

Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга.

Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струг. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника.

— В сапоге, — подсказал стрелец. — Гумаги-то.

— Кто с нами пойдет?! — вдруг громко спросил Степан. — Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев!

Это впервые так объявил атаман. Он сам не ждал, что так — в лоб — прямо и скажет. А сказалось, и легче стало — просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него Стырь, как Ларька Тимофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана, а в двух его синих озерках заиграл ясный свет... Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом: кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал... Он все это схватил разом, в короткий миг, точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть.

— Кто с нами?! — повторил Степан. — Мы поднялись дать всем волю!.. — Знал ли он в эту минуту, что теперь ему удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда. — Кто?! — еще раз спросил Степан громко и жестко. — Чего онемели-то?! Языки проглотили?

— Я! — откликнулся гребец, угостивший уключиной сотника: ему тоже пятиться некуда было теперь.

Еще двое крикнули:

— Мы! С Федором вот... двое.

— А не пойдем, чего будет? — спросил один хитроумный.

— Этого я, братец, не знаю, — сказал Степан, — много грешил — ад, мало — рай. Но, поглядеть в твои глаза, тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался?

— Я-то? Да я было в другое место хотел...

Разинцы засмеялись: оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели... Обсуждали новость, какую вывалил атаман: оказывается, они войной идут! На бояр!.. Вот это

новость так новость! Всем новостям новость. Теперь, задним умом, понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему на Дону по домам не распустит...

— А чего ты меня в ад-то запятить хошь? — не унимался дотошный гребец. — Я в рай собрался.

— В ра-ай? — удивился Степан. — Не-ет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе: в ад. Так что — погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал. — У Степана на душе было легко: эта ноша проклятая — постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая, — сброшена.

— Так чего же тада пытаться? Я с вами!

Казачья шайка одобрительно засмеялась.

— А стрельцы как? — спросил Степан. — Куда собрались?

— Оно ведь это... как сказать?.. — замялись стрельцы.

— Так и сказать. Прямо.

— Вроде государю служим...

— Боярам вы служите, не государю! Кровососам! — Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно. — Думайте скорей, мы торопимся. Дорогое вино пить торопимся в Царицыне. Слыхали, казаки: воевода велел в Царицыне цену на вино в два раза поднять! — сообщил всем Разин. — Вот до чего додумались, собаки!.. Ну, стрельцы?.. Долго вас ждать?! А то терпение лопнет, не ведите к тому.

— Когда так — и мы, — сказал один, постарше.

Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги: даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьем, как последние худые бабенки: то прекратить «промыслы» над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то — чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научились отсылать приказные бумаги — и с увещеваниями, и с угрозами — матерно, далеко, а «держали реку Дон» сами, по своему разумению. Но с тех пор много изменилось, бумаги московского Посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе.

— Вот так их!.. — сказал Степан. — Рыбам читать.

На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтоб привлечь к себе внимание.

— Пальните кто-нибудь, — велел Степан. — Все хорошо.

Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились.

Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили в воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от

уключины сразу кончился — никто не поинтересовался.

— Легкая смерть, — сказал один гребец. И перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились.

Степан махнул рукой — дальше, вверх по Волге.

— В грёбь! Заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар Ильин!.. В Царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка ко мне! Погударю с вами... Чего там на Москве слышать?

В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто: никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро «мир закачается». На батюшку Степана Тимофеича смотрели — почти все, вся громада — с любовью: опять ждали. Сам батюшка (так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами) хотел одного теперь: скорей проведать, что делается на Дону — много ли правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое; всю мощь души обратил он, чтоб сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся.

12

В Царицын разинцы пришли первого октября. Дни по-прежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской.

Высадились ниже города; одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу.

— Где Леонтий? — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярца решил маленько поослабить накал атамана, но сам видел, что — бесполезно.

— Вперед уехал... — сказал он. — А ты чего такой?

— Змеи ползучие!.. — Степан смотрел в сторону города. — Зашуршали?.. Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут. Пусть гуляют! Собери есаулов, айда со мной. В кружало — дорогое вино пить. Это ж надо, чего удумали!

— Степан... может, оно и к лучшему: не разгуливаться бы... — заговорил было Черноярца.

— Вот... — Степан опять посмотрел в сторону города — пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку. — Ты у меня разживесся на казачьи данюжки, гад ползучий. Я тебе дорого заплачу!.. Гуляй, Иван!

Казаки опередили своего атамана: когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно.

Шли серединой улицы — «головка» войска: Разин с есаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно.

Направлялись в кружало.

В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана:

— Притесняют, батька!..

— Ровно с козлов шкуру дерут...

— Где это видано? — такую цену ломить! Они чего?..

— Кто велел? — рявкнул Степан. И навел на целовальника страшный — немигающий — взор. Тот сделался, как плат, белый.

— Воевода... Помилуй, батюшка. Я не советовал им, не послушали... Воевода велел. — Целовальник упал на колени перед атаманом и казаками.

— Воевода? — Рябое лицо Разина, окаменелое, изнутри — из глаз — излучало гнев и готовность.

— Воевода. Батюшка, вели мне живому остаться. Рази я от себя?! Я не советовал... Ну-к ведь — воевода! Им велено мне и отчет на Москву писать, в Большой приход: как я брал с вас...

— Сукин он сын, ваш воевода! — закричали опять казаки. — Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в Большой приход, а в карман свой большой...

— Это Унковский-то? — вспомнил пожилой казак-картежник. — Так то ж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель первый...

— А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Хорошая была пистоль, азовская, — припомнил еще один.

— Вышибай бочки! — велел Степан. — Где воевода?! Я его зарежу пойду. Где он теперь?

— На подворье своем, — подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались.

...Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увязались за казаками — смотреть, как будут резать воеводу Унковского. Странное и страшное это было шествие — шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой: так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности, но все не было смельчаков взять его. И вот смельчаки — нашлись, и теперь идут.

На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице.

— Где он?! — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы. — Где Унковский?!

Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы: заперта. Изнутри.

— Тут он, батька! Заперся.

Степан раз-другой попробовал дверь плечом — не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме... Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничная, дубовая, — медными полосами.

— Игнаха, тудыт твою!.. — орали. — Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?!

— Я на тебя, а ты давай на дверь.

— О, курва-то! Да воевода-то не за ребрами же у меня! Чего ты, дурак, ребра-то мои жмешь?

— А кто ты разберет тут в мялке-то: может, ты...

— Вали! Ра-зом!

Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа.

— Открой! — крикнул Степан. — Все одно ты не уйдешь от меня! Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель!.. За коней, за сани, за хомут!..

— За пицаль! — подсказывали сзади.

— Открой!

Унковский в горнице молился «закоптелышам» (темным от свечной копоти иконам). Губы трясухе шевелились; пышная борода вздрагивала на груди, на шитой гарусом полотняной рубахе.

Сверху, с божницы, на него бесстрастно смотрели святые.

— Неси бревно! — скомандовал за дверью Степан.

— Да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, — в который раз зашептал Унковский. — Вот поганцы-то!.. Решат ведь, правда, решат — взбесились. Да будет воля твоя, Господи!..

В дверь снаружи крепко ударили бревном; дверь затрещала, подалась... Еще удар. Унковский бестолково забежал по горнице...

— Добуду я седня высокой воеводиной крови! — кричал Степан. — За налоги твои!..

Еще саданули в дверь тяжело, с хряском.

— За поборы твои! Грабитель... За лихоимство ваше!..

Унковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз, в огород. Упал, вскочил и, прихрамывая, побежал, пригибаясь.

Еще удар в дверь... И группа казаков со Степаном вломились в горницу.

— Где он?! — кинулись искать. Где искали, а где и — между делом — брали что под руку попадет.

Воеводы не было. Не могли понять, куда он девался.

— Утек! — сказал Федор Сукнин. Показал на окно. — Брось ты его, Степан... Вино и так вон — даром пьют, чего теперь с его взять?

— Ну уж не-ет!.. Он у меня живой не уйдет. — Степан, с ним есаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы.

— Пропал воевода, — сказал Федор Сукнин. — Найдет ведь...

— Воевода-то — пес с им, — заметил Иван Черноярец. Они вдвоем остались в горнице. — Нам худо будет: опять ему шлея под хвост попала... с кручи понес. Надо б хоть на Дон прийти, людишками обрасти. Чего уж так взъелся-то?

— Теперь — один ответ, — махнул рукой Федор.

— Не ответа боюсь, а — мало пока нас. Рано он затеял...

— Васька с Алешкой придут...

— Где они, Васька-то с Алешкой? Докричись их!

— Будут люди, Иван! Не скули... Только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться — все будет. А Степан счас уймется. Воевода — дурак, сам свару затеял с вином с этим...

— Не сам: от Прозоровского указ привезли.

— Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели: цену на вино зависить! Они что?.. Это и — раздевать середь бела дня станут, а тут все молчи?

— Хотели, видно, от греха отвести...

— Отвели... Да надо, Иван, и начинать: чего томиться-то?

— Да не время! — раздраженно воскликнул Иван.

— Да пошто не время-то?! — тоже горячо и громко спросил Федор. — Пошто?! Самое время и есть: какое тебе ишо время? Теперь уж — сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет. И хорошо делает.

Степан ворвался с оравой в церковь.

Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест.

— Свят, свят, свят... Вы куда? Вы чего?..

— Где Унковский? — громко зазвучал под сводами церкви голос Степана. — Где ты его прячешь, мерин гривастый?!

— Нету его тут, окститесь, ради Христа!.. Никого тут нету! — Поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался.

Казачья разбежалась по церкви в поисках воеводы.

Степан подступил к попу:

— Где Унковский?

— Не знаю я... Нету здесь. Стал бы я его прятать, на кой ляд он мне нужен! У меня у самого с Унковским раздор...

— Врешь! — Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю. — Говори! Или гриве твоей конец!..

Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом:

— Матерь пресвятая! Богородица!.. Ты глянь вниз: что они тут учинили, охальники! В храме-то!..

Степан удивленно уставился на попа:

— Ты, никак, пьяный, отче?

— Отпусти власья! — Поп дернулся, но Степан крепко держал гриву. — Илья Пророк! — пуще прежнего заблажил поп. — Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую!.. Пошли две! Ну, Стенька!.. — Поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать.

Степан крепче замотал на кулак волосы попа.

— Пусть больше шлет! — Его увлекла эта поповская игра в стрелы: охота стало понять, правда, что ли, он верит в них?

— Илья, — дюжину!!! — густо, со всей силой заорал поп.

— А-а... Ну? Где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь... Только пужать умеете! Все пужают, кому не лень!.. — Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепче того кругнул его «власья».

— Илюха!.. Пусти, Стенька, распро... — Поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подпивший донец. — Пусти, страмец!.. А то прокляну тут же, в храме!..

Казачи бросили искать воеводу, обступили атамана с попом.

Степан отпустил попа.

— Чего ж твой Илюха? Ни одной не пустил...

— Откуда я знаю? Не сразу и бывает все, не торопись... И не гневи Бога зазря, и сам не пужай — никто тебя не боится.

— А чего заблажил-то так?

— Заблажишь... Саблю поднял, чертяка, — я же не пужало бессловесное. А ты бы не заорал?

— Был воевода?

— Нет.

— Куда же он побежал? Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?

— Нет, святой истинный крест, не был. Сказал бы...

Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл, еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. Гляди-ка,

просто-то как: велел один другому, и все, и уж тут рады стараться — до резни доведут, а будут исполнять.

На улице перед Степаном упала на колени старуха.

— Батюшка-атаман, пошто они его под замки взяли? Пошумел в кружале, так и сажачь за то? Как жа молодцу не пошуметь!..

— Кто пошумел?

— Сын мой, Ванька. Пошумел пьяный, и как теперь?.. Всех бы и сажали. — Старуха плакала, но и сердилась, вместе.

— В тюрьму посадили? — спросил Степан; старуха навела его на дельную мысль.

— В тюрьму. Да ишо клепают: государя лаял... Не лаял он! Он у меня смирный — будет он государя лаять!

— Кажи дорогу, — велел Степан, не слушая больше старуху. «Надо дело делать, а не бегать зря, — устыдил он себя. — И не заполошничать самому... с этим воеводой».

Он поостыл и действовать стал разумно и непреклонно: он умел — в минуту нужную — скомкать себя, как бороду в кулаке, так, что даже не верилось, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до сшибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но такому-то ему, как видно, больше и верили: знали, что он — ни в удаче, ни в погибели — не забудется, не ослабнет, не занесется так, что никого не видать... Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так — ни на миг — не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятения душевного... Конечно же она вполне человеческая, эта его сила, просто был он прирожденный вожак, достаточно умный и сильный.

Как ни обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что «надо дело делать». Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтоб те же воеводы натерпелись от него страха и чтоб все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить... Он бы и пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва: на бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их — за их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они, собаки, хозяйничают на Руси... И за то, кстати, что казаки у Четырех Бугров ударились от них в бегство, и за это тоже. Надо оставить их тут в испуге, пусть спят и видят грозного атамана. Теперь — с этого раза — пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон — унять его, пусть попробуют, как это у них получится...

Тем временем подошли к тюрьме.

С дверей посбивали замки. Колодники сыпанули из сырых мерзких клеток своих... Обрадовались несказанно. Их было человек сорок.

— Воля — дело доброе! — громко сказал им Степан. — Но ее же не дают, как алтын побирушке. За ее надо горло боярам рвать! Они не перестанут вас мучить. Вы вот попрыгаете теперь козлами да разойдетесь по домам... Завтра я уйду, вас опять приведут суда на веревочке и запрут. Идите в войско мое!.. Пока изменников и кровопивцев-бояр не выведем, не будет вам вольного житья! Вас душить будут и в тюрьмах держать! Ступайте к казакам моим!..

* * *

— Негоже, Степан Тимофеич. Ай, негоже!.. Был уговор: никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать... А что чинишь? — так говорил утром астраханский жилец Леонтий Плохово. Говорить он старался с укором, но по-доброму, отечески.

Степан Тимофеич, слушая его, смотрел на реку. (Они сидели на корме атаманова струга.) Вроде слушал, а вроде не слушал — не поймешь. Астраханец решил уж высказать все.

— С тюрьмы выпустил, а там гольные воры...

Степан сплюнул в воду, спросил:

— А ты кто?

— Как это? — опешил Леонтий.

— Кто?

— Жилец... Леонтий Плохово. Направлен доглядывать за вами...

— А хошь, станешь — не жилец? — спросил спокойно Степан.

— А кто же? — все не мог уразуметь жилец.

— Покойник! Грамотки возишь?! — Степан встал над Леонтием. — Воеводам наушничаешь! Собачий сын!.. Утоплю!

Леонтий побледнел: понял, что обманулся мирным видом атамана.

— Где Унковского спрятали?! — спросил Степан.

— Не знаю, батька. Не распаяй ты сердце свое, ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу... — Леонтий утратил отеческий тон, заговорил резонно, с умом. — На кой он теперь тебе, Унковский? Иди себе с богом на Дон...

На берегу возникло какое-то оживление. Кто-то, какие-то люди подскакали к лагерю на конях, какая-то станица. Похоже, искали атамана: им показывали на струг, где сидели Степан с Леонтием.

— Кто там? — спросил Степан ближних казаков.

— Ногайцы... К которым посылали с Астрахани.

— Давай их, — велел Степан.

На струг взошли два татарина и несколько казаков.

— Карасе носевал, бачка! — приветствовал татарин, видно старший в ногайской станице.

— Хорошо, хорошо, — сказал Степан. — От мурзы?

— Мурса... Мурса каварила...

Степан покосился на Леонтия, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивленно посмотрел

на атамана. Степан кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке:

— Велел сказать мурза, что он помнит Степана Разина еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает мурза про походы Степана, желает ему здоровья...

— Говори дело! — сказал Степан по-татарски. (Дальше они все время говорили по-татарски.) — Читал он письмо наше?

— Читал.

— Ну?.. Сам писал?

— Нет, велел говорить.

— Ну и говори.

— Пять тысяч верных татар... — Татарин растопырил пятерню. — Пять...

— Вижу, не пяль.

— Найдут атамана, где он скажет. Зимой — нет. Летом.

— Весной. Не летом, весной! Как Волга пройдет.

Татарин подумал.

— Весной?..

— Весной.

— Ага, весной. Я так скажу.

— На Дону бывал? — спросил Степан. — Дорогу найдешь туда?

Татарин закивал головой.

— Были, были...

Степан заговорил негромко:

— Скажи мурзе: по весне подымусь. Куда пойду — не знаю. Зачем пойду — знаю. Он тоже знает. Пусть к весне готовит своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твердым, как... вот эта сабля вот. — Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину. — Пусть помнит меня. Я дружбу тоже помню.

— Карасе, — по-русски сказал татарин.

— Как ехали? — спросил Степан. Тоже по-русски.

— Той сторона. — Татарин показал на левый, луговой берег.

— Переплывали на конях?

— Кони, кони.

— Где?

— Там!.. Вольгым савернул — так...

— Где островов много?

Татарин закивал.

— Ладно. Микишка! — позвал Степан казака. — Передай Черноярцу: татар накормить, напоить... рухляди надавать и отправить.

— Опять ведь нехорошо делаешь, атаман, — забылся и сказал с укором Леонтий. — Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был...

— Ты по-татарски знаешь? — живо спросил Степан.

— Знать-то я не знаю, да не слепой — вижу... Сговаривались же! А то не видать...

— Отчаянный ты, жилец. Зараз все и увидел! Чего ж ты воеводе астраханскому скажешь? Как?

— Так ведь как чего?.. Чего видал, то и сказать надо, на то я и послан. — Астраханец чего-то вдруг осмелел. — Не врать же мне?

— Да много ль ты видал-то?! Пропьянствовал небось с моими же казаками... Вон глаза-то красные. — Степан ловко опять отвел жильца от опасений. — Чего глаза-то красные? Много ты такими глазами увидишь...

Леонтий заерепенился:

— Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов сманил, сотника в воду посадил... Сидельцев с собой подбиваешь. Волгой никому не даешь проходу... С татарвой стговорчинится... Много, атаман, — твердо и недобро закончил Леонтий.

— Много, жилец. Так не пойдет. Поубавить надо. Ну-ка, кто там?! Протяжку жильцу! — кликнул атаман.

К Леонтию бросились четыре казака, повалили и стали связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали веревки — два длинных свободных конца.

— Степан Тимофеич!.. Батька!.. — кричал жилец, барахтаясь под казаками. А потом и барахтаться перестал, то просил, то угрожал: — Ну, батька!..

— Я не батька тебе! Тебе воевода батька!.. Наушник. Кидай! — велел Степан.

Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму на другой борт, протянули жильца под стругом, вытащили.

— Много ль ты видал, жилец? — спросил Степан.

— Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов не видал... Где мне их видеть? — я берегом ехал. Далеко же!..

— Татар видал?

— Их все видали — царицынцы-то. Не я, другие передадут...

— Кидай, — велел Степан.

Леонтия опять бултыхнули в воду. Протянули под стругом... Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался.

— Видал татар? — спросил Степан.

— Каких татар? — удивился жилец. Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись.

— У меня ногойцы были... Не видал, что ль?

— Никаких ногойцев не видал. Ты откуда взял?

— Где ж ты был, сукин сын, что татар не видал? Кидай!

Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта «протяжка», видно, кое-кого покорибила... Фрола Минаева, например, — скосоротился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это. Уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия!

Леонтия в третий раз протянули под стругом. Вытащили.

— Были татары? — спросил Степан.

— Были... видал. — Жилец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана.

— Чего они были? Как скажешь?

— Коней сговаривались пригнать. Батька... хватит, я все сообразил, — взмолился Леонтий. — Смилуйся, ради Христа!.. Чего же я ее... хлебаю и хлебаю?.. Поумнел уж я.

— Добре. Хватит так хватит.

Леонтия развязали.

— Скажи Унковскому: еслив он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пицаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги: я оставлю трех казаков. И пусть только хоть один волос упадет с ихной головы...

— Скажу, батька... Он отдаст. Казаки тоже будут в сохранности... — Леонтий готов был сулить все подряд. — Отдаст...

— Пусть спробует не отдать. Сам после того бежи в Астрахань. Скажешь: ушли казаки. Шли мирно, никого с собой дорогой не подбивали. Скоро не придут. Не скажешь так, быть тебе в Волге. Мы стренемся. Чуешь, жилец?

— Чую, батька: донести туда, знамо, донесут, но не теперь, не я пока... Так?

— Пошел. С богом!

Леонтий, с молитвой в душе господу богу, поскорей убрался от свирепого атамана.

У Степана же все не выходило из головы, как скоротился на «протяжку» Фрол Минаев... Как-то это больно застряло, затревожило.

«Чего косоротиться-то? — думал он, желая все понять до конца, трезво. — Раз война, чего же косоротиться? Или — сама война поперек горла?»

Он пристально оглядел казаков... Его пока не тормозили, не спрашивали ни о чем, — сборами занимался Черноярца, — и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или не война? Или — пошумели, покричали — да по домам? До другого раза, как охота придет?.. Степан все глядел на казаков, все хотел понять: как они в глубине души думают? Спроси вот — зашумят: война! А ведь это не на раз наскочить, это долго, тяжко... Понимают они? Фрол, тот понимает, вот Фрол-то как раз понимает... «Поговорить с Фролом? — шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту мысль. — Нет. Тары-бары разводите тут... Нет! Даже и думать нечего про это, тут Фрол не советчик. А может, я ответа опасуюсь за ихние жизни? — скребся глубже в себя Степан Тимофеич, батька, справедливый человек. — Может, это и страшит-то? Заведу как в темный лес... Соблазнить-то легко... А как полетят потом кровушка, как взвоят да как кинутся жалеть да печалиться, что соблазнились... И все потом на одну голову, на мою... Вот где горе-то! Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как Фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, Стенька, думай... Думай, Разя! Знамо дело, такой порох поджечь — только искру обронить: все пыхнет — война! А с кем война-то, с кем!.. Ведь не персы, свои: тоже головы сшибать умеют. Думай, Разя, думай: тут бежать некуда будет...» Степан даже пошевелился от этих своих растреванных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в темный сырой колодец — холодом пахнуло, даже содрогнулся... Откинулся на локоть и долго смотрел на солнце. «Пил много последние дни, ослаб, — вдруг ясно понял он свою слабость. — Поубавиться надо». И — чтобы не заглядывать больше в этот жуткий колодец — встряхнул себя, сгреб в кулак и больше не давал сползти в тягучие тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как в трясину.

— Иван, все сделано? — спросил Степан Черноярца.

— Все, батька. Надо трогаться...

— Стрельцы где?

— Какие?

— Те... с жильцом которые пришли, полусотня.

— Они там, у балочки. А зачем?

— Коня. И найдите Семку-скомороха. Все, Иван, пятиться некуда: или пополам, или вдребезги. Подымай; трогайтесь, я догоню вас.

Иван понял только одно: что хоть уж не сейчас же Москву-то воевать. Матернул в душе на атамана: завьется как ошпаренный!.. Иди догадайся, чего опять?

Через пять минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка-скоморох (Резаный, прозвали его казаки). Он тоже ничего не понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой.

Подскакав к лагерю, Степан остановил коня.

— Стрельцы! — громко, напористо, короткими фразами заговорил он. — Мы уходим. На Дон. Вам велено назад. Что ж, пойдете? — Степан спрыгнул на землю. — К воеводе опять пойдете?! Опять служить псам?! Они будут душить невинных, казнить всяко, кровь человеческую пить... а вы им служить?! — Степан больше и больше распалялся. — Семка, расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людьми невинными делают!..

Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот, и издал гортанный звук, и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости.

— Слыхали?! Вот они, воеводы!.. Им, в гробину их мать, не служить надо, а руки-ноги рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем?! Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом — к солнышку ближе. Вони много будет, разок перенесем, ничего... Заживем на Руси вольно! Идите со мной. Мститься будем за братьев наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю: какие-то свиньи помыкают нами. Рубить!!! — Степан почувствовал близость нежеланного, опаляющего сердце страшного гнева, сам осадил себя. Помолчал и сказал негромко: — Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне! Кто не пойдет — догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет нам воля!.. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то и смерть принять легко — Бог с ей! А так жить больше не дам. Сами захотите — не дам! Вот... Все. Ставлю над вами вашего же сотника — пойдём на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой... Там, слышно, много всяких обиженных набралось — мы их всех приветим. Заживем, ребяташки, вольно! — Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно. — Рази ж неохота вам пожить так? Когда вы так жили?

13

Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные, горячие версты... Родная пыль щекочет ноздри. Скоро — родина. Впрочем, у большинства тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь — самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские — отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где лучше — нож в руки да в лес — подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь — беглые. Но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон задают донцы (отцы которых тоже вятские да самарские), поются донские песни и ждётся и вспоминается вслух, с любовью — ДОН ИВАНОВИЧ... Придет время, и для беглых, живы будут, домом станет тоже Дон Иванович... А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу, родимых изб и... другое — кому что. И щемит душа: самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других — в детях.

Однако все рады поскорей закончить тяжелый, опасный поход на край света. Кончился он — и слава богу! — надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться вволю. А там уж — как судьба да как атаман скажет.

На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги; пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки — на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько — знатные — качались с тюками добра на верблюдах: их берегли, чтобы потом повыгодней обменять на казаков, томившихся в плену у шаха.

Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска. Верхами. Степан

опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул.

Сзади наехал Иван Черноярец. Отозвал Степана несколько в сторону...

— Стрельцы ушли, — сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал; он вообще не одобрил эту затею со стрельцами — не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть — тут или там, — это как-то еще не дошло до Ивана, он думал, что это пока еще слова, горячка атамана.

— Как ушли? — переспросил Степан, больше — от растерянности. Он понял, «как ушли» — сбежали. Не поверили, не захотели идти с ним — так и уходят.

— Ушли... Не все, с двадцать. С сотником. Я посылал Мишку Докучаева — не угнался. Верст с пять, говорит, гнал, не мог настигнуть, ушли. Поздно хватились.

— Сотник увел. — Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге. — Змей ласковый. Нехорошо, Ваня: рано от нас уходить стали — другим пример поганый. Чего это они? Я же ведь предупреждал...

— Сотник смутил, ты ж говоришь. Он мне сразу не поглянулся, этот сотник: все на улыбочке, на шуточке...

— Ага, сотник. Позови-ка мне Фрولا. Сам здесь будешь. Стерегись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи.

— Догнать хошь? — удивился Иван. — Ты что?! Где их теперь догнать!

— Надо. Змей вертучий! — еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь. — Мы им перережем путь-дорожку: берегом кинулись, не иначе. Надо догнать, Ваня. А то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им!.. Скличь мне полусотню доброхотов негромко.

Полусотня охотников подобралась скоро; выбрались из длинного походного ряда, Степан коротко сказал, в чем дело... И устремились степью в сторону Волги.

Долго скакали молча, в мах... Поглядывали вперед.

Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали... Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо.

— Вон! — показал Фрол.

Фрол, внимательный, умный, в последние дни понял: Степан — всерьез, обдуманно — повел войну. Никакая это не дурь, не заполошь его. Слухи с Дона и особенно с Руси — что там мужиков вконец замордовали тяглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к помещикам и «в безвыходные крепости», что бояре обирают их и «выхода» им теперь совсем нету — подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда понесут «батюшке» со всех сторон горе да жалобы, «батюшка», сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи, проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону, слышно, житья нет... «Скоро они соберутся под высокую руку батюшки, — ехидно думал Фрол, — да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих —

всем жрать надо, хошь не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь — и нет остановки на этом смертном пути, да и не такой человек Степан, чтобы одуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди... Да и не одумается он ни в жизнь, ему того только и надо — орать на бою да верховодить» — так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно: замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется.

— Вон! — показал Фрол.

Степан кивнул: он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней.

Далекие всадники обнаружили погоню... Там произошло замешательство... Как видно, посоветались накоротке.

— Вплавь кинутся! — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли: иначе Фролу несдобровать будет.

Степан несогласно качнул головой.

— Там коней не свести. Маленько подальше — можно, туда побегут. Во-он!.. — Степан показал рукой. — Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с пятнадцать с той стороны, отрежь.

И правда, далекие всадники, после короткого сбоя, устремились вперед, к распадку: там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь.

Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони... Летели ошметья пены. Трое казаков отстали: кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились.

Ближе и ближе стрельцы... Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже спрыгнуть с коней — те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился — далеко не убегут теперь.

Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, выдавал то нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился... Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибалось к губам, Степан встряхивал головой и коротко, хищно — так выглядело — скалился и неотступно смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный... И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки — не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей: в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно также — как-то это само собой понятно — глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса, они будут так же смотреть и так же и примут смерть — прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его, остановившихся, останавливается одно только желание: достать, догнать, успеть.

Вот уж двадцать, пятнадцать саженой отделяют разинцев от стрельцов... Те оглядываются. Лица искажены томлением и мукой.

Все ближе и ближе казаки... Смерть хрипит и екает за спинами стрельцов. Смерть зловещей

старухой радостно бежит рядом, взглядывает черными дырами глаз в живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва.

Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу, к круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли...

Стрельцы сбились с маха... Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости.

— Брось саблю! — велел Степан сотнику.

Молодой красивый сотник подумал... и спрятал саблю в ножны.

— Смилуйся, батька, — сказал тихо. — Грех попутал.

— Слазь с коней.

— Смилуйся, батька! Верой служить будем...

— Верой вам теперь не смочь: дорогу на побег знаете. Я говорил вам... Слазьте.

Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак.

Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут... на дела человеческие.

— Говорил вам!! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость.

— Собаки!.. Доносить побежали!

Стрельцов окружили кольцом... И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, вздетые в мольбе, никли, как плети, перерубленные...

Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва.

— Говорил вам, — горько, с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз. — Нет, побежали!

Казак вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились вниз по распадку к воде. Напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона.

Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь.

Солнце клонилось к западу; тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато дальше и вода, и далекий низкий берег — все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта — здесь и там порождала раздумья. Ясно ли думалось или грустно — кому как. Кто как смотрел. Кто смотрел дальше, на светлое, кто — поближе, в тень... Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы — одинаково. Так уж не одинаково устроены... Могут же одни, в близости смертного часа, окаменеть и ждать, другие — кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть.

Подошел Фрол Минаев, присел. Тоже долго смотрел на воду... Отходили казаки от смерти стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что — вот... земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо... Ну, а что случилось-то? Но — случилось, случилось, чего не могли понять: за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге... Зачем же это надо было?

— Зачем Леонтия-то отпустил? — спросил Фрол первое, что пришло в голову. И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе.

— Отпустил, — нехотя сказал Степан, отрываясь от дум. — А чего?

— Зря. — Фрол жалел, что заговорил: не знал, что говорить больше.

— Пошто?

— Раззвонит там... В Астрахани-то.

— Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, Фрол: один зазвонит или... Да уж и то — пора. Теперь: помоги, Господи, подняться, а ляжем сами. Как думаешь? — Степан спокойно и пристально посмотрел на Фрола сбоку.

— Я-то? — Фрол смотрел на реку.

— Ты. Не вилай только, а то знаю я тебя, вертучего.

— Если по правде... — Фрол помолчал, подыскивая слова.

— По правде, Фрол, по правде. Говори, не бойся: на правду не обижусь — это же не бабу делить.

— Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж: скажет тебе кто так, нет, а от меня... услышь, может, сгодится подумать...

— Ну?

— Никто такое не учинял. Ты раскинь головой.

— Мы первые будем.

— А зачем тебе? Зачем, скажи на милость?

— Гадов повывесть на Руси, все ихные гумаги подрать, приказы погромить — люди отдохнут. Что, рази плохое дело?

Фрол молчал.

— Подумать только, — продолжал Степан, — сидят псы на Москве, а кусают — аж вон где! Нигде спасу нет! Теперь на Дон руки протянули — отдавай беглецов...

— На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?

— Да мне мать его в душу — кто он! Если у его, змея ползучего, только на уме, как захомутать людей да сесть им на загривок, какой он мне к дьяволу царь?! Знать я его не хочу, такого доброго. И бояр его вонючих... тоже не хочу! Нет силы терпеть! Кровососы... Ты гляди, какой

они верх на Руси забирают! Какую силу взяли!.. Стон же стоит кругом, грабют хуже нашего. Одними судами да волокитой вконец изведут людей. Да поборами. Хуже татар стали! А то ты не знаешь...

— А чего у тебя за всех душа болит?

Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик:

— Татары! Тю!.. Век не видались, в господа Бога мать!

И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду.

— За бугор! — крикнул Фрол, вскакивая.

Казачи послушно кинулись было к ближнему бугру.

— На коней! — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других. — Экая дура, Фрол! Век там сидеть, за бугром-то? Скорей!.. Выследили, собаки. Так и знал...

Стрелы сыпались густо. Три-четыре угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их.

— Закрывайся чем попало! — кричал Степан. — Потниками, кичимами!.. Крутись ужами!

Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы.

— Эдисаны, твари поганые.

— Шевелись! — торопил Степан. — А то им подмога прискачет. Коней тоже прикрывайте!..

Стрелы, долетавшие до казаков, убойную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские гостинцы. Вскрапывали и шарахались кони... Наконец все были в седлах.

— В россыпь!.. В мах! — коротко, спокойно скомандовал Степан. — Пошли!..

Казачи понеслись по отлогому распадку вверх.

— К кустам жмись! — кричал атаман. Он летел несколько впереди, отпустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабля.

Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казачи сгоряча увлеклись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку: утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду... Наверняка где-нибудь сидел, поджидая, сильный отряд татар.

На Степана чего-то нашел веселый стих.

— Фрол, ты, никак, захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор... Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел?

Фролу неловко было за свой суматошный выкрик; что-то нервничать он стал последнее время, правда. Он молчал.

— Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните, — велел атаман. — Да потрусим помаленьку к нашим, а то, чего доброго... — Он не досказал, но было и так ясно: эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами.

Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели второпях взять.

— Чего ты меня пытал, Фрол? — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву.

Фрол нахмурился, как бы вспоминая... Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может и теперь уже, тот спросит: «А ты как? Со мной?» И будет тогда Фролу вовсе нехорошо.

— Когда это? — спросил Фрол.

— Даве у воды. Татары как раз помешали.

Фрол не вспомнил.

— Забыл с этими татарами... Из башки вылетело.

14

Подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам:

— «Вы пропустили воровских казаков мимо города Астрахани и поставили их в Болдинском устье, выше города; вы их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани; и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам...»

— Ты глянь! — изумился старший Прозоровский. — Легко-то как! Взять да призвать!.. Да привести — только и делов!

— Мда-а!..

— Ну, дальше как?

— «И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указа великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею».

— Ай да грамотка! — опять воскликнул Прозоровский. — Ты в Москву писал, отче?

Все поглядели на митрополита.

Митрополит обиделся.

— Я про учуг доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел...

— Кто же про купца-то да про бусы-то расписал? Не сорока же ему на хвосте принесла.

Теперь посмотрели на подьячего.

— Кто ни писал, теперь знают, — сказал подьячий Алексеев. — Надо думать, какой ответ править. На меня не клепайте, я не лиходей себе, на свою голову кары искать. Нашлись...

— Теперь — думай не думай — сокол на волюшке. А что мы поделатъ могли? — волновался Прозоровский.

— Так и писать надо, — подсказал подьячий. — Полон тот без окупу и дары взять у казаков силою никак было не можно, не смели — боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие.

— Ах ты горе мое, горюшко! — застонал воевода. — Чуюло мое сердце: не уймется он, злодей, не уймется. Его, дьявола, по глазам видать было. Ну-ка, покличьте суда немца Видероса... Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея — пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с им и — с богом. Хотя перед государем малое оправдание будет. Пусть немец скажет: получена, мол, гумага от царя — царь все знает теперь, велит тебе, Стенька, поганец, уняться с разбоем.

— Стрельцов-то порубили, а!.. — тихо, с жалостью воскликнул старый митрополит. — Что же он себе думает, злодей?

— С ногайцами сговаривается...

— Большой разбой затевает, — сказал Алексеев. — Надо все, все государю отписать, все без утайки... Пушки не отдал, казаков не распускает, всех с собой подбивает, воронежцам за припас отдал и снова их в долю берет, за новый... Куда наметился с такой силой?

* * *

Видерос и с ним восемь стрельцов, все о двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан с ходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. Высокий князь (царь) может разгневаться — будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого?

Степан уставился на немца, долго молчал... Он не понимал, почему — немец?

— Все? — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный.

— Если ты последовать сфой некороши самисли, то будет потребофать фосфрацать фсе подданный царя, а ф слючай сопротифлений, нет болше царская милость и нет пощада. Надо пить оччень разумный шеловэк...

Разговор случился в присутствии есаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой.

Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах (узких, в пять-шесть бревен, плотях), конные переплывали, стоя на лошадях.

Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие и, чем дальше, тем больше

распалялся. Разозлила опять бумага, и в придачу к ней — тупой казенный немец.

— Как ты явился ко мне, образина? — спросил он.

— На конь, — ответил немец. — Калеп!

— Ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!.. — Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками. — Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок, такой мне позор советовать: чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают?! Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил больше... — Степан вложил саблю в ножны.

Капитан молчал.

— Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать! Ступай, гнида... милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи: дул я вилюжками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему: я с ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает. И накажу его за дерзость. Скажи всем князьям: я князь от роду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай помнут. А забудут, я приду — напомнить. — Степан резко отвернулся и пошел прочь. — Ларька, проводи немца в степь, — сказал на ходу Ларьке Тимофееву.

Капитану подвели коня... Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес; капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись.

— Смех смехом, — сказал раздумчиво Фрол Минаев, когда немец ускакал, — а царю-то уж донесли. Про все. Так что... посмеемся, да задумаемся.

Иван Черноярец внимательно посмотрел на него:

— Ты к чему?

— Ни к чему! Сразу — «к чему». Так — думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, несдобровать будет в Москве, когда поедут: они царю одно, а тот уж все знает.

— Экие тебя думы нехорошие одолели, — засмеялся Иван. — Пойдем-ка выпьем. Мы теперь — дома.

— Дома, так теперь и думать не надо?

— Думать — это надо голову крепкую, а моя едва винишко дюжит, и то кружится... Пошли! Не обмирай раньше время, что будет, то и будь.

— Иди пей. — Фрол стегнул плетью подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекасти-поля. — Тоже, вишь, думать не хочет: катается туда-сюда. Но этой голове хоть не больно... — Фрол еще разок стегнул ветвястый шар и пнул его — катиться дальше. — А наши, Ваня, так закружятся, что и... отлетят вовсе. Не ерепенься шибко-то, тут наскоком не много возьмешь... да храбростью. Тут и подумать не грех.

— Ну-ка, ну-ка, — всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку, подальше от других. — Чего это ты такое носишь? Скажи мне...

Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку.

— Ну? — спросил Иван.

— Не дело он затевает, — сразу сказал Фрол. — Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужель ты-то не понимаешь?

— Не понимаешь... — повторил задумчиво Иван. — Можеть, и понимаешь, да... А чего ты советуешь?

— Давайте сберемся вместе — прижмем его к стенке: пускай выложит, чего задумал...

— Да он и так выкладывает, чего прижимать-то?

— Он не все говорит! Как он думает царя одолеть, какой силой? Говорил он тебе? Вон с этими, — Фрол кивнул на ту сторону Дона, — которые рот разинули — ждут не дождутся, как пожрать да попить даром? Они? Они побегут сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежда-то?

Иван молчал.

— «Гадов повывесть» — это легко сказать. С кем ты их повыведешь?

— Ну, и чего ты надумал? — спросил Иван.

— Ничего! Чего я-то надумаю? Давай спросим его: чего он надумал? Чего он разошелся — обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул... Все на Москву и метились после того? Кто это?

— Васька Ус вон... ходил же к Москве.

— Васька, как пришел туда, так и ушел, не ушел, а — на крыльях летел... Васька. Грозить он шел, Васька-то? Он хлеба просить шел...

— Ну, это уж там как вышло бы, — нехотя возразил Иван. — Так уж вышло. А повернись дело другим боком, не просить бы стал, а так взял. Я, Фрол, одно не пойму: ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?

Фрол помолчал несколько... И сказал с обидой, сердито:

— Да идите вы, Господи!.. Идите, куда душа велит, кто вас держит-то. Но уж... смотреть на вас да большие глаза делать от дива великого — какие вы смелые, — это уж вы тоже... силком не заставляйте, пошли вы к такой-то матери.

— А чего ты осердился-то? — просто сказал Иван. — Мне правда понять охота: по робости ты или...

— По робости, по робости.

— Ну-у... зря осердился-то.

— Да чего тут сердиться? — Фрол резко крутнулся на месте — к Ивану. — На баранов рази обижаются, когда они дуром прут? Их бичами стараются направить...

— Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди, — оцетинился Иван. — Бич, он тоже об двух концах...

— Да мне жалко вас! — чуть не закричал Фрол. — Усеете головами своими степь вон за Волгой, и все. Чего больше-то?

— Ну, и усеем! Хоть за дело...

— Какое дело? Не перевариваю дураков!.. Долбит одно: за дело, за дело... За какое за дело-то? За какое?

— Боярство унять...

— Тьфу!.. — Фрол встал, постоял — хотел, видно, что-то еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном — ушел, широко отмеряя шаги.

Иван еще посидел маленько... Поогляделся на переправу... И встал тоже и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости.

* * *

— А вот скажи, Семка, — говорил Степан с Семкой-скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков, — ты же много бывал по монастырям разным...

Семка покивал головой — много.

— Был я в Соловцах, — продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением вслушиваясь в себя; в голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась, а через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди, под сердцем, живой родничок — и звенит, и щекочет: не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то дорогое, родное... Дом, что ли, рядом, оттого вешует сердце. — И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей Матери с дитем, — рассказывал Степан. — Перед этой иконой все на коленки опускаются, и я опустился... Гляжу на ее, а она — смеется. Правда! Не совсем смеется, а улыбается, в глазу такая усмешка. Вроде горько ей, а вот перемогла себя и думает: «Ничего». Такая непонятная икона! Больше всех мне поглянулась. Я до-олго стоял возле... смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю: «Ничего!» Как это так? Рази так можно? Не по-божьи как-то...

Семка подумал и пожал плечами неопределенно.

Степан поглядел на него... Но он и не надеялся на ответ — он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе, — все над тем же местом...

— Нет, Семка, — сказал он вдруг иным тоном, доверчиво, — не ее страшусь, гундосую, не смерть... Страшусь укора вашего: ну-ка, да всем придется сложить головы?.. А? — Степан опять посмотрел на калеку, в его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся. Помолчал и сказал тихо: — Не знаю... Не знаю, Семка, не знаю. И посоветоваться не с кем. Уж и посоветовался бы, — не с кем, вот беда. Потянут кто куда... Нет, лучше уж не соваться: разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Семка!.. Не робей. Даст Бог, не пропадем.

* * *

Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками «проводжали в степь» капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следуют неспроста, не мог только догадаться: что задумали казаки?

Отъехали далеко...

Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали.

— Вы не так пришли к атаману, — сказал Ларька. — Слыхали, он вам сказал: «Я родом выше всех высоких князей». Слыхали? — Глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху.

— Слыхали. — Стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах есаула недоброе: веселость-то веселость, но какая-то... с прищуром.

— Так кто же так подступается, как вы? — Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней.

— А как надо? — спросили стрельцы.

— На карачках. Надо, не доходя двадцать сажень, пасть на карачки и ползть. Давайте-ка спробуем. Научимся, вернемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заявились!.. Стыд головушке. Давайте-ка пообзыкнем сперва, потом уж... Ну!

Стрельцы с капитаном отошли на двадцать сажень, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал.

— Ихь... — показал на себя пальцем, — исполняет посоль. Никогда, ни ф какой страна посоль... Посоль — это пошотный шеловэк...

— Мишка, посоли ему плетью одно место, чтоб он знал, какой бывает посол, — сказал Ларька; веселость играла в его синих глазах.

— Я хочет объяснять правил, какой есть каждый страна! — воскликнул капитан. — Правил заключается...

— Объясни ему, Мишка.

— Можеть, ему лучше вытяжку сделать? — спросил здоровенный Мишка. — А? — И пошел к капитану.

Стрельцы в ужасе поглядели на капитана: вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это — смерть. Или, если не хотят смерти, — обидное, горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука.

Ларька подумал.

— Детишки есть? — спросил немца.

Тот не понял.

— Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы...

— Смотри, — показал Мишка, — вот так: а-а-а... — Показал, как нянчат. — У тебя есть дома?

— Нет, — понял немец. — У меня есть... нефест.

Казачи, а за ними и стрельцы засмеялись.

— Ладно, — сказал Ларька. — Невесту жалко: ждет его, дурака, а он явится... с погребушкой в кармане. В куклы с им тада играть? Вложь плети, он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?

Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой.

Подползли...

— Ну? — спросил Ларька. — Как надо сказать?

Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать.

— Ишо разок, — велел Ларька.

— Подскажи ты нам, ради Христа, — взмолились стрельцы. — А то же мы так полный день будем ползать!

— Надо сказать: прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка. Ничего, уже выходит!.. Говорить ишо научимся ладом...

Стрельцы и капитан завелись снова «на подступ». И так три раза они подступались к «атаману» и просили простить. Наконец Ларька сказал:

— Ну вот: теперь хорошо. Теперь научились. Теперь, как ишо доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать. Ехайте.

— Фарфар! — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня. — О, фарфар!..

— Чего ты там? — услышал Ларька.

— Я с конь беседовать...

...В тот же день Ларька, Мишка и с ним еще пять казаков поехали в Москву «с топором и плахой» — челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов, так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уж в этом ворохе будет и казачий поклон, так рассудил атаман.

15

По известному казачьему обычаю, Разин заложил на Дону, на острове, земляной городок — Кагальник. Островок тот был в три версты длиной, неширокий.

И стало на Дону два атамана: в Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике — Степан Тимофеич, батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь — в великой неловкости своей — больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег... Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску, в том всегда живет способность

к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения... Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один: развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему... И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут его гадания кончились: он решил. Он успокоился и знал, что делать: надо эту силу отладить и наострить. И потом двинуть.

Зажил разинский городок. Копали землянки (неглубокие, в три-четыре бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду), рубили засеки по краям острова, стены (в край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу, изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами, и изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной), в стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя; сажень в пятнадцати — двадцати друг от друга, вдоль засеки возводились раскаты (возвышения), и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц: ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеянным песком.

Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой поручкой. Да и не рвались особенно... Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались — здесь веселей и привольней.

К острову то и дело причаливали большие лодки — верхних по Дону, воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей: шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега — просили переправить. Эти — при оружии: донцы и сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так: охотников было много, нашелся и вожак.

* * *

Землянка Разина повыше других, пошире...

Внутри стены увешаны персидскими коврами, на полу тоже ковры. По стенам — оружие: сабли, пистолы, ножи. Большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь. Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками.

У хозяина гости. У хозяина пир.

Степан — в красном углу. По бокам все те же — Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкаска. Она очень любила Степана.

На столе жареное мясо, горячие лепешки, печенные на углях, солонина, рыба... Много вина.

Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке.

— Братва! Казаки!.. — надрывался Иван Черноярец. — Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!..

Поутихли малость: чего у него там с душой такое?..

— За самый любезный!.. — Иван дал себе волю — выпрягся скорей других. Его понимали: на походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали. — С такими-то боями я б на край света дошел... — Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этим «боем» и собирался ту неожиданность брякнуть. Она его самого веселила.

— Какой же это, Иван? — спросил Степан.

— А какой мы без кровушки-то отыграли... В Астрахани! Как нас Бог пронес, ума не приложу. Ни одного казака не потеряли... Это надо суметь. За тот самый бой!.. — Иван с пьяной угрозой оглядел всех, приглашая с собой выпить. — Ну?!.

— Был бы калган на плечах, — заметил Стырь. — Чего не пройтись?

— Батька, поклон тебе в ножки!.. — вконец растрогался Иван. — Спаси Бог! Пьем!

— За бой так за бой, — сказал Степан просто. — Не всегда будет так — без кровушки. Кресная, иди пригуби с нами!

— Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь...

— Наедемся, руки ишо целые, чего нас кормить? Иди, мне охота с тобой выпить.

Матрена, сухая, подвижная старуха, вытерла о передник руки, протиснулась к Степану.

— Давай, кресничек! — Приняла чарку. — С благополучным вас прибытием, казаки! Слава господу! А кто не вернулся — царство небесное, земля пухом лежать. Дай Бог, чтоб и всегда так было — с добром да удачей.

Выпили. Помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней.

— Как там, в Черкасском, Матрена Ивановна? — поинтересовался Федор Сукнин. — Ждут нас аль нет? Чего Корней, кум твой, подумывает?

— Корней, он чего?.. Он притих. Его не враз поймешь: посапливает да на ус мотает.

— Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь. Али от нас таисся?

Повернулись к Матрене, ждали... Стало вовсе тихо. Конечно, охота знать, как думают и как говорят в Черкасском войсковой атаман и старшина. Может, старуха чего и знает...

— Не таюсь, чего мне от вас таиться. Корней вам теперь не друг и не товарищ: вы царя нагневили, а он с им ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яик... За все. А то вы Корнея не знаете! Он за это время не изменился.

Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду: с Корнеем их еще столкнет злая судьба, и, наверное, скоро.

— Ну, а как нам худо будет, неуж на нас попрет? — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками.

— Попрет, — ясно сказала прямая старуха.

— Попрет, — согласились казаки. — Корней-то? Попрет, тут даже гадать нечего.

— А старшина как?

— Чего старшина?

— Как промеж себя говорят?

— И старшина ждет. Ждут, какой конец будет.

— Конца не будет, кресная, — сказал Степан. — Нету пока.

— А вы поменьше про это, — посоветовала старуха. — Нету — и нету, а говорить не надо. Не загадывайте.

— Шила в мешке не утаишь, старая, — снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый. — А то не узнают! — Стырь даже и на побывку домой не шел от войска — откладывал.

— Тебе-то не токмо шила не утаить... Сиди уж. Ты со своим носом впереди шила везде просунешься...

— Старуха моя живая? Ни с кем там не снюхалась без меня?

— Живая, ждет не дождется. Степан... — Матрена строго глянула на крестника. — Это кака же така там девка-то у тебя была?

Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопросы.

— Какая девка?

— У тебя девка была...

— Будет тебе, кресная! С девкой какой-то привязалась...

— Шахова девка, чего глаза-то прячешь? — не унималась Матрена. — Ну, приедет Алена... Ты послал ли за ей?

— Послал, послал. — Степан не рад был, что и подал старухе.

— Кого послал?

— Ваньку Болдыря. Ты... про девку-то — не надо, — вовсе строго посоветовал Степан.

— А то не скажут ей? Лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь.

— Ну, скажут — скажут. Как они там? Фролка?..

— Бог милует. Фролка с сотней к калмыкам бегали, скотины пригнали. Афонька большенький становится... Спрашивает все: «Скоро тятка приедет?»

— Глянь-ка!.. Неродной, а душонкой прильнул, — подивился Федор. — Тоже тоскует.

— Какой он там был-то!.. Когда мы, Тимофеич, на татар-то бегали, Алену-то отбили? — заговорил дед Любим.

— Год Афоньке было, — неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами и как отбил он красивую Алену... В том бою он только про Алену и думал — совестно вспоминать. Афоньку же, пасынка, очень полюбил — за нежное, доверчивое сердце.

— Ах, славно мы тада сбегали!.. — пустился в воспоминания дед Любим. — Мы, помню, забылись маленько, распалились — полосуем их почем зря, только калганы летят... А их за речкой, в леске, — видимо-невидимо. А эти-то нас туда заманивают. Половина наших уж перемахнули речку — она мелкая, а половина ишо здесь. И тут Иван Тимофеич, покойничек, царство небесное, как рявкнет: «Назад!» Мы опомнились... А из лесочка-то их туча сыпанула. А я смотрю: Стеньки-то нету со мной. Все рядом был — мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич, дурной ты какой-то тот раз был, — все видел тебя, а тут как сквозь землю провалился. Может, за речкой? Смотрю — и там нету. Ну, думаю, будет мне от Ивана. «Иван! — кричу. — Где Стенька-то?!» Тот аж с лица сменился... Глядим, наш Стенька летит во весь мах — в одной руке баба, в другой дите. А за ним... не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет. Тут заварилась каша...

Степан налил себе чару.

— Хватит молоть, дед. Наливайте.

— Там к старухе моей никто не подсыпался? — опять спросил подпивший Стырь у Матрены. — Чего молчишь-то?

За столом засмеялись; гулянка стала опять набирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда, из тесноты.

— А то ведь я чикаться с ей не буду: враз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий...

— У тебя, дедка, все коротко, только нос... это... — повел было свою любимую тему большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею.

— Цыть! — резво осадил его Стырь. — У тебя зато: грудь нараспашку, а язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец.

— Ключу она на тебя наготовила, твоя старуха... Ждет, — сказала Матрена на расспросы Стыря.

— Ей уж шепнули, наверно, как ты с шахинями-то там... А? Греховодник ты, Стырь!.. Никак уняться не может! Откуль только силы берутся!

В землянку вошел казак, протиснулся к атаману.

— Батька, москали-торговцы пришли. Просют вниз пустить.

— Не пускать, — сразу сказал Степан. — Куда плывут, в Черкасской?

— Туда. Говорят...

— Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких — торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Вперед делать так же. Не обижать никого.

Казак вышел.

— Не крутенько ли, батька? — спросил Федор. — Домовитые лай подымут... Без хлеба ведь останутся.

— Нет, — еще раз сказал Степан. — Федор, чего об Алешке и об Ваське слыхать?

— Алешка сдуру в Терки попер, думал, мы туда выйдем, кто-то, говорят, сказал ему так...

— Это знаю. Послал к нему?

— Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовитые его на войну повернули...

— Пошли в розыск. Подходят людишки? — Степан — и спросил это, и не спросил — сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других.

— За четыре дня полтораста человек. Но — голь несусветная. Прокормим ли всех? Может, поумериться до весны...

— Казаки есть сегодня? — Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона, и с Сечи.

— Мало. Больше с Руси. Если так пойдут, то... Прокормить же всех надо. — Так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем и болела душа.

— Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом смотреть. Прокормим, всех прокормим. Делайте, как велю.

— Сделать-то мы сделаем... А чего... до весны-то пока бы...

— Наливай! — сбил Черноярец Федора. — Разговорился...

— Ваня... ты, еслив опьянел...

— Ты меня напои сперва! Опьянел... Нет!

— А не сыграть ли нам песню, сынки?! — воскликнул Стырь.

— Любо! — поддержали со всех сторон. — Теперь — дома.

— Заводи! — смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу. Сивуха прямо на глазах меняла человека: вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им.

— Чего расшумелся-то? — урезонил Степан верного есаула; атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяными, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только спить труднее. — А где ж Фрол Минаев? — вспомнил вдруг Степан. — Где, я его не вижу?.. А? — Он посмотрел на всех... и понял. И уж досказал — так, чтобы досказать, раз начал: — Я же не велел пока в Черкасской ходить... Никому же не велел!

С минуту, наверно, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех, с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова заговорил. И заговорил опять — с запоздалой горечью, не зло.

— Чего ж не сказали? Молчат... Говорите!

И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: ушел Фрол. Совсем ушел. Предал.

— Ну? Похоже, поминки получились? По Фролке...

— Погулять охота было, Тимофеич, — честно сказал Стырь. — При тихой погоде... без грому.

— И погуляем! Чего нам не погулять? Одна тварь уползла — не велика утеря. Он давно это задумал, я чуял. Давай.

Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного есаула. Он с трудом пересиливал эту боль.

— Ну свижусь я с тобой, Фрол, — сказал он негромко, себе. — Свижусь, Фрол. Давайте, братья!.. Давай песню, Стырь. С Фролом всё: он свою песню спел. Пошла душа по рукам... Давай, Стырь, заводи.

Нет, не так давно задумал Фрол Минаев измену, а после того разговора, как порубили стрельцов и сидели на берегу Волги: с этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял Фрол, что Степан теперь не остановится — пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще Фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надобности — чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже замарались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил Фрол уйти. Это было недавно.

* * *

В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка.

С острова, с засеки, окликнули сторожевые.

— Свои, — отозвался мужской голос с лодки. — Ивашка Болдырь. Батьке гостей привез.

— А-а... Давайте, ждет. С прибытием, Алена!

Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в нательной рубашке... Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя: не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро... Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно: такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие — чем-чем, а робостью Фрол не грешил, — ну? А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти... Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь — такие лягут, лягут безропотно многие и многие... А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно: выросла на русской земле некая большая темная сила — это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит — это как-то не они, а нечто более злое, не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо напознала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять

можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость вливалась в слово — «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила.

Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО.

За дверью, на улице, слышались шаги, голоса...

Степан сел, опустил ноги на пол... Уставился на дверь.

Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетний Афонька.

— Ну вот, — сказал Степан со скрытой радостью. — Заждался вас. Что долго-то там?

Алена припала к мужу, обняла за шею... Степан поднялся, тоже поприобнял жену, похлопывал ее по спине и говорил:

— Ну вот... Ну, здорово. Ну?.. Сразу — плакать. Чего?

Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила:

— Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там — нет и нету... Все глазыньки свои проглядела.

— Ну!.. Пропасть — это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алена,

Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели.

— Год нету, другой нету — поживи-ка так... Совсем от дому отбился, — говорила Алена как будто заготовленные слова — так складно, к месту они получались.

— Будет тебе...

— Другие хоть к зиме приходят, а тут... Молилась уж, молила матушку пресвятую богородицу, чтоб целый пришел...

— Афонька, здорово, сынок. Иди ко мне, — позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену.
— Иди скорей.

Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился.

— Вот так! — похвалил Степан. — Так, казаче. — Посадил его на кровать.

Поздоровался с братом за руку.

— Ты, никак, ишо вырос, Фрол?

— Да где? — Рослый, усатый Фрол мало походил на старшего брата — красивее был и статнее.

— А ты сесть начал.

— А жена-то где твоя? — любопытствовал Степан.

— Да там пока...

— Чего? Не поехала, что ль?

— Да... потом. Чего сесть-то начал?

— Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? Афонька?..

Афонька все улыбался.

— Ты что это, разговаривать разучился? А? — Степан тоже улыбался; на душе было хорошо, только скорей бы ушла уж эта первая бестолковая минута.

— Пошто? — спросил Афонька. — Умею.

— Отвык. Скажи, сынок: ишо бы два года шлялся там, так совсем бы забыли, — встряла опять Алена.

— Не-ет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерю скорей забу... — Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та с укоризной покачала головой.

— Э-эх!.. То-то и оно. Сесть-то начал, а все не образумисся, все как кобель молодой...

Фрол засмеялся.

— Ну пойду, — сказал он. — Завтра погударим.

— Погодь! — остановил Степан. — Давайте пропустим со стречей-то. Я тут маленько запаса... Упрятал от своих глотов. Алэн, собери-ка на скорую руку.

Алена принялась накрывать на стол.

— Где тут у тебя чего?

— Там... разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай.

— Порассказали!.. — все хотела поворчать Алена. — В глаза людям глядеть совестно. Сквозь землю готова провалиться... Тьфу! Да ишо — черная! Хоть бы уж...

— Будет, Алена, — миролюбиво сказал Степан. — Нашла об чем гударить. Рассказывай, Фрол.

Фрол — не охотник до войны, до всяких сговоров, хитростей военных. Не в разинскую породу. Он — материн сын, Черток: покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом, меньшим своим... Помирала, просила мужа и старших сынов: «Не маните вы его с собой, ради Христа, не берите на войну. Пускай хоть он от ее спасется, от проклятой».

— Чего рассказывать-то? — Фрол сел на кровать. Он правда не знал, что Степану интересно и нужно знать.

— Корнея когда видал?

— Вчерась.

— Ну? — насторожился Степан.

— Он хотел сам приехать... Приедет на днях. Велел сказать: как от его к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем казаком ниже куда-нибудь для разговору. Не хочет, чтоб его на острове видели.

— Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там?

— Рассказней про тебя!.. — со смехом воскликнул Фрол.

— Хоть уши затыкай! — вставила Алена.

— Ко мне собираются? — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желанья — допросить его самого.

— Собираются. Много. Не знают только, чего у тебя на уме.

— Не надо и знать пока.

— Правда, что ль, половина шаховых городов погромил?

— Маленько потрясли, — уклончиво ответил Степан. — А домовитые как?

— Молчат.

— От царя никого не было?

— Нет.

— Ну, садись. Садись, братуха!.. Вот и выпьем вместех — давно думал. Алена, как у тебя?

— Садитесь. — Алена доставала из корзины, которую привезла с собой: домашнее печенье, яйца, варенец... — Хотела больше взять, да этот Иван, как коршун, похватал, как были...

— Молодец, — похвалил Степан. — Нечего там сидеть... у врагов.

— Какие же там враги? — изумилась Алена.

Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. Младенец! Мать-то не зря просила: не воин. Жалко будет, если убьют... Грех на душу возьмешь с таким.

— Ну — будут враги: дело наживное. Ах, Афонька!.. Штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука!..

— Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости. — Царь-город. Во, брат, какие бывают! На, играй!

Алена оглядела избушку: должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек, какие подарки. Так уж... спасительно устроена русская баба: она может подняться до прощения даже и тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет — бессознательно,

не хитря — какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, — жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство... Она пощадит оскорбителя и пощадит себя.

Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно.

— Потом, Алена. Подай нам сперва.

— Кресная у тебя? — спросил Фрол.

— Здесь.

— Не мог удержать. Говорю: придет он кого-нибудь, куда ты одна! Нет — пойду. Так ушла.

— Она молодец. Ну?.. С приездом вас. И нас. Со стречей.

— С радостью нас, — сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась: не видывала такой красивой.

Фрол ушел поздно; он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву?

Алена разобрала постель... Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света.

Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены, встал...

— Ты чего? — спросила Алена. — Ни свет ни заря...

— Спи, — сказал Степан. Присел, погладил теплую, со сна особенно хорошую Алену. — Пойду к казакам.

— Господи!.. Хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки! Спят ишо все...

— Побуду, побуду. Спи. Мне надо.

Степан надел шаровары, сапоги... Накинул кафтан и вышел из землянки.

Городок спал. Только часовые ходили вдоль засеки да чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из землянок.

Степан подошел ближе к костру... Два в дым пьяных казака, обнявшись, беседовали.

— Ты мне ее покажь... Покажь, ладно?

— Ладно.

— Не забудь только, ладно? Покажь, не забудь...

— Кого?

— Эту-то...

— А-а. Не, она для нас — тьфу!

— Кто?

— Эта-то, Манька-то.

— Какая Манька?

— Ну, эта-то!

— А-а. А мы ее обломаем...

— Кого?

— Ну, эту-то...

Степан постоял, послушал, усмехнулся и пошел дальше.

Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она, не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди... Опять — в суете, в словах — явится важность людей, но вот сейчас-то, когда такой покой, — так это все не важно, вся эта суета, слова... Даже смешно.

Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со Стырем: эти двое постоянно ругались, но и постоянно — молча — дружили, всегда жили вместе.

Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой. Спросил встревоженно:

— Что?

— Ничего, погугарить пришел.

Степан глянул на спящего Стыря, присел на лежак к Ивану.

— Вчерась я сон чудной видал, Ваня: как вроде мы с отцом торгуем у татарина коня игренева. Хороший конь!.. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак — ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает: «Прыгай-де на коня и скачи». У меня душа заиграла... Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть. Хотел прыгнуть, да вспомнил: «А как же отец-то тут?!» И проснулся.

— Было когда-нибудь так? — спросил Иван, преодолевая похмельную боль в теле: весь день хворать будет Иван.

— С отцом — нет, с браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить, мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул...

Ивану еще и жалко, что недоспал. Зевнул.

— Ты чего пришел-то: сон рассказать?

Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз.

— Утро ясное, — сказал он вдруг. — Не в такое бы утро помирать. А? — И глянул на есаула пытливо и весело.

— О!.. — удивился Иван. — Куда тебя уклонило. Это мне седня про смерть-то надо... Перестарался вчерась... дурак.

— Вот чего... — Степан сплюнул горьковатую слюну. — Прибери трех казаков побашковитей — пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферাপонтовом монастыре сидит: их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону...

— Какой из попа вояка! — удивился Иван.

— Не вояка надобен — патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет. А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Может, качнется — он злой на царя. Пускай скажут: мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет...

— Приберу, есть такие.

— Пошли их потом ко мне: научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться — слова бы не вымолвили ни с какой пытки.

— Есть такие.

— Ишо пошлем в Запороги — к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на кругу вычтут, всем.

— Тада уж и к Петру Дорошенке...

— К Дорошенке? Подумать надо... Хитрый он, крутится, как уж на огне... Посмотрим, у меня на его надежи нет. Еслив надо свою выгоду справить — справит, не задумается. Серко, тот надежный...

— Тимофеич, пошли меня к патриарху, — сказал вдруг Стырь, поднимаясь со своего лежака. — Я сумею, вот те крест, сумею. Ишо как сумею-то!

— Ты не спишь, старый?

— Нет. Пошлешь?

— Пошто загорелось-то?

— Охота патриарха глянуть... Мне один бегун рассказывал про Никона: эт-то тебе не...

— Чего в ем? — поп и поп.

— Самый высокий поп!.. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли. Я с им про веру погутаю. Он вишь, чего затеял-то?..

— Опасно ведь... схватить могут: Никона стерегут. А схватют, милости не жди: закатуют. Охота на дыбе дни кончать? Они вон какие хорошие, дни-то. Выйди, глянь-ка — сердце радуется.

— Ну, кому-то и на дыбе надо кончать... Я пожил. И дней повидал всяких... А Никон бы нам... ой как сгодился бы! Я его склоню! У меня тоже к вере подвох есть.

— Охота — иди. По путе проведайте про Ларьку с Мишкой — где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый...

Замолчали. Долго молчали.

— Досыпайте, — сказал Степан. Поднялся и пошел из землянки.

— Думы одолели нашего атамана, — сказал Иван.

— Думы... — откликнулся Стырь. — Думы — они и есть думы.

— И тебя одолели? — Иван сидел пасмурный, гадал: удастся ему еще заснуть или подниматься тоже да идти по делам. — Чего тебя-то одолели?

— Меня-то чего? Меня не так уж... А охота мне, Ванятка, патриарха глянуть — прям душа заиграла...

— Да зачем он тебе?

— А дьявол его знает, охота глянуть, и все. По спине его охота похлопать: «Ну что, мол, владыка?» У его, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь много-ого знает, Ваня... Ох, я бы с им погутарил!

— Гляди ты! — зачесалось. Спи пока, а то у меня голова, как кадушка рассохлая, разваливается. Лишка взял вчера. Ничего хоть не болтал сдуру?

— Нет. Все же схожу я к патриарху, Иван. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно... праведное дело. Прям как по обету схожу.

— Спи пока. Дай маленько очухаюсь... Может, сосну ишо.

Степан ушел на берег реки, сел.

Солнце выкатилось в чистое небо... Первые лучи его ударили в вербы; по острову вспыхнули большие желтые костры.

Далеко отсюда думы Степана... Может, в Ферапонтовом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве... Думы одолели атамана, правда. И охота додумать их да вздохнуть бы легко... Еще в Черкасске думы — вовсе рядом, а и тут темень полная, не знаешь, чего ждать.

Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум... Аж вздрогнул.

— Ах ты, черноглазик!.. Напужал. — Степан показал место рядом: — Садись. Чего рано так?

— Я завсегда так, — сказал Афонька, улыбаясь.

— Не спится?

— Выспался.

— Мать чего делает?

— Поись варит.

— Мгм. Ты сны умеешь отгадывать?

Афонька выкатил на отчима черные свои, прекрасные маслины:

— Сны?..

— Ну. Бабка не учила?

— Нет. А ты сон, что ль, видал?

— Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать, поглянулся нам обоим один конь, отец мне мигает: «Прыгай и скачи». Я уж и хотел прыгнуть, да подумал: «Ну, уеду, а как же он тут?» И проснулся. Даже жалко, что проснулся, — надо бы доглядеть...

— Не купили?

— Не купили... Да, вишь, я и не знаю, как дальше-то... Вот втемяшился этот сон — хожу и все думаю...

— Спроси бабку Говоруху.

— Да бабку-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон не простой, чую. Думаю так: вот скочим мы на коней — умахали. А как же вы тут?

— Мы? — не понял Афонька. — Кто?..

— Ну, вы... Ты вот, матеря твоя, бабка — да много! — Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробьиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. — Чижолую я тебе загадку загадал — не по росту. Иди скажи матери: иду. Поедим сядем.

Афонька убежал.

Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу... Место встречи осторожный Корней выберет сам — подальше от людских глаз.

Корнею за шестьдесят, он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит: «Побаливат». Нигде у него не побаливает: хитер и скрытен... Слово не молвит в простоте: трижды перевернет его в матерой голове, обдумает — скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет, кажется, кто не знает: такая манера. Манеру его Степан видел в бою: куда медлительность девается, вялость: как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность — это Степан давно невзлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал: «Как другой человек!.. Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то?» Корней на это говорил негромко: «От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят: один дурак круглый, другой — добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю, но так, чтоб умный не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе; я желаю иметь дело с дураками. С умными — редко, по надобности». Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать, но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла.

Встретятся они так:

— Ну, здоров, кресник, — миролюбиво скажет Корней, а сам, пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. — Как походил? Говорят, с удачей?

— С удачей.

— Слава богу!

— Чего на остров-то не приехал? — не выдержит и спросит Степан. — От кого крадися-то? Уж и на Дону у себя не хозяин...

— Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал... Чего бы тоже?

Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них — добрый-то, по душе-то... Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался — за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременно участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман (тогда еще головщик) Корней Яковлев, из уважения к есаулу Тимофею Разе и чтоб быть с казаками покороче (казаки очень любили Разю), напросился к нему в кумовья — так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось: Разя и сыновья его, Иван и подросток Степан, ревниво оберегали свою независимость, не важничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан, довольно рано для своих лет, заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил напоказ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок: один не мог поступиться своим высоким положением — снизить до панибратства с оголтелым, удачливым Стенькой, другой — другому это высокое положение крестного отца как раз было в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестника в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых, — надо было, во-первых, отправить их побольше с кем угодно и куда угодно, хоть «за зипунами» со Стенькой; во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона: Корней чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил и изворачивался с этими беглыми, — надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать, но и с царем и с боярством не хотелось портить отношений, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно; теперь, с приходом Стеньки, будет много трудней. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами, не знал только — не мог и подумать о том — радуется он Корнею, что скликает всех неприкаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать...

— Худое затеваешь, Степан, — скажет, наверно, Корней, — страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли?

— А я тебе про свою затею не говорил, — заранее знал, как скажет Степан. — С чего ты взял?

— Вижу. Слышу. Казаков не распускаешь...

— А ну крымцы нападут? Или турки?.. Держу... не лежачего же татарам брать.

— Как же теперь, два войска держать?

— На ваше войско надежда худая. Никудышное войско. Вовсе не войско...

— Хитри-ишь, Стенька!.. Всегда было доброе, теперь — на, худое. Другое у тебя на уме: опять

на Волгу метишь. На города, слышал... Слوميшь голову, Степан, по-свойски тебе говорю, жалеючи. Поверь мне, старому: два раза судьбу не пытаются...

— Да я, может, ни разу ишо не пытал ее...

— Батюшки мои!.. Как разохотился-то! Ну, спытай, спытай... глядишь, и наш теля волка слопает, может, угораздит. — У Корнея глаза глубокие, и глядит весело и ехидно... Тут где-нибудь заорет на него Степан, в недобрые его глаза:

— Дон продаешь!.. Собака! Сам продавайся с потрохами, а Дон я тебе не дам! Не для того здесь казачья кровушка лилась, не вами воля добыта, не вам ее продавать за царевы подарки! Вот тебе моя голова: отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с Дона не выдашь! Я сказал, а ты думай.

Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уж додумался, как теперь вести дело: не мешать Стеньке в сборах, больше того, всяко зудить его на поход — в этом спасение Дону. Тут Стеньку не одолеть, его одолеют там где-нибудь, под Царицыном, там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан: всячески отговаривать от похода и грозить. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно: он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель.

16

Было еще одно утро. И одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал, — странная ночь. Лунная, вся переполненная белым, негреющим светом... Но — позже.

Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг — воздух, небо, земля, — все вспыхнет вдруг тихим синим светом, короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный, белый — рассвет. И вечером бывает такая пора — предсумеречная. Такой же короткий, драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и переживает таинственную минуту. Хорошо и грустно.

Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать.

Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик.

Афонька тихо выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо:

— Чего рано так?

— Поспал... Хватит. А ты?

— Смотри, — показал Степан, — сине. Это синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет.

Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце... Даже привстал.

— Ой? — недоверчиво сказал он.

— Отчего же сине?

— А как зовут ее?

— Так и зовут — синяя птица.

— Обманываешь ты меня.

— Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица не простая...

— А какая?

— Волшебная. — Степан оглянулся назад, на спящую Алену. Сбавил голос. — Прилетает она два раза на дню — утром и вечером. И вот тут надо не зевать... Надо, как она прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел — и замри: больше чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась — пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит, тогда снова загадывай. Но опять — только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать, — сбудется, не сумеешь — не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило...

— А чего хотел?

— Ну... разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была...

— Она померла?

— Померла. Здесь померла... а схоронили на ее родине — она просила перед смертью... Под Воронежем, в деревне. Отец возил да брат Иван. А я не поехал: не люблю хоронить.

— Сидит еще. — Афонька кивнул на оконце. — Птица-то.

— Сидит...

— Пойдем глянем?

Степан качнул головой:

— Ее не увидишь.

— Она же сидит!

— Сидит. А не увидишь... И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уж нету — улетела. Вот, брат, какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей?

Афонька подумал... И сказал честно:

— Не знаю.

— Ну тогда лучше не проси. Вся-то трудность: и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то!.. Лучше и не просить. Слушать не станет.

— Рази трудно про одно думать?

— Трудно. Спробуй как-нибудь. В этом все дело — трудно. Не знаю уж почему, а трудно.

За оконцем синева заметно разбавилась.

— Улетела? — спросил Афонька.

Степан кивнул головой.

Посидели немного в молчании.

— Пойдем на реку. Умоемся, — сказал Степан.

Потом был день. День прошел обычно, как шли теперь дни: окапывались, строились, рубили засеки, ковали оружие... За всем надо было приглядеть, где подсказать, где похвалить, где поругать.

На острове — будни.

А вечером Степан опять был у воды. Сидел возле кустов, на тропке, строгал ножом досточку.

Солнце садилось за рекой, за степью. Красное колесо коснулось ровной линии горизонта и как бы замерло... Сзади, в кустах, взбесились птицы — подняли такой свист, писк, такой начался шорох в кустах, что и не верилось, что это всего лишь крохотные живые комочки шныряют в кустах. «Что-то, наверно, для них это значит — когда солнышко садится, — подумал Степан. — Жалко, наверно».

Солнце медленно погружалось за степью — можно даже глазом заметить, как оно уходит все глубже, глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился черным. Зато вся степь, от реки и до солнца, далекие курганы и близкий кустарничек, все высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленный и еще раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе — шагать по ней и шагать из конца в конец, — своя она, мы же родились тут. И даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, теплый, доступен, наверно, и покойным в земле.

Что-то такое — похожее — успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце. А уж легкая тень упала на степь. Курганы погасли и темными силуэтами стали в ночь часовыми. Река потемнела... Чувствовалось, как вода без натуги, не тревожа берегов, тихо двигает громаду свою по скользкому ложу. От воды веяло холодком.

Много ли времени так прошло, Степан забылся. Вдруг сбоку откуда-то в тишину и успокоенность молодой ночи грянул свет — обильный, мертвый. Несколько отодвинулся тот берег, спина реки заблестела холодной сталью. И степь тоже тускло и далеко заблестела, и курганы отчужденно замаячили вдали... И неуютно сделалось на земле — голо как-то. И все случилось так скоро, просто — взошла луна. Черт ее знает, наверно, нужна она в небе, раз она есть, но нехороший, недобрый свет посылает она на землю.

Покой и тишина укутали было землю, а свет этот все потревожил: слышно стало, как всплескивают волны, в кустах беспрерывно кто-то возился, укладываясь спать, что ли, или кто-то не мог теперь заснуть, из-за этого нахального света... Мелкий, беспрерывный, нудный металлический звон доносился со степи и сзади, и с боков.

Степан с сожалением очнулся от забытья, стал невольно слушать шорохи, вздохи, звон. Потом он услышал легкие шаги по берегу... Кто-то шел сюда. На ходу кто-то задевал кусты, ветви

чутко отзывались легким-легким стуком и шуршанием. Кто-то остановился, постоял и снова двинулся. Степан подумал, что это Афонька ищет его, но ближе понял, шаг не Афоньки — тяжелее. Но и не мужской.

«Алена, — догадался Степан. — Потеряла. Дуреха...»

И, как с ним бывало, ни с того ни с сего явилось озорное желание напугать. Он бесшумно соскользнул вниз, к воде, затаился.

Шаги зашелестели над самой головой... Степан громко, отчетливо сказал:

— Я вот пошляюсь ночами, пошляюсь.

Шаги оборвались... Алена тихо ойкнула, схватилась за грудь и попятилась назад.

— Кто эт?

— Не пужайся. — Степан полез наверх, на тропу. Хохотнул.

— Да ты что, Степан? — спросила обиженно Алена. Она все еще держала руки на груди. — С ума спятил? Ноги отнялись прямо...

— Садись, — пригласил Степан. И хлопнул рядом с собой ладонью. — Не татарин выскочил, не голову снял.

— Господи, Господи... — все не могла прийти в себя Алена. — А я вижу — темнеет что-то у воды, думала — коряга.

— А чего вот вы, я заметил, — серьезно заговорил Степан, — как пужаетесь, так за титьки сразу хватаетесь? Даже голышом. Дороже всего вам это место, что ли? А?

Алена присела рядышком.

— Где эт ты так на голых-то нагляделся, что уж... все знаешь: чего они вперед прикрывают...

— Будет тебе, — миролюбиво сказал Степан.

— Вечно уколоть надо...

— Будет. Перестань. — Степан привлек к себе теплую родную Алену, подержал ее голову у своей груди: ревность еще не умерла в женщине. Зря он, конечно, вылетел с этими голыми: не надо сейчас досадовать друг на друга, неохота. — Куда шла-то?

— К тебе. — Алена отмякла. — Мне Афонька сказал, где вы завсегда сидите...

Степан устроил свою голову на колени жене, стал смотреть снизу на ее лицо и на далекие жирные звезды.

— Ну?.. А чего? Потеряла, что ль?

— Степа, — вдруг перешла на шепот Алена, — я вот седня тоже загадала желание... — Она стала гладить теплой ладошкой его лицо. И хоть Степан обычно как-нибудь незаметно, чтоб не обидеть, высвобождался от этих поглаживаний, сейчас ему и этого неохота было делать — пусть гладит. — Дождалась вечером, когда слетит та птица, про какую ты Афоньке утром

сказывал, и стала думать только одно...

— Чего же? Ты не спала утром-то?

— Нет, слышала. Задумала я так: давай мы с тобой сейчас прямо сплывем в Черкасск?

— Зачем? — Степан приподнял голову.

— Полегче челночок... до света там будем.

— Да зачем?

— Не знаю, Степа... Захотелось мне пройти с тобой по тем местам, где мы тогда хаживали. Днем-то тебе туда нету пути... — Алена сказала это с нескрываемой грустью. — Хоть ночью... Ночь-то вон какая! Степушка, милый, поедем, а? Шибко охота мне... Ублажи ты бабу глупую. Я, вишь, и разоделась вон... Ты и не заметил.

Степан сел.

Правда, на Алене был дорогой наряд, только что не свадебный.

— Поедем? По улице нашей пройдем, возле дома постоим, возле ворот... Степушка...

Степан услышал в голосе жены нотку глубокую, искреннюю... Подивился, но не стал лезть в душу с расспросами, а только спросил:

— А загадала-то крепко?

— Ни... чтоб я про чего-нибудь другое подумала — ни капельки! Только сидела и думала: «По улице пройдем, у ворот постоим». Больше ничего. — Алена сказала это с силой, убежденно и с правдой неподдельной.

— Раз такое дело, поплыли! — легко согласился Степан. И вскочил. — Готова?

— Готова. И лодочку даже приметила...

— Где?

— Вон там. Славная лодочка... Легкая!

Через какие-нибудь пять минут легкая лодочка летела по реке вниз. Гребец сильно загребал, дробил веслами в золотую мелочь, в кружочки и завитки светлый след луны.

— Намахаюсь... — сказал Степан.

— Ничего! — ободрила Алена.

Еще некоторое время греб Степан. Потом бросил весла, прислушался. И сказал, довольный:

— А-а! Погодь, Алена... черт ими не махал.

И направил лодочку к степному берегу.

— Степа!.. — испугалась Алена.

— Дурную ты мыслью посоветовала мне, — сказал Степан. — И я тоже — согласился.

Лодочка ткнулась в берег. Степан выпрыгнул на сухое, сказал:

— Посиди пока, я скоро.

И исчез. С воды из-за берега не видно было, куда он пошел. Только через некоторое время услышала Алена его глуховатый, густой голос: «Трр, стой!» И поняла: коней ловит Степан. На острове коням не хватало корма, и казаки на ночь переплывали с ними на степной берег, и кони кормились там под присмотром двух-трех казаков. Но караульных казаков что-то не слышно было — не окликнули. Спят, наверно.

Скоро на берегу раздался дробный топот пары лошадей. Конские морды и голова Степана показались над обрывом.

— Вылазь. Задерни лодочку, чтоб не снесло.

Алена выпрыгнула из лодки, задернула ее подальше к обрыву, с трудом вскарабкалась на яр, невысокий, но отвесный.

Степан осматривал степь. Караульных не видно, огонька нигде нет.

— Спят, окаянные. Садись-ка... жди, я пробегу по берегу, — сказал Степан.

— Да кто тут, поди!.. — заикнулась было Алена, но Степан уж подстегнул своего коня и скакал вдоль берега назад.

Алена села на конскую теплую спину, подумала о наряде своем, но махнула рукой — дьявол с ним, с нарядом. Важно, что желание ее исполняется.

Степан отъехал довольно далеко, остановился, громко крикнул:

— Эгей!.. Кто тут?!

Никто ему не откликнулся. Только по воде, слышно, прокатилось: «у-у-у!»

Степан вернулся. Сердитый.

— Степа, да шут с имя, с караульными!.. — начала было Алена, но Степан не дал ей говорить.

— Хватит! — И, помолчав, отходчиво уже сказал: — Ну, едем или нет?

— Едем.

«Во разыгралась баба! — думал Степан, поглядывая сбоку на жену; Алена ладно сидела на коне, и если б не блестели под луной ее голые коленки, то и не сразу угадаешь: казак скачет или казачка. — До чего же разные они! Но — разные-то они разные, а у всех в башке — только любовь одна, больше — шаром покати — ничего».

Не знал Степан свою жену, плохо знал. Не только одна любовь была в голове у Алены. И любовь, конечно, но не одна только любовь. Не знал он, что Алена за день до этого послала верного казака к Корнею Яковлеву, и тот передал ей с казаком же: «Пусть приезжают... Пусть она его как-нибудь зазовет ко мне, — может, и уговорим как-нибудь. Попробуем хоть».

Когда Алена уезжала к Степану в Кагальник, был у них с Корнеем разговор: все силы положить, а не допустить, чтобы голь донская, а особенно расейские головорезы подбили доброго атамана на грех и резню. Батюшку-атамана, заступника, ждали, не скрывали этого. И конечно, как он придет, говорили между собой Корней и Алена, первые к нему пробьются голодранцы, и уж они постараются — напоят в уши. Атаман добр до глупости, готов всех приветить, а они — рванина, сволочь — кинутся с жалобами.

— Наше, наше с тобой, Алена, первое дело — не допустить беды, — говорил Корней, вроде бы искренне озабоченный. — Перед богом и царем ответ держать будем, Аленушка. Ты к нему ближе всех, с тебя и спрос потом особый. Спрос, он ведь какой спрос: кровь прольется, а грех — на твою неповинную душу падет: могла удержать, а не удержала. Вот он и спрос весь. Для чего он казаков не хочет распускать? Чего задумал? Мир-то стоит до рати, а рать — до мира. Ох, Алена...

— Да как его удержать-то? Как? Иль ты не знаешь его? — вся трепетала Алена, пугалась.

— Знаю. А вот как удержать — не знаю. И посоветовать — не знаю как. Знаю только: быть беде. Для чего он войско не хочет распускать? На кого держит?.. Ты разузнай хоть это.

Но только прав был и Степан: жила в Алене огромная, всепожирающая любовь, и не будь ее, этой любви, никакому Корнею, будь он трижды опытный и хитрый, не подействовать бы на нее: Алена хотела удержать Степана возле себя, для себя, для счастливой, спокойной жизни. Ради этого она и не на такой сговор пошла бы. И когда сегодня решила она узвать Степана в Черкасск, то в ней правда родилось такое неодолимое желание: «Пройтись по улице, постоять у ворот». Желание это все росло и росло и выросло в нетерпеливую страсть, она временами стала забывать, зачем везет мужа в Черкасск, к кому. К себе она везла его, к себе — к молодой, любящей. В ту давнюю дивную пору везла и его, и себя, когда она, вырученная с дитем из ненавистного плена, ждала у тех самых ворот, у вереи, своего спасителя и мужа, которого боготворила, целовала следы ног его. Ждала из похода или с пирушки, хмельного, ждала и обмирала от любви и страха — как бы с ним не приключилась беда какая. Дурной он в хмелю, а на походе о себе не думает. Туда везла его теперь Алена, в ту желанную пору: не забыл же он все на свете с этими походами проклятыми, с войной. А забыл, то пусть вспомнит. А Корней... Корней свое дело сделает — он умный. Так и надо: со всех сторон надо обложить неугомонного атамана, чтоб он, куда ни повернулся, везде бы видел: он любим, он в почете, в славе... Чего же еще? Он будет войсковым атаманом — кто еще? Он богат... Неужели давать голодранцам сбить его на путь дурной, гибельный?..

Луна поднялась над степью и висела странно близко: у Степана раз-другой возникло тоже странное желание: повернуть к ней коня и скакать, скакать — до хрипа конского, до беспамятства — и хлестнуть ее плеткой, луну. Он засмеялся. Алена посмотрела на мужа:

— Чего ты, Степушка?

— Поглядеть на нас с тобой этой ночью со стороны — два ушкуйника: лодку бросили, взяли коней и при ночном солнышке — в городок, воровать. А ишо того смешней — баба научила-то!

— Своровала б я теперь одного человека, — серьезно сказала Алена. — Своровала да спрятала подальше... Вот бы своровала-то!

Степан не понял.

— Кого?

— Казака одного... Стеньку Разина.

* * *

В Черкасск прискакали к третьим петухам. Оставили коней за городком, на берегу.

— Ну? — спросил Степан. — Куда? — И сам, глядя на спящий, знакомый до боли, чужой теперь городок, ощутил редкое волнение. Жаль чего-то стало: не то времени прожитого, не то... Грустно как-то сделалось. — Пошли. Я лаз знаю — ни один черт не увидит и не услышит.

Зашли со степной стороны городка, там стена местами изрядно прохудилась, пролезли, где на животе, где на карачках, — очутились в городке. Алена вышла вперед и повела теперь сама: свернула налево, перешли низинку, сырую, заросшую лопухами, вышли на улицу... Дорога, пыль на дороге тускло серебрилась под луной; нигде ни души. И даже собаки почему-то молчали.

— Куда ты? — спросил Степан.

— Шагай, — велела Алена.

Алена тоже испытывала щемящее чувство грусти, любви... И вела ее все та же любовь, за которую, она понимала, пришла пора вступить, которую надо отбить любой ценой. Про Корнея она пока не думала; она думала, что сейчас они войдут в ЦЕРКОВЬ и там... повенчаются.

Когда Степан отбил у татар Алену и сделал ее своей женой, повели дело к тому, чтоб венчаться. Но батюшка черкасский запротивился:

— Венчать не стану. Она крещеная? Она же не помнит.

Алена не знала, была она крещеной или нет: в плен ее увезли маленькой. Попу со всех сторон говорили, что — как же иначе? — крещеная. Она же русская! Поп уперся: не буду венчать! Такой был упрямый поп.

— А ну-ка да некрещеная, тогда — грех, грех страшный. Где хотите узнавайте: грех.

Мать Степана со слезами молила батюшку, Алена убивалась. Тимофей Разя тоже говорил с попом:

— Как же ты так — не поймешь: баба к своим попала, к русским, а ты... Она и так там намучилась, ее пригреть надо, а ты...

— Нет, — твердо стоял на своем поп.

— Ну, возьми да окрести, раз такое дело.

— Нельзя. Мы же не знаем, — может они ее там в свою веру обернули.

— Она же говорит!..

— Ну, говорит!.. Охота у своих жить, вот и говорит. Она наговорит.

— Ну, змей ползучий, гляди! — в сердцах сказал тогда Степан попу. — Я те припомню!

Но поп тот помер, с новым разговор этот не затеяли — время прошло. И остались Алена со

Степаном невенчаные. Но если Степан и вовсе забыл про это, а в последние годы у него вообще круто переменялся взгляд на попов, то Алена все думала, что вот — не венчаны.

Подошли к церкви...

— Ну? — спросил Степан.

— Пойдем. — Алена шла впереди.

— Куда?

— Пойдем в церковь.

— Она ж закрыта!

— Там замок, он без ключа... Дерни покрепче, он откроется. Пойдем, Степа.

— Да зачем? — не понимал Степан, поднимаясь, однако, по ступеням к широким дверям церковным. — Чего там делать-то?

— Побожимся. Дадим клятву нерушимую перед Божьей Матерью, что никогда-никогда не забудем друг про дружку. Вечно будем любить и помнить... Степан, ты же согласился делать седня, как я прошу. Ради Христа, Степа...

«Блажит баба, — подумал Степан. — Шлея попала».

— Дергай, — велела Алена.

Степан без усилия разомкнул большой ржавый замок... Они вошли в церковь. Из верхних узких окон лился лунный свет, светлыми мечами рассекая темную, жутковатую пустоту храма. Один такой луч падал на иконостас, на икону Божьей Матери с Иисусом на руках. Алена вдруг подавленно вскрикнула и пала на колени перед высветленной иконой. Степан невольно вздрогнул от ее вскрика.

— Становись на колени, Степушка! — громким шепотом, сама не своя, заговорила Алена. — Светится, матушка! Вся светится. Говори за мной: матушка, царица небесная!.. Степа, стань на колени, ради Христа! Ради меня... Ради всех...

Степан опустился на колени, изумляясь, как неистово может заблажить баба.

— Говори: матушка, царица небесная...

— Я в уме буду.

— Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица небесная, как ты любишь своего дитятку, так и я буду...

— Алена! — воспротивился Степан. — Все клятвы эти у меня в голове. Я их знаю... Помню.

— Степа, говори... — Алена заплакала. — Как ты любишь своего дитятку, так я буду любить близких своих, никогда их не забуду...

— Я и так не забуду! — разозлился Степан. И встал. — Не реви! Кликуша какая-то... Чего ты седня?

— Поклянись, Степушка, поклянись, поклянись! Она нам поможет, матушка...

— Клянусь, — сказал Степан. — Чего с тобой делается-то?..

— Не забуду родину свою, не забуду близких своих...

— Куда я, к туркам, что ль, побегу? Чего ты седня?

— Жену свою не забуду и не брошу. Не променяю ни на кого...

— Не променяю. — Какой толк менять-то вас? Встань, не дури, Алена...

И тут чей-то голос, увеличенный пустотой церковной, громко спросил сзади:

— Это кто по ночам в церкви ходит?

Алена, в экстазе молитвенном, не узнала тот голос, шлепнулась от страха на четвереньки. Степан узнал — то был Корней Яковлев, крестный отец его. То ли он случайно — не спалось — увидел двери церкви раскрытыми (он жил напротив церкви, через площадь), то ли нарочно караулил редкого гостя... По голосу — не похоже, что со сна.

Степан поднял Алену с пола. Успокоил.

— Господи, матушки... — едва опомнилась Алена. — Чуть ума не решилась.

— Здоров, Степан! — приветствовал Корней Степана. — Чего же ночью-то, а не днем?

— А ночь вишь какая — светло...

— Ну, пойдём в гости?

— Нет, в гости я к тебе не ходок, — отрезал Степан. Не зло, впрочем, сказал, однако твердо. — Говорить хошь? Давай тут. Есть чего говорить-то?

— Э-э, мало ли! Столько время прошло...

— Степа, чего же зайти-то не хошь? — встряла Алена, сообразив, что теперь самый раз отговорить Степушку от дурных мыслей.

— Помолчи! — велел ей Степан. Он стал догадываться, что свидание с Корнеем — подстроено. — Чего хотел спросить, кресный?

— Хотел спросить... Может, зайдешь все же? Чего мы здесь, как... — Корней хотел сказать «воры», но вовремя спохватился: Степана кое-кто как раз и величал «вором». — Как враги лютые, — досказал Корней. — Дом-то рядом. Да и твой дом — тут же. Хоть к тебе пойдём.

— Пойдём, Степушка, пойдём, — взмолилась Алена. Но ее не слышали, не до нее.

— Мой дом не тут, Корней...

— Где же? В Кагальнике?

— В чистом поле. Дом большой, крыша высокая... Жильцов много.

— Кого-кого — голи всегда хватало. Чем тут хвастаться...

— Чего спросить-то хотел?

— Спросить хотел... Больше устеречь хотел, чем спросить... Неладное затеваешь, Степан. Вижу. Но спрашивать — чего затеваешь — не стану. Не скажешь. Но три раза все же спрошу тебя. А ты ответь.

— Ну?

— Ты к царю послал станицу челом бить...

— Послал.

— Погоди, это не спрос, это я знаю. Больше знаю: помилует тебя царь...

— Снюхались? С царем-то... Небось посылал уж к ему?

— Нет, догадываюсь. Снюхаться мы с им всегда успеем — я служу ему, Степушка. И ты служишь... Ты его хлеб ешь.

— Ну. Дальше.

— Я становлюсь старый. Мне скоро дороже покой будет, чем знатность всякая. Кто войсковым станет? После меня.

— Найдете. Свято место пусто не бывает.

— Ты станешь. Хошь, так сделаем: я раньше время пошлю к царю... попрошу сложить с меня войскового...

— Ну-у, кресный! — искренне удивился Степан. — Что эт тебя так допекло? Атаманствуй на здоровье.

— То меня допекло, — не выдержал Корней отеческого тона, — что еслив ты, кобель, забунтуешься, то и нам всем головы не сносить. Вот то и допекло.

— Так и говори. А то — знатность ему надоела.

— Я отдам тебе, отдам все!.. Бери. Дай дожить спокойно. Дай голову в могилу с собой унести. Жалко мне ее — на колу-то будет сушиться. Все тебе отдам!..

— Не хочу. Мне ничего от тебя не надо. А что надо — сам возьму. Только — не надо.

— Другое, что хотел спросить тебя...

— Спрашивай.

— Ты знаешь, еслив ты подымесся против воли царя, он нас хлебного припаса лишит. Весь Дон. Знаешь? Ты же на голод нас обрекешь... Он уж и теперь не шлет вон!

— Врешь! Лукавишь, старый. Вас он припаса не лишит. Он боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, оттого и не шлет вам пока. Я это не сделаю. Если хошь говорить по правде, говори, не лукавь. Не делай из меня недоумка.

— Недоумка из тебя никто не делает... Не сделать. Но не великим умом грешат, Степан,

грешат волей. С недоумком я бы не разговаривал тут.

— Какой ишо спрос?

— Куда хошь ийти по весне?

— Этого я... не только тебе или царю, а самому господу богу не скажу. Все?

— Все. Ты знаешь, на што ты идешь?

— Знаю.

— Знаешь. Не маленький. Только не знаешь ты, что сгубишь все наши вольности донские... Не тобой тоже они добывались, не твоими голодранцами. Ты же, в угоду этим голодранцам, все прахомпустишь, за что отцы наши, и твой отец, головы свои клали. Подумай сперва. Крепко подумай! Бежит с Руси мужик — ему хоть есть куда бежать, на Дон. Если он не душегубец прирожденный, не пропойца, мы завсегда его приветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что мужику некуда будет голову приклонить. Лишат нас вольностей...

— То-то, я гляжу, приветили вы тут голодранцев-то! То-то приветили, приласкали — роживоротите. На отцов наших не кивай — не тебе равняться с ими. Они-то как раз привечали. А вы — прихвостни царские стали. Мужика у тебя скоро из-под носа брать будут, вертать помещнику... Ты не увидишь. Ты пальцем не пошевелишь. А то и сам свяжешь да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан! — Голос Степана окреп и зазвучал недобро, немирно. — Пришел отговаривать!.. Соблазнять пришел, как девку глупую, — гостинцев дам! Неужель ты верил, что у меня слюни потекут от твоих посулов? Да мне твое атаманство даром не надо! А про вольности... не моги даже вякать! А то я тебе на язык наступлю. Это их вон, — показал на Алену, — собьешь с толку... Сбил уж. Но я-то все же казак, кресный. Не дите же я малое. Я думал, ты пошире невод заведешь... Может, думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса... А он пужать явился. Дай дорогу! — Степан шагнул прямо на войскового. Тот посторонился.

Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через какой они проникли в городок, а к воротам — на караульного.

— Кто?! — окликнули его сонно.

— Свои, — сказал Степан.

Над степью занималось утро.

17

В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их... Велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю:

— Ты — царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед богом-вседержителем. Ты забыл: он тебя возвысил к себе, но он тебя и низвергнет...

В палату заглянул черный дьякон Мардарей:

— Чего с казаками делать?

— Накормили?

— Накормили.

— Вывесть за ворота и отправить с богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи.

Мардарей исчез.

— Низвергнет, — подсказал писец. — Дальше?

— Истинно говорю тебе: учинится пир кровавый в твоём государстве, ибо некому просить Бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет: человеки насытятся мясом человеческим. Ты же не хочешь, чтоб Господь Бог услышал наши молитвы, уберег Русь... — Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать... Потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке.

Он не послал то письмо царю. Раздумал.

— Жирно будет, — сказал. — Переживешь... Лупоглазый.

Часть вторая. Мстите, братья!

1

Писали к великому государю.

Из Астрахани боярин и воевода князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами:

«Посылали де они из Астрахани на Дон до Черкасского казачья городка едисанского улусного татарина Юмашка Келимбетова тайным обычаем и велели ему про Стеньку Разина и про товарищев его разведать подлинно: в котором городке учнет он, Стенька, жить, и товарищи ево с ним ли, Стенькою, станут зимовать или от него пойдут врознь; и примут ли ево на Дону старшины или учнут писать к великому государю о указе, и какие меж ими ссылки будут. И декабря в 9 день татарин Юмашка, приехав в Астрахань, в распросе сказал: „Съехал де он Стеньку Разина с товарищи на Царицыне и жил с ним с неделю, а с Царицына де ехал он с ним, Стенькою, вместе до Пятиизбского казачья городка. И Стенька де с товарищи из Пятиизбского городка поехал вниз Доном рекою стругами и пришел де в Кагальницкий городок и жил в том городке 6 дней. И обыскал де он, Стенька, ниже того городка с версту остров, и на том острове зделали земляные избы... А ево де, Стенькины, казаки живут все вместе, и никово де он, Стенька, товарищев своих от себя не отпускает, держит их у себя в крепии“.

С Царицына воевода Андрей Унковский писал:

«Приезжали з Дону на Царицын донские казаки 2 человека и сказывали, что Стенька Разин с товарищи меж Кагальника и Ведерникова зделали городок земляной. И послал де он, Стенька, в донской в Черкасской городок по жену свою да по брата своего Фролка з женою ж, а сам де он, Стенька, хочет ехать в войско не со многими людьми. А казаков де своих, которых тутошних прежних донских жильцов, отпускает в казачьи городки для свиданья родителей своих на срочные дни за крепкими поруками. А из запорожских де городов Черкасы и из донских городов казаки, которые голутвенные люди, к нему Стеньке с товарищи, идут беспрестанно, а он де, Стенька, их осуждает и уговаривает всячески. А всех де казаков ныне у него 2700

человек, и приказывал он казакам беспрестанно, чтоб они были готовы. А какая у него мысль, про то и ево казаки немногие ведают, и некоторыми де мерами у них, воровских казаков, мысли доведатца не мочно. Да ему же де сказывали сотник стрелецкий Микита Урывков и иные служилые люди, которые были в калмыках, что на Дону и на Хопре во многих городах казаки, которые одинакие и голутвенные люди, Стеньке с товарищи гораздо рады, что они пришли на Дон. И говорят казаки, что на весну однолично Стенька Разин пойдет на воровство, и они де, донские и хоперские казаки, с ним пойдут многие. А которые де старожилые домовые казаки, те де о том гораздо тужат».

От царя и великого князя Алексея Михайловича писали:

«К атаманам и казакам и всему войску Донскому:

Ведомо великому государю учинилось, что Стенька Разин с товарищи стоит в вашем казачьем верхнем городке Кагальнике. И которые де из наших великого государя украинских городов торговые всякие люди ездят к вам на Дон со всякими запасы, и тех де торговых людей он с теми запасы задерживает у себя, а в Нижний Черкасской городок к вам их не пропускает.

И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вам бы, атаманам и казакам, проведати всякими мерами: которые всяких чинов торговые люди ездят к вам на Дон из наших великого государя украинских городов со всякими запасы и с товаром, и им от Стеньки Разина нет ли какова утеснения, и с ворами ссылку о чем чинит ли и з Дона итти не помышляет ли. И как наше великого государя жалованье и хлебные запасы посланы будут к вам на Дон, порухи какие он, Стенька, не учинит ли. Да что о том проведаете, и вам бы о том о всем отписать к нам, великому государю, подлинно вскоре з жильцом з Герасимом Евдокимовым, который послан к вам с сего нашего великого государя грамотою. А наше великого государя жалованье по вашему челобитью, деньги, и сукна, и зелье, и свинец, и хлебные запасы, и вино, послано к вам на Дон будет с станичники вашими без умоленья».

Воронежскому воеводе Василью Епифановичу Уварову писали:

«Ведомо нам, великому государю учинилось, что многие боярские и всяких чинов людей холопы, бегая с Москвы и из городов, приставают к донским станичникам и уходят разными дорогами на Дон.

И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а донские станичники учнут приезжать на Воронеж, и ты б велел у них боярских и всяких чинов людей холопей осматривать. И буде сверх их, донских казаков, объявиця беглые холопы или иные какие люди, и ты б у них тех людей велел имать и спрашивал накрепко, хто откуда бежал, и тех беглых людей у донских станичников велел имать и сажал в тюрьму и писал о том к нам, великому государю. Да и Воронежском уезде в наших великого государя дворцовых волостях и всяких чинов людей в селах и в деревнях велел заказ учинить крепкий: буде где какие люди объявятся без проезжих, конные и пешие, и тех бы людей отнюдь нигде не пропускали, а приводили бы их к тебе в съезжую избу. И ты б тех людей по тому ж, спрашивая, сажал в тюрьму и писал к нам, великому государю, а отписки велел подавать в Посольском приказе».

Наказная память жильцу Герасиму Евдокимову:

«А приехав на Дон к атаманам и казакам, велети про себя сказати, чтоб ему дали место, где ему постоять, и приказати к ним, атаманам и казакам, чтоб они были все в зборе. Да как они соберутся, и ему, Герасиму, итти к ним, атаманам и казакам, в круг и вслед в круг атаманам и казакам поклонитись рядовым поклоном.

А после того атаманов и казаков спросити о здоровье, а молить: — Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и наследник и государь и обладатель, велел вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье; да после того подать атаманам и казакам великого государя грамоту.

Да ему же, Герасиму, будучи на Дону, проведати всякими мерами подлинно: где ныне Стенька Разин, и с ним атаманы и казаки в совете ль или не в совете, и ссылка меж ими есть ли; и к тому Стеньке казаки, к его злому умыслу, на всякое воровство не приставают ли...

Да как ево, Герасима, з Дону отпустят, и ему, взяв у атаманов и казаков отписку, ехать к Москве наскоро. А едучи ему дорогою на Дон и з Дону назад, от Стеньки Разина быть опасну, чтоб ево на дороге великого государя с грамотою где у себя не задержали.

А приехав к Москве, явиться ему и атаманов и казаков отписку подать в Посольском приказе».

2

Между тем пришла желанная весна...

Шумит в Черкасске казачий круг: выбирается станица в Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву собрался жилец, домой... А теперь допивал чай и меды в атаманском доме.

И тут в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был гость неожиданный. Явился он раньше своего войска, которое сплывало стругами вниз по Дону в Черкасск.

— Куда станицу выбираете? — спросил Степан громко, резко.

— Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю, — отвечал Корней, явно растерявшись при виде грозного своего крестника.

— От кого он приехал?

— От государя...

— Позвать суда Герасима! — велел Степан. — Счас узнаете, от кого он приехал. — И, оглядев притихших казаков черкасских, повысил голос: — Всех проходимцев боярских стали примать?!

Герасима уже волокли голутвенные... Жилец перетрусил и заметно утратил начальный вид.

— От кого ты приехал, сучий сын: от государя али от бояр? — спросил его Степан.

— Приехал я от великого государя Алексея Михайловича с его государевою грамотой, — отвечал Герасим торопливо и сунул за пазуху, достал цветастую грамоту. — Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчич и дедич наследник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов и казаков, спросить о здоровье...

— Врешь! — загремел Степан. — Не от царя ты приехал, а лазутчиком к нам!

— Да вот же грамота-то!.. За печатями...

— От бояр ты приехал, пес! — Степан подступил к жильцу, выхватил у него грамоту, разодрал,

бросил под ноги себе, втоптал в грязь. И еще харкнул на нее.

Круг удивленно загудел: такого в Черкасске не бывало.

Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости.

— Как ты смел, разбойник!..

Степан развернулся и дал послу по морде; тот отлетел в ноги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив домовитых. Голутвенные взяли жильца в пиночья.

— В воду его! — крикнул Степан.

Корней кинулся было защищать Герасима, но его отбросили прочь. Посла поволокли к Дону.

— Степан, что ты делаешь!.. — закричал Корней. — Останови!..

— И ты того захотел?! Гляди!

— Я велю тебе! — попытался подействовать Корней угрозой. — Кто тут войсковой атаман? Ты или я?! Останови их!

— Владей своим войском, коли ты атаман, а я буду своим. В воду жильца!

— Степан... сынок... головы всем поснесут, что ты делаешь! Останови! — просил Корней: за кого, за кого, а за жильца-то в Москве спросят, и не со Стеньки же спросят!

Степан двинулся прочь с круга.

— Степка, ведь это — война! Ты понимаешь, дурак? — крикнул вслед ему Корней.

— Война, кресный. Война, — ответил Степан.

Жильцу Евдокимову связали руки, наклали за пазуху камней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал — грозил карой небесной. Грозил царем...

Степан появился на берегу.

— Не нашли Фролку? — спросил он окружавших его казаков.

— Нет, схоронился. Или уехал куда. Нигде нету.

— Пускай передадут ему, — говорил на ходу Степан, — вылазь, мол, Фролка, ишо раз отпускает тебе вины твои атаман. Пускай вылезет, не трону. Вон наши гребут... Скажите: круг будет. Корнея и старшину продажную гнать. Наш будет круг!

Степан с братом Фролом, в окружении есаулов и сотников, вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем.

Подгреб к берегу головной струг... Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману.

— Как пришли? — спросил Степан.

— Бог миловал — все в добром здравии. Всех, с ногаями, — три тыщи и семьсот. — Иван выглядел празднично: дождался похода.

— Добре. Из стружков не выгружайся... Выволоки, какие текут, просмолите. Сгони всех плотников Черкасскова — делайте новые, сколь успеете.

— Корнея видал?

— Видал. Скажи казакам, круг будет. Мои как?

— Вон, — показал Иван, — все в целости.

С одного из причаливших стругов сходили бабка Матрена и Алена с Афонькой.

— Позвать?

— Потом. Пускай домой идут. Пошли на круг. Иван, Федор, идите-ка ко мне, погударим.

Перед каждым кругом Степан говорил с «башковитыми» — первыми своими помощниками: атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга, какого решения, — советовал, куда гнуть.

Собрался круг голутвенных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет. Только — свои.

Степан, дождавшись теплых дней, двинул события; он понимал: силу, какую он теперь собрал, надо устремить, застой и промедление пагубны для дела и его атаманства.

Степан опять сидел несколько в стороне, на бугре.

В круг вышел Иван Черноярец.

— Казаки! Пришла пора выступать нам. Куда? Моя дума: под Азов! Попробуем ишо раз... Как?! Любо?! — Так уговорились с атаманом: объявить на выбор все возможные пути. — Азов, ребята?!. — еще крикнул Черноярец. И даже зачем-то рукой показал в сторону Азова.

Круг промолчал. Черноярец — это еще не «башка».

Иван отошел в сторону, к Степану. Степан мельком глянул на него и опять принялся постегивать плеткой сапог. Он слушал круг.

Вышел Федор Сукнин.

— Моя дума: на калмык! — громко сказал он.

Круг молчал.

— На калмык, братья! — еще раз призвал Федор.

И опять круг ответил молчанием. Федор тоже судьбу войска за хохолок не держит.

Федор удалился, не выказав огорчения.

Смотрели на Степана. Вот в чьей руке судьба...

— Батька, какая твоя дума?! — крикнули. — Скажи!

Степан медлил. Степану надо накалить обстановку.

— Скажи, батька! — орал. — Больше никого слушать не станем! Скажи сам!..

Степан поднялся на бугре. Помолчал... Оглядел всех.

— Дума моя: пора нам повидаться с бояры! — сказал он крепко и просто. Помолчал, оглядел всех и еще сказал: — А?

— Любо!! — ухнул круг. Ждали этого.

— Постоять бы нам теперь всем и изменников на Руси повывесть, и черным людям дать волю!

— Любо, батька! — радостно ревела громада. Давно ждали этого: всю зиму потихоньку глодали эти мысли — про изменников бояр, теперь орал открыто, потому и радовались.

— Как ийтить? — спросил Степан.

Тут начался разнобой. Это кровно касалось всех тут.

— Волгой! — кричали донцы. — Дорога знамая!

— Доном! Прямиком, мимо Танбова! — звали пришлые. — Нам эта дорога тоже знамая.

Шум поднялся невообразимый. Там и здесь поталкивали уже друг друга в грудки. Это вопрос коренной — как идти. Как идти, так и воевать, донцы, кто поумнее, понимали это; беглые мужики хороши в родных своих местах, там один драный молодец будет стоять трех: там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка... Донцам же дорога Волга, и Степану тоже, но надо теперь перекричать пришлых, не одни они теперь.

— Мимо Танбова — мы там весь хлеб по селам пожрем! Чем Дон питаться будет? Откуда привезут?! У нас тут детишки остаются, — надрывался казак, обращаясь к пришлым.

— Зато — наша родная дорога! — стояли пришлые.

— Нам Волга такая же родная!

— Кто к нам на Волге пристанет?! Мордва косопузая?!

— Хошь и мордва! Не люди, што ль? Не одна мордва, а и татарин, и калмык пристанет! — гнули свое казаки.

— А чего с имя делать?! — орал пришлые.

— А с тобой чего делать? Ты сам гол как сокол пришел. Тебя приняли?! А ты теперь рожу от мордвы воротишь! На Волгу, братцы! Там — раздолье!

— Пойдем пока до Паншина. Там ишо разок сгадаем, — сказал Степан. — Туда Васька Ус посулился прийтить. Вместях сгадаем. Все.

В круг протиснулись посыльные от городка Черкаска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные, Стеньку знали, знали щедрость его.

— До тебя, атаман.

— Ну?

— Покарал нас Господь Бог, — начал поп, — погорели храмы наши... Видишь?

— Вижу, — сказал Степан.

— Ты богат теперь... на богомолье в Соловки к Зосиме ходил...

Степан нахмурился:

— Ну? Дальше?

— Дай на храмы.

— Шиш! — резко сказал Степан. — Кто Москве на казаков наушничает?! Кто перед боярами стелится?! Вы, кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых подачках! Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам отдать! Первые доносить на меня поползете... Небось уж послали, змеи склизкие. Знаю вас, попов... У царя просите. А то — на меня же ему жалитесь и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой!

Поп не ждал такого.

— Охальник! Курвин сын! Я по-христиански к тебе...

— Лизоблюд царский, у меня вспоможенья просишь, а выйди неудача у нас — первый проклинать кинешься. Тоже по-христиански?

Вперед вышел пожилой казак из домовитых:

— Степан... вот я не поп, а тоже прошу: помоги церкви возвесть. Как же православным без их?

— А для чего церкви? Венчать, что ли? Да не все ли равно: пусть станут парой возле ракитова куста, попляшут — вот и повенчались. Я так венчался, а живу же — громом не убило.

— Нехристь! — воскликнул поп гневно. — Уж не твоим ли богомерзким наущением церкви-то погорели?

Степан вперился в попа:

— Сгинь с глаз, сказал! А то счас у меня хлебнешь водицы!.. Захребетник вонючий. По-христиански он... Ну-ка, скажи мне по-христиански: за что Никона на Москве свалили? Не за то ли, что хотел укорот навести боярству? А?

Поп ничего не сказал на это, повернулся и ушел.

* * *

— Всех, всех разнес, — выговаривала бабка Матрена крестнику. — Ну, Корнея — ляд с им, обойдется. А жильца-то зачем в воду посадил? Попа-то зачем бесчестил?..

— Всех их с Дона вышибу, — без всякой угрозы, устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей, дома.

— Страшно, Степан, — сказала Алена. — Что же будет-то?

— Воля.

— Убивать, что ли, за волю эту проклятую?

— Убивать. Без крови ее не дают. Не я так завел, нечего и всех упокойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена.

— Оттого и пьешь-то — совесть мучает, — с сердцем сказала набожная Алена. — Говорят люди-то: замучает чужая кровь. Вот она и мучает тебя. Мучает!

— Цыть!.. Баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр небось не мучает... Ишо раз говорю: не зовут — не лезь.

— Зовут! Как зовут-то! — Алена взбунтовалась. Здесь, в Черкасске, ее подогрели. — Проходу от людей нет! Говорят: на чужбине неверных бил и дома своих же, христьян, бьет. Какую тебе ишо волю надо?! Ты и так вольный...

В другое время Степан отпугнул бы жену окриком, может, жогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил на руке и забывал иногда снять дома. Но — чувствовал: забудь люди страх, многие бы заговорили, как Алена. А то и обидней — умнее. Это удивляло Степана, злило... И он заговорил, стараясь хранить спокойствие:

— Я — вольный казак... Но куда я деваю свои вольные глаза, чтоб не видеть голодных и раздетых, бездомных... Их на Руси — пруд пруди. Я, может, жалость потерял, но совесть-то я не потерял! Не уронил я ее с коня в чистом поле!.. Жалко?! В гробину их!.. — Степан побелел, до хруста в пальцах сжал рукоять плетки. — Сгинь с глаз, дура!

Алена пошла было, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу:

— А им не жалко!.. Брата Ивана... твари подколодные... — Спазма сдавила Степану горло; на глазах показались слезы. Но он говорил: — Где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтоб я не докричался до ее, до ихней жалости. Чтоб у меня даже крик или молитва какая из горла не вышла — не хотят они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого — пускай на себя и пеняют. Не буду я теперь проклинать зря. И молиться не буду — казнить буду! Иди послушай, чего пришлые про бояр говорят: скоты! Хуже скотов! Только человеческого мяса не едят, А кровь пьют. А попы... Тьфу! Благостники! Скоты!.. Кого же вы тут за кровь-то совестите? Кого-о?!.

Матрена налила в чашу вина, подала Степану:

— Остынь, ради Бога, остынь... ажник помушнел.

Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал, потом опять заговорил — тихо, устало:

— Бесстыдники-то вы: дармоедами беглецов обзываете... Я знаю, кто тебе поет в уши... Своих, говорят? Нет, не свои они мне. Мне — кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь ишо с имя говорить — говорил бы. Не умею. Осталось — рубить. Рубить умею. Попробуйте вы, богомольцы, своими молитвами укорот им навести! А то они скоро всю Русь сожрут! Попробуйте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы!

Степан замолчал. Налил еще вина, выпил, опустил голову на руки, закрыл глаза... Уставал он от таких разговоров очень. Избегал их всячески, но они случались.

Женщины оставили его одного.

Но только они вышли, нагрянули гости: Иван Черноярец, Федор Сукнин... А с ними — Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, все семеро, что ходили в Москву к царю бить челом в Кремле за вины казацки. Только теперь, увидев их, живых-здоровых, понял Степан, как дороги они ему, верные его товарищи, и как глупо, что он отпустил их в Москву: могли там остаться гнить заживо в царевых подвалах, а то и вовсе сгинуть.

— Тю! — воскликнул Степан радостно. — Ото — гости так гости! Хорошие вы мои...

Вся станица перецеловалась с атаманом.

— Ото гостеньки!.. — повторял Степан. — Да как же? Когда вы? — Он был рад без ума. Чуть не плакал от радости. Все время, пока Ларьки с товарищами не было, болела совесть: зря послал в Москву. — Откуда теперь-то?

— А прямо с дороги.

— Алена! — стол: гулять будем. Где она? — суетился Степан. — Ну, ребятушки!.. Радый я за вас. Слава те Господи! А видали войско?.. А? — Степан засмеялся. — Закачается мир! Садитесь, садитесь...

Алена вошла, с неудовольствием посмотрела на ораву и принялась накрывать на стол. Опять — гульба.

— Что царь, жив-здоров? Отпустил вас?.. Или как? — расспрашивал Степан.

— Нас с караулом в Астрахань везли, а мы по пути ушли. Зачем нам, думаем, в Астрахань-то?.. Батька на Дону теперь.

— Охрана как же?

— Коней, оружие у их отняли, а их пешком пустили... — Ларька тоже улыбался, довольный.

— Славно. Что ж царь? Видали его?

— Нет, с боярами в приказе погугарили...

— Не ждут нас на Москву?

— Нет. Они тада не знали толком, где мы есть-то — на Дону или на Волге...

— Добре, пускай пока чешутся. Завтра выступим. А эт кто же? — Степан увидел Федьку Шелудяка.

— Федор... По пути с нами увязался. Бывалый человек, на Москве, в приказе, бича пробовал.

— Из каких? — спросил Степан, приглядываясь к поджарому, смуглому Федьке.

— Калмык. Крещеный, — сказал Федька.

— Каково дерут на Москве?

— Славно дерут! Спомнишь — на душе хорошо. Умеют.

— За что же?

— Погуляли с ребятами... Поместника своего в Волгу посадили. Долго в бегах были. А на Москве, с пытки, за поместника не признался. Беглый, сказал. А родство соврал...

— Как же это вы? И не жалко вам его, поместника-то?

У Шелудяка глаза округлились от удивления: он слышал про Стеньку Разина совсем другое — что тот тоже не жалуется поместников.

Степан засмеялся, засмеялись и есаулы.

— Алена, как у тебя? — спросил Степан.

— Садитесь.

* * *

Крепко спит хмельной атаман. И не чувствует, как хлопчут над ним два родных человека: крестная мать и жена.

Алена, положив на колени руки, глядит не наглядится на такого близкого ей и далекого, родного, любимого и страшного человека.

Матрена привычно готовится творить заговор.

— Господи, Господи, — вздохнула Алена. — И люблю его, и боюсь. Страшный он.

— Будя тебе, глупая! Какой он страшный — казак и казак.

— Про што думает?.. Никогда не знала.

— Нечего и знать нам... — Матрена склонилась над Степаном, зашептала скороговоркой: — Заговариваю я свою ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над свежею водою, над платом венчальным, над свечою обручальною. — Провела несколько раз влажной ладонью по лбу Степана; тот пошевелился, но не проснулся. — Умываю я свою дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты красные... — Отерла платком лицо. Степан опять не проснулся.

— Погинет он, чувствует мое сердце, — с ужасом сказала Алена.

— Цыть! — строго сказала Матрена. — Освещаю свечою обручальною его становой кафтан, его шапку соболиную, его подпоясь узорчатую, его сапожки сафьянные, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую...

Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, покачала головой и продолжала:

— Будь ты, мое дитятко, цел, невредим: от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачнова бойца, от ратоборца, от дерева русскова и заморскова, от полена длиннова, недлиннова, четвертиннова, от бабьих зарок, от хитрой немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от серебра, от золота, от птичьева пера, от неверных людей: ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, бухарцев, турченинов, якутов, черемисов, вотяков, китайских людей.

Бойцам тебя не одолеть, ратным оружием не побивать, рогатиною и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, обухом тебя бить не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить; молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им — дроздами.

А будь ты, мое дитяtko, моим словом крепким — в ноши и в полунощи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву — сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгоренья.

А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитяtko, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды семь, распростиись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.

Заговариваю я, раба, Степана Тимофеича, ратного человека, на войну идущего, этим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему делу венец.

Алена упала головой на подушку, завывала в голос:

— Ох, да не отдала б я его, не пустила б...

— Поплачь, поплачь, — посоветовала Матрена. — Зато легче будет. Шибко только не ори — пускай поспит.

— Ох, да на кого же ты нас покидаешь-то?.. Да и что же тебе не живется дома-то? Да и уж так уж горько ли тебе с нами? Да родимый ты мо-ой!.. — с болью неподдельной выла Алена.

Степан поднял голову, некоторое время тупо смотрел на жену... Сообразил, что это прощаются с ним.

— Ну, мать твою... Отпевают уж, — сказал недовольно.

Уронил голову, попросил:

— Перестань.

3

Шли стругами вверх по Дону. И конники — берегом.

Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в новый поход, в счастье атамана, в удачу его.

Весна работала на земле. Могучая, веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь.

Степан ехал берегом.

В последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. Нравился ему этот совершенно лишенный страха и совести выкрест, калмык родом, отпетая голова, ночной работничек. Был он и правда редкий человек — по изворотливости, изобретательности ума, необыкновенной выносливости и терпению.

Федька ехал рядом со Степаном, дремал в седле: накануне крепко выпили, он не проспался. Опохмелиться атаман никому не дал. И сам тоже не опохмелился.

Степан чуть приотстал... И вдруг со всей силой огрел Федькиного коня плетью. Конь прыгнул, Федька чудом усидел в седле, как, скажи, прирос к коню, только голова болтанулась.

Степан засмеялся. Похвалил:

— Молодец.

— Э-э, батька!.. Меня с седла да с бабы только смерть сташшит, — похвалился Федька.

— Ну? — не поверил Степан.

— Ей-богу!

— А хошь, вышибу? На спор...

— Хочу. Поспать. Дай поспать, потом вышибешь.

Степан опять засмеялся, покачал головой:

— Иди в стружок отоспись.

Федька подстегнул коня и поскакал, веселый, к берегу.

Сзади атамана тронул подъехавший казак, сказал негромко:

— Батька, там беда у нас...

— Что? — встрепенулся Степан; улыбку его как ветром сдуло.

— Иван Черноярец казака срубил.

— Как? — Степан ошалело смотрел на казака, не мог понять.

— Совсем — напрочь, голова отлетела.

Степан резко дернул повод, разворачивая коня... Но увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников и казаков. Вид у Ивана убитый.

Степан подождал, когда они подъедут, сказал коротко:

— Ехай за мной. — Подстегнул коня и поскакал в степь, в сторону от войска.

Иван попевал за ним. Молчали.

Далеко отъехали... Степан осадил коня, подождал Ивана.

— Как вышло? — сразу спросил он есаула.

— Пьяные они... Полезли друг на дружку, до сабель дошло. Я унять хотел, он — на меня... Казак-то добрый. — Иван зачем-то глянул на свою правую руку, точно боялся увидеть на ней кровь казака.

— Кто?

— Макар Заика, хоперец.

— Ну?

— Ну и рубнул... Сам не знаю, как вышло. Не хотел. — Иван хмурился, не мог поднять головы.

Степан помолчал.

— А чего такой весь? — вдруг остервенело спросил он.

— Какой? — не понял Иван.

— Тебе не есаулом счас с таким видом, а назем выгрести из стайки! Впору слезьми реветь!..

— Жаль казака... Не хотел ведь. Чего ж мне, веселиться теперь?

— Ты эту жаль позабудь! Рубнул — рубнул, ну и все. А сопли распускать перед войском — это я тебе не дам. Ты — вож! Случись завтра: достанет меня стрелец какой-нибудь, кто все в руки возьмет? Кто, еслив есаулы мои хуже курей снулых? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет — пожалей. Один.

Помолчали.

— И мне жалко. В другое время я б тебя живого вместе с убитым закопал, — досказал Степан.

— За казака.

Иван вздохнул:

— В другое время... В другое время я б сам поостерегся с саблей — черт подтолкнул. Казак-то добрый... я его знал хорошо. А тут как збесился: глаза красные, никого не видит... ажник жуть берет. Я уж с им и так и эдак — не слышит ничего и не видит. Ну, и вот... и вышло.

— Вперед за пьянством гляди хорошенько. Ни капли, ни росинки маковой на походе! Ехай с глаз долой и не показывайся такой. И казакам не кажись. Очухайся один где-нибудь.

Иван поскакал назад, Степан — в голову конницы.

Обеспокоенные событием, его ждали Федор Сукнин, Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же казаком — дело редкостное. Боялись за Ивана: если атаман некстати припомнит войсковой закон, есаул может поплатиться за казака головой. Случалось, хоронили в одной могиле обоих казаков — убитого и убийцу его, живого, при этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство.

Степан налетел на есаулов:

— Был приказ: на походе в рот не брать?! Был или не был?

— Был, — откликнулся за всех Федор.

— Куда смотрите?! До дури уж допиваются!..

Молчание.

— Ивана не виню, рубнул верно. Вперед сам рубить буду и вам велю. Всем скажите! Пускай на себя пеняют.

Есаулы украдкой облегченно вздохнули — пронесло с Иваном.

— Макара схоронить по чести, — велел атаман. — И крест поставить.

* * *

На виду Паншина городка стали лагерем. Стояли двое суток, поджидая, когда подойдет со своими Чертоус; уговорились через посыльных встретиться здесь.

На третий день к вечеру на горизонте показались конные Васьки Уса.

Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому времени пожилым, понаторевшим военачальником, прошел две войны, поход под Москву... Поход был, правда, неудачный и горький — от Москвы казаки бежали, бросая по дороге приставших к ним мужиков, но неудача не сломила Василия, не остудила его страсть к войне и походам. Был он еще силен, горд, московский поход забыл.

Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался: охота было склонить славного Ваську с собой.

— Кто больше у него? — спросил у казаков.

— Больше из Вышнева Чира, — стал пояснять казак, ездивший нарочным к Василию, — голутьба. Запорожцы есть — с войны с им...

— Ты ездил к нему? — спросил Степан казака.

— Я.

— Как он?

— Ничо... Погляжу, говорит. Что, мол, за атаман, погляжу.

— Казаков принять хорошо, — велел Степан. И замолчал. Ждал. Должно свершиться важное: Ус поставит под верховную команду Разина свои казачьи отряды. Или — не поставит: Ус казак силен, молва про него на Дону добрая... Степан его не знал (дом Уса в Раздорах, да и там он бывает раз в год по обещанию — вечно в походах); его хорошо знал Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степану про Василия. Сергей же сказал, что Ус — казак вовсе не глупый, но быковатый: заупрямится — с места не сдвинешь, но если изловчиться и захомутать его, — будет пахать.

Василий подъехал к группе Степана, остановился... Некоторое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал казаков.

— Здорово, казаки-атаманы!

— Здорово! — ответили разинцы.

— Кто ж Стенька-то из вас?

Степан смолчал. Повернулся, пошел в шатер. Через некоторое время от него вышел Стырь и торжественно объявил:

— Атаман просит зайти!

Василий, несколько огорошенный таким приемом, спешился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один человек, не казачьего вида. Казаки — разинцы и пришлые, Уса, — молча смотрели на шатер: никто не ждал, что славные атаманы повстречаются так... странно.

— Чтой-то неласково ты меня встречаешь, — сказал Василий с усмешкой. — Аль видом я не вышел? Аль обиделся, что сразу в тебе атамана не узнал? Ты-то знаешь ли меня?

— Я тебя знаю, — успокоил Степан честолюбивого Уса, внимательно к нему приглядываясь. — Кто тебя не знает!

Поздоровались за руки.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Дак мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, парень...

— Сказать, чтоб на постой разбивались. Эка, смутился!

Василий выглянул из шатра... И вернулся.

— Они у меня умные — сами сметили. Ты чего такой, Степушка? А?

— Какой?

— Какой-то — все приглядываисся ко мне... А слава шумит, что ты простецкий, погулять любишь... Врут? Тебе годов-то сколь?

— Сколь есть, все мои. Это кто? — Степан посмотрел на товарища Уса.

— Это мой думный дьяк, Матвей Иванов. Из мужиков... Башка! Завсегда при мне... Я его зову — думный дьяк.

— Пускай он пока там подумает. — Степан кивнул. — За шатром. Один. А мы погударим...

— Я не помешаю, — скромно, с каким-то неожиданным внутренним достоинством сказал Матвей. Был он, в сравнении со своим атаманом, далеко не богатырского вида, среднего роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя внимание глаза — умные, все понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг засмотрелся в эти глаза...

— Свой человек, — сказал Ус. — Говори при ем смело.

— Добре, нам таких надо. Дай-ка нам с атаманом погударить, — настоял Степан. — Выйди.

Матвей вышел.

— Слыхал, чего я надумал? — прямо спросил Степан.

— Слыхал, — не сразу ответил Ус. — На Москву ийтить? Слыхал. Могу дорогу показать... Передний заднему дорога.

— Это по какой ты бежал-то? Плохая дорога. Мы другую найдем — надежней.

— Лихой атаман! — с притворным восхищением воскликнул Ус. — Уж и побегать не даст. А

меня дед учил: не умеешь бегать, не ходи на войну. Бывает, Степа. Что горяч ты — это хорошо, а вот еслив горяч, да с дуринкой, — это плохо. Не ходи тада на Москву — там таких с колокольни вниз головой спускают.

Степан улыбнулся криво и недобро.

— Крепко тебя там припужнули...

— Что ты! Шибко уж колокольня-то та высокая. Не видал?

— Видал. Высокая.

— Какую ж ты дорогу себе выбрал? — спросил Ус. — Или — наугад, по-вятски?

— Это как же — по-вятски? — не понял Степан.

— Наугад! И говорится — наугад.

Степан внимательно посмотрел на простодушного Василия Родионыча.

— Наугад — не знаю, не ходил. Я люблю — наудачу.

А в лагере в это время налаживались другие отношения — там не о чем было спорить. Там все ясно.

Казаки Уса и разинцы, в отличие от вождей своих, скоро нашли общий язык — простой, без колючих зазубрин.

Обнаруживались старые знакомцы, вспоминались былые походы... Задымили костры. Гостей готовились принять славно, как и велел атаман.

Разинцы еще раньше принарядились — пускали пыль в глаза пришлым, кобенились — как же!

Стырь собрал вокруг себя целую ораву, показывает, как он «ходил» на Москву к царю.

— Он о так сидит на троне... Мишка, сядь.

— Да иди ты, — отказался Мишка, молодой казак.

— Где кум мой? — вспомнил Стырь. — Он тоже видал царя — покажет.

Дед Любим напялил на голову вывернутую наизнанку шапку, воссел на три положенных друг на друга седла. Сделал скучающее лицо... Стал важный и придурковатый.

— Ну, где там эти казаки-то?! — спросил. — Давайте их суда, я с имя погутарю.

— Не так! — воскликнул Стырь. — Давай: ты из бани пришел.

— А-а!.. Добре. — Дед Любим стал отчаянно чесаться. — В баньку нешто сходить?..

— Ды ты уж пришел! — заорали зрители.

— А-а!.. Ну-к... Эй! Бояры!.. Кварту сиухи мне: после бани выпью.

Поднесли «царю» сивухи. Он выпил.

— Ишшо.

— Будя.

— Ты что, горилки царю пожалел, сукин сын?! Ты должен на коленках передо мной ползать. Давай горилки! — Дед изобразил капризное «царское» величие. — Хочу кварту горилки! Хочу кварту горилки!.. — Больше было похоже на то, как капризничает злой ребенок, а не царь.

Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул. Плюнул.

— Ах, хороша!.. Ну где там казаки-то?

В круг неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем — в каком-то непонятном балахоне. Тоже необыкновенно важный.

— Здоров, казак! — приветствовал его «царь». — Та чего эт в моем царстве шатаисся? Чего ты тут пронюхываешь у меня?

— Прикажи мне тоже дать сиухи, — подсказал Стырь.

— Э-э!.. — загудели зрители. — Вы тут упьетесь, пока покажете.

— Так надо, — сказал Стырь. — Перво-наперво вина подают.

— Правда, — поддержал Дед Любим. — Эй, бояры, где вы там, прихвостни? Дать казаку вина заморскыва.

Стырю подали чару вина. Он выпил.

— Ишшо. Я с дальней дороги — пристал.

— Дать ему! — велел «царь».

— Шевелись! — прикрикнул на «бояр» Стырь. — Царь велит!

Подали еще чару. Стырь выпил.

— Как доехал, казаченька? — ласково спросил «царь».

— Добре.

— А чего ты шатаисся по моему царству, мы желаем знать?

Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из другой. Стал полный дурак.

— Чего желаете знать?..

Нелегко матерому Чертоусу смирить гордое сердце — сразу стать под начало более молодого, своенравного Стеньки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда Степан хотел настоять на своем, он не искал слово помягче, он гвоздил словом. Он не скрывал раздражения. И это-то странным образом успокаивало людей: кто гневается, тот прав. Кто верит в себя, тот прав.

Не пощадил Степан старого казака: припомнил ему его паническое бегство из Москвы. Было

так: Ус с ватагой военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их употребили по назначению — они хотели воевать. Пошли, как на войну, — просить войны. Дорогой к ним пристали мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на Москву — не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва тоже поняла этот поход как наступление и выслала навстречу сильный отряд под командой Борятинского. Казаки бежали. Пешие мужики не могли убежать. Их убивали.

Это и припомнил Степан. Он говорил резко:

— Ты там мужиков бросил! Псу Борятинскому отдал неоружных людей на растерзанье... Вот как ты там хорошо ходил, той дорогой! И туда же опять зовешь?.. Бесстыдник.

— Тьфу!.. Дурак упорный! — Ус тоже злился. — Не приведи Господи, но случится где-нибудь тебе в отступ ийтить — вот этой самой рукой, — Ус показал огромную ручищу, — подойду и по роже дам. А чего мне было делать? Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам — наберешь мордвы-то, да чувашей, да ногайцев своих — с ими и подставляй лоб, кому хошь, хошь Борятинскому, хошь Долгорукому... Какой! Шибко уж памятный — на чужую беду.

— Не лезь тада с советом, еслив свою беду не помнишь.

— Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на Волгу.

— Вона! Спомнил...

— А чего же его забывать, добрый был вож... Дай Бог побольше таких.

— Зато и пропал твой Иван.

— Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет: один раз вышло там, вот и давай ишо... А с Волги тоже дорога на побег есть — Ермакова. — Ус поднялся, выглянул из шатра, позвал: — Матвей! Зайди к нам. Вот послушай, Степан, мужика — дошлый. Послушай, послушай, с лица не опадешь. Я его частенько слушаю.

Вошел Матвей.

— Там казачки-то... это... расходиться начинают, — сказал он и посмотрел на Степана. — Или — ничего, пускай?

— Гулять, что ль? Как же им не погулять? Не с татарвой стретились.

— Хорошее дело, — согласился Матвей. — Я к тому, что — размахнутся они счас широконыко: знакомцев полно стрелось. А у вас тут, может, чего другое задумалось.

— У нас тут раскосяк вышел, — сказал Ус. — Не хочет Степан Тимофеич городками да весями ийтить, хочет — Волгой.

— Ну, я тебе то и говорил, — спокойно сказал Матвей. — Говорил я тебе: Степан Тимофеич будет склонять на Волгу.

— Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму: пошто?

Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень понравилась его манера говорить: спокойно, негромко... На своем настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понравились: грустные, умные, но и насмешливые.

Интересный мужик.

— Раз: кто такой Степан Тимофеич? — стал рассуждать Матвей, адресуясь к Усу. — Донской казак. Правда, корнями-то он — самый что ни на есть расейский, но он забыл про то...

— Какой я расейский? Ты чего?

— Отец-то расейский. Воронежский. Мы так слышали...

— Ну.

— Вот. Стало быть, есть ты донской казак, Степан Тимофеич. Как и ты, Василий Родионыч. Живется вам на Дону вольготно, помещники вас не гнут, шкур не снимают, жен, дочерей ваших не берут по ночам с постели — для улады себе. Вот... Спасибо великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да ведь и то — вся Расея на Дон не сбежит. А вы, как есть вы донские казаки, про свой Дон только и печалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы — на дыбошки: не трожь вольного Дона! А то и невдомек: несдобровать и вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками да за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой всю Расею. Вы на ногу легкие... Наш мужик пока раскачается, язви его в душу, да пока побежит себе кол выламывать — тут его сорок раз пристукнут. Ему бы — за кем-нибудь, он пойдет. А вы — эвон какие!.. За вами только и ходить. За кем же?

— Ты к чему это? — спросил Степан.

— Доном ийтить надо, Степан Тимофеич. Через Воронеж, Танбов, Тулу, Серпухов... Там мужика да посадских, черного люда, — густо. Вы под Москву-то пока дойдете — ба-альшое войско подведете. А Волгой — пошли с полтыщи с есаулами да с грамотками, — пускай подымаются да подваливают с той стороны. А там, глядишь, Новгород, да Ярославль, да Пошехонь с Вологдой из лесу вылезут — оно веселей дело-то будет! На Волге, знамо, хорошо — вольно. Опять же, погулять — где? На Волге. Там душу отвести можно. А тут бы в самый раз: весь народишко раззудить!.. — Матвей заволновался, глаза его заблестели. — Ты скажи ему, да погромче — прикрикни: пошли! Сиднем засиделись, дьяволы! Волосьем заросли!.. По лесам-то с кистенем — черт вас когда ослобонит там, и детишков ваших. Они вон подрастают да следом за вами — в Петушки, купцов поджидать. Эх!..

— Ты чего ж, Матвей: на царя наметился? — спросил Степан, усмешливо прищурившись. — Ведь мы эдак, как ты советуешь-то, — все царство расейское вверх тормашками?..

— Пошто на царя?

Степан засмеялся:

— Напужался?.. Ну, так: вы — гости мои дорогие, я вас послушал, и будет. Пойдем Волгой.

— Пеняй на себя, Степан! — воскликнул Ус. — Баран самовольный. Силу собрал, а... Экий дурень! Пропадешь!

— Будешь со мной? — в упор спросил Степан.

— Куда ж я денусь?.. Ты тут теперь — царь и Бог: не привязанный, а вижжать окол тебя буду. — Ус встал во весь огромный рост, хлопнул себя по бокам руками. — Золотая голова, а дурню досталась. Пошто уперся-то?

— Неохота сказывать.

— Это твоя первая большая промашка, Степан Тимофеич, — негромко, задумчиво и грустно сказал Матвей. — Дай Бог, чтоб последняя. Ах, жаль какая!.. И ничего не сделаешь, правда.

В Черкасске домовитые казаки и старшина крепко задумались. За поход Стеньки они могли жестоко поплатиться, они понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать и обезопасить Разина — беспокоился. Но черт его обезопасит, Разина, если он пришел и сел, как в крепости, в своем Кагальнике, казаков не распустил... Иди обезопась его! Он сам кого хочешь обезопасит, да так, что — с головой вместе. Ждали весны: весной будет ясно, куда он пойдет. Может, теперь до турок попытаются добраться, тогда — с богом: там и лягут. Может, с калмыками или с крымцами сцепятся, тоже не страшно, даже хорошо: израсходуют силу в наскоках и утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда они подымутся по весне. Не могли выведать. Стенька грозил всем, а на кого точил потаенный нож, про то молчал. Даже пьяный не проговаривался. Гадали всяко — и так, и этак... Думали и так: не на Москву ли правда нацелился? Ждали весны. И вот подтвердились ужасные догадки: Разин пошел на Москву.

Особенно опечалились Корней Яковлев и Михайло Самаренин, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта печальная игра; в душе он был доволен событиями.

Корней Яковлев, излишне грустный, как будто переболевший за эти дни, стукнулся в дверь дома Минаева Фрола. Из дома не откликнулись.

— Я, Фрол! — сказал Корней негромко.

Звякнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча в горницу.

В горнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, закуска... Домашних Фрола никого нету — уснул, чтоб поговорить без помех.

— Дожили: середь бела дня — под запором, — сказал Самаренин, крупный казачина с красным обветренным лицом.

— Дожили, — вздохнул Корней, присаживаясь к столу. — Налей, Фрол.

— Долго он не нагуляет, — успокоил Фрол, наливая войсковому большую чарку. — Это ему не шахова земля — голову враз открутят. А то уж шибко скаковитые стали.

— Ему-то открутят — дьявол с ей, об ей давно уж топор тоскует. У меня об своей душа болит. — Корней выпил, крикнул, пососал ус... — Свою жалко, вот беда.

— Чего слышно? — спросил Михайло, искренне озабоченный.

— Стал у Паншина, Ваську ждет. Ты говоришь — открутят... У его уж счас — тыщ с пять, да тот приведет... Возьми их! Сами открутят кому хошь. Беда, братцы мои, атаманы, беда. Больше беда может быть... — Корней оглянулся на дверь горницы.

— Никого нету, — сказал Фрол.

— Письма перехватили от гетмана да от Серика к Стеньке.

У Фрола и Михайлы вытянулись лица.

— Чего пишут?

— Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, спрашивает, где бы, в каком урочище им сойтиться. Казак тот, с письмами, разлысил лоб в Черкасской — не знал, что Стенька ушел, мы вытряхнули того казачка... Во куда невод завел!

— Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке, — сказал Фрол. — В Астрахани собирался. Эт-то хуже дело...

— Вот какая моя дума: надо опробовать повернуть Стеньку на крымцев. Поедешь ты, Фрол. Скажешь...

— Ты что?! — испугался Фрол.

— Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему тоже не с руки: он не дурак — оставлять за спиной обиженных. А поедешь ты от всех нас. Возьмешь письмо Петра Дорошенко. Сериково письмо я в печь бросил. Ехать надо сразу — успеть до Васьки. Надо, надо, ребята... Надо хоть показать: чего-то да делали мы тут, а то совсем уж... смотрим только. Спросят ведь!

— Не мне бы... Не поверит он мне.

— Тебе-то как раз и поверит, — сказал Михайло. — Тут ведь — не только письмо передать, а поговорить с им...

— Слышно, мол, стало: крымцы грозят походом. Они правда-то не налетели бы, узнают наши поганые дела, — сказал еще Корней. — Не приведи Господи: вовсе не отбиться будет.

— Эх, не мне бы! Подумайте. Не боюсь, а — будет ли толк? Побаиваюсь, конечно, но... постановим, поеду. Только подумайте: мне ли? — Фрол тревожно и вопросительно смотрел на атаманов.

— Тебе, ты с им в дружках ходил. Сулился же он не тронуть тебя. Поговори душевно... Хоть бы он, черт бешеный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы его, пока он один-то... Ты, Михайло, собирайся в Москву: надо и об своих головах подумать. Все скажешь, как есть: ничего, мол, не могли поделывать. Прибери себе казаков — и с богом. Без огласки.

Все трое посидели в молчании.

— Он когда на Москву-то задумал, где? — спросил Корней Фрола.

— А черт его знает! Его рази поймешь? Думаю, как Астрахань прошли оттуда, он окреп. Те губошлепы-то пропустили... Он и вошел в охотку. Царя, говорит, за бороду отдеру разок...

— Разок надо бы, — неожиданно сказал Корней. — Не худо бы... Только шумом городка не срубить. Славный он казак, Стенька... Жалко мне его. Пропадет.

— Тут, как ты говоришь, самая пора себя пожалеть, — заметил Самаренин. — А то выходит: он ногой в стремя, а мы — головой в пень.

* * *

Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали вдогон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверился судьбе... На всякий случай надо, конечно, держать ухо востро, но в глубине души он не верил, что Степан поднимет на него руку. Напротив, может, именно он, Фрол, отведет беду с Дона. В Крым или на калмыков Фрол и сам бы еще разок сходил со Степаном... Но не на царя. От этого похода, кроме беды, ждать нечего. Может, и удастся отговорить Стеньку... Жалко его, правда.

Фрол родился и вырос в станице Зимовейской, где родился и Степан, вместе они ходили на богомолье в Соловки... И тогда-то, в переход с Дона на Москву, случился со Степаном большой и позорный грех, про который до сих пор знали только они двое — Степан и Фрол. Было им по двадцать шесть лет, но Степан шел в Соловки второй раз. Ехали с ними все больше старые казаки, израненные в сражениях, много грабившие на веку, — ехали замаливать грехи. Молодые, вроде Стеньки и Фрола, ходили в Соловки то ли по обету, как ходил Стенька в первый раз (обещал умирающему отцу сходить помолиться казачьему святому Зосиме), то ли по настоянию здравых еще, обычно пожилых родичей, желавших своим родным помощи Божьей и судьбы милостивой. А заодно и за них бы, стариков, отдать поклон... То ли молодые сами, своей волей просили на кругу разрешения сходить в далекий монастырь — не сиделось дома, охота было посмотреть мир большой, это поощрялось, круг решал отпускать.

В тот раз Стенька ехал своей волей. Фрола послал на богомолье дед его, Авдей Минаев, который на старости лет сильно ударился в Бога, но сам был уже не ходок, и потому в Соловки поехал внук Фрол. Не без удовольствия, надо сказать.

Неподалеку от Воронежа, в деревне, остановились на постой. Остановились у крепкого старика; дом у старика большой, на отшибе, ближе к лесу. Дед по вековой традиции своего рода бортничал (собирал дикий мед), у него всегда останавливались казаки с Дона: где мед, там медовуха, где медовуха, там казаки. Да и старик был очень свойский: если не разбойник, то с душой разбойника: немногословный, верный слову, на первом месте — товарищ, потом все. В прошлый раз Стенька со станицей останавливались у него же. Но с тех пор в доме старика случились изменения: убило лесиной его сына, Мотьку. Осталась со стариком невестка, чернобровая Аганя, баба огромная, красивая и приветливая. Казаки сразу смекнули, что Аганя тут — и за хозяйку, и за жену сильного старика (старухи у него давно не было), но вида не подали.

Выпили. Аганя тоже выпила; молодая ядреная кровь заиграла в ней, она безо всякого стеснения заглядывалась на молодых казаков, похохатывала... Часто взглядывала на Стеньку. А тот еще с прошлого раза запомнил Аганю, но тогда слишком был молод, стеснялся, и у Агани был муж. Теперь Стенька осмелел... И так они откровенно засматривались друг на друга, что всем стало как-то не по себе. Один только старик лесовик, хозяин, как будто ничего не замечал, помалкивал, пил. Старший в станице, Ермил Пузанов, вызвал Стеньку на улицу, предупредил:

— Не надо, Стенька, не обижай старика. Оно и опасно: старик-то... такой: пришьет ночью, пикнуть не успеешь.

— Ладно, — ответил Стенька. — Я не малолеток.

— Гляди! — еще сказал Ермил серьезно. — Не было бы беды.

— Ладно.

Ночь прошла спокойно. Но Стенька, видно, успел перемолвиться с Аганей, о чем-то они договорились... Утром Стенька сказался больным.

— Чего такое? — спросил Ермил.

— Поясница чего-то... разломило всего. Полежать надо.

Казачи переглянулись между собой.

— Пускай полежит, — молвил могучий старик хозяин. — Я его травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за болесть.

Фрол, улучив минуту, сунулся к Стеньке:

— Чего ты задумал?

— Молчи.

— Отравит он тебя, Стенька... Или пришибет ночью. Поедем.

— Молчи, — опять сказал Стенька.

Казачи уехали.

Стенька догнал их через два дня... Много не распространялся. Сказал только:

— Полегчало. Прошла спина...

— Как лечил-то? — заулыбались казачи. — Втирал? Али как?

— Это — кто кому втирал, надо спросить. Оборотистый казак, Стенька... Старик-то ничего? Облапошили?

— Они ушли, — непонятно сказал Стенька. — Вместе: и старик, и...

— Куда? — удивились казачи.

— Совсем. В лес куда-то. Старик заприметил чего-то и... ушел. И Аганьку увел с собой. Вместе ушли.

— Э-э... Ну да: что он, смотреть будет? Знамо, уведет пока — от греха подальше.

— Ну вот, взял согнал людей... Жили, никому не мешали, нет, явился... король-королевич. Надо было!

Поругали Стеньку. И поехали дальше.

Стенька, однако, долго был сам не свой: молчал, думал о чем-то, как видно, тревожном. Казачи его же и отговаривать принялись от печальных мыслей:

— Чего ж теперь? Старик не пропадет — весь лес его. А ее увести надо, конечно: когда-никогда она взбесится.

— Не горюй, Стенька. А видать, присохло сердчишко-то? Эх ты...

Только в монастыре догадались казаки, что у Стеньки на душе какая-то мгла: старики так не молились за все свои грехи, как взялся молить Бога Степан — коленопреклонно, неистово.

Фрол опять было к Стеньке:

— Чего с тобой? Где уж так нагрешил-то? Лоб разобьешь...

— Молчи, — только и сказал тогда Степан.

А на обратном пути, проезжая опять ту деревню, Степан отстал с Фролом и показал неприметный бугорок в лесу...

— Вон они лежат, Аганька со своим стариком.

У Фрола глаза полезли на лоб.

— Убил?!

— Сперва поманила, дура, потом орать начала... Старик где-то подслушивал. Прибежал с топором. Может, уговорились раньше... Сами, наверно, убить хотели.

— Зачем?

— Не знаю. — Степан слегка все-таки щадил свою совесть. — Я так подумал. Повисла на руке... а этот с топором. Пришлось обоих...

— Бабу-то!.. Как же, Стенька?

— Ну, как?! — обозлился Степан. — Как мужика, так и бабу.

Бабу зарубить — большой грех. Можно зашибить кулаком, утопить... Но срубить саблей — грех. Как ребенка приспать. Оттого и мучился Степан, и молился, и злился. До сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем тяжелей была Степану его измена. Грех молодости может всплыть и навредить.

В раннюю рань к лагерю разинцев подскакали трое конных; караульный спросил, кто такие.

— Аль не узнал, Кондрат? — откликнулся один с коня.

— Тю!.. Фрол?

— Где батька?

— А вон в шатре.

Фрол тронул коня... Трое верхних стали осторожно пробираться между спящими, направляясь к шатру.

Кондрат постоял, посмотрел вслед им... И вдруг его резануло какое-то недоброе предчувствие.

— Фрол! — окликнул он. — А ну, погодь.

— Чего? — Фрол остановился, подождал Кондрата.

— Ты зачем до батьки?

— Письмо ему. С Украины, от Дорошенки.

— Покажь.

— Да ты что, Бог с тобой! Кондрат!..

— Покажь, — заупрямился Кондрат.

Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял его и пошел в шатер.

— Скажи: мне надо с им погутарить! — сказал Фрол.

— Скажу.

Кондрат вошел в шатер.

И почти сразу из шатра вышел Степан — босиком, в шароварах, взлохмаченный и припухший со сна и с тяжелого хмеля.

— Здорово, Фрол.

— Здорово, Степан...

— Чего не заходишь?

Смотрели друг на друга внимательно, напряженно.

— Письмо. От Петра Дорошенки.

— Ты заходи! Заходи — выпьем хоть... А то вишь я какой?

Фрол, умный, дальновидный Фрол, мучительно колебался.

— Не склоняется Петро...

Степан понимал, что происходит с Фролом, какие собаки рвут его сердце — Фрол боится, и боится показать, что боится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боится.

— Да шут с им, с Петром. Я и не надеялся шибко-то, ты же знаешь, — непринужденно сказал Степан. — Заходи, погутарим.

Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул глазами по сторонам: лагерь спал.

Степан отметил этот его настороженный волчий огляд.

— Я от Серка жду. От Ивана. Заходи, — еще сказал Степан и пошел в шатер. Шел нарочито беспечным шагом. Рознял вход, вошел в шатер. Не оглянулся.

Фрол остался на коне.

— Пронька, — тихо сказал он молодому казаку, — иди передом.

Пронька не понял. Смотрел на есаула.

— Иди! — сдавленным от волнения и злости голосом сказал Фрол. — А я погляжу...

Пронька слез с коня, пошел в шатер. Фрол остался на коне, стерег глазами вход.

Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: слышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему с перначом в руке. Обнаружив хитрость друга-врага, замер на мгновение... Выронил пернач. Но было поздно...

Фрол разворачивал коня.

— погоди, Фрол! — громко вскрикнул Степан. — Фрол!..

Фрол ударил коня плетью... Казак, который оставался на коне, тоже развернулся... Выбежавший на крик атамана Кондрат приложился было к ружью...

— Не надо, — сказал Степан. Подбежал к свободному коню, прыгнул.

И началась гонка.

...Вылетели из пределов лагеря, ударились в степь.

Конь под Степаном оказался молодой; помаленьку расстояние между двумя впереди и третьим сзади стало сокращаться. Видя это, казак Фрола отвалил в сторону — от беды.

— Фрол!.. Я же неоружный! — крикнул Степан.

Фрол оглянулся и подстегнул коня.

— Придержи, Фрол!.. Я погутарю с тобой! — еще крикнул Степан.

Фрол нахлестывал коня.

— В гробину твою! — выругался Степан. — Не уйдешь. Достану.

И тут случилось то, чего никак не ждал Степан: молодой конь его споткнулся. Степан перелетел через голову коня, ударился о землю...

Удар выхлестнул Степана из сознания. Впрочем, не то: пропало сознание происходящего здесь, сейчас, но пришло другое... Голову, как колоколом, накрыл оглушительный звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он увидел, как к нему идет его старший брат Иван. Подошел, склонился... Что-то спросил. Степан не слышал: все еще был сильный звон в голове. «Я не слышу тебя», — сказал Степан и своего голоса тоже не услышал. Иван что-то говорил ему, улыбался... Звон в голове поубавился.

— Братка, — сказал Степан, — ты как здесь? Тебя ж повесили.

— Ну и что? — спросил Иван, улыбаясь.

— Выходит, я к тебе попал? Зашиб меня конь-то?

— Ну!.. Тебя зашибить не так легко. Давай-ка будем подыматься...

— Не могу, сил нету.

— Эка! — все улыбался Иван. — Чтой-то раскис ты, брат мой любый. Ну-ка, держись мне за

шею... Держись крепче!

Степан обнял брата за шею и стал с трудом подниматься. Брат помогал ему.

— Во-от, — говорил он ласково, — вот и подыдемся...

— Как же ты пришел-то ко мне? — все не понимал Степан. — Тебя же повесили. Я же сам видал...

— Будет тебе: повесили, повесили! — рассердился Иван. — Стой вот! Стоишь?

— Стою.

— Смотри... Стой крепче!

— Ты мне скажи чего-нибудь. А то уйдешь...

Иван засмеялся:

— Держись знай. Не падай... — И ушел.

А Степан остался стоять... Его придерживал под руки Фрол Минаев. Степан долго смотрел ему в глаза. Не верилось, что это Фрол вернулся. Фрол выдержал близкий, замутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулся.

— Живой? Я уж думал, зашиб он тебя.

— А где?.. — хриловато начал было Степан. И замолчал. Он хотел спросить: «А где брат Иван?» — Ты как здесь?

— Сядь, — велел Фрол. — Посиди — ослабел...

Степан бережно, с помощью Фрола, сел на сырую землю. Фрол сел рядом.

Ослабел атаман, правда. Сознание подплывало; степь перед глазами вдруг вспучивалась и качалась. Тошнило. И звон в ушах опять закипал, и молоточки били в голову так больно, что надо было зажмуриваться.

Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял сильными пальцами со дна ее горсть земли, посырее, подал Степану:

— На, поприкладывай ко лбу — она холодная, может, легче станет.

Степан приложил горсть земли ко лбу... Земля пахла погребом и травой. Молодой зеленой травкой. Степан уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вроде прояснилось. И боль вроде потухла. И даже какая-то далекая, забытая радость шевельнулась под сердцем — живой, жив. Согрела радость.

— Пахнет, — сказал Степан. — Ишь ты...

Фрол взял тоже горстку земли, понюхал.

— Корешками гнилыми.

— Травкой, — поправил Степан.

Фрол еще понюхал, бросил землю, вытер ладонь об штанину.

— Может, травкой, — согласился.

Степан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, глубоко, со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, не то с каким-то скрытым значением:

— Травкой пахнет, травкой. — Помолчал. — Тебя все на гниль тянет, а пахнет — травкой. Не спорь со мной.

Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничего не сказал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс, под правую руку.

— Фрол, — заговорил Степан уже в полном сознании, напирая, по обыкновению, на слова, — ты не побоялся вернуться, не побойся сказать прямо: почему отвалил от меня?

— Ты хоть очухайся сперва... Потом уж за дела берись. Небось круги ишо в глазах-то.

— Я очухался. Не веришь в мою затею?

— А какая твоя затея? Я не знаю...

— Знаешь. Не хитри. Не веришь?

Фрол помолчал.

— В затею твою я верю, — сказал он. — Только затея-то твоя землей вот пахнет. — Он опять взял горстку земли, помял в пальцах. — Может, она и травкой пахнет, но я туда завсегда успею. Торопиться не буду. — Фрол ссыпал землю в ямку. — Еслив можешь меня без злости послушать, послушай...

— Валяй. Не буду злиться.

— Наберись терпения — послушай. Из твоих оглоедов тебе этого никто не скажет.

— Скоро же ты отрекся от нас! — удивился Степан. — Уж и — оглоеды!

— Ну... отрекся не отрекся — мне с вами не по дороге. Вот, слушай. Ты же умный, Степан, как ты башкой своей не можешь понять: не одолеть тебе целый народ, Русь...

— Народ со мной пойдет: не сладко ему на Руси-то.

— Да не пойдет он с тобой! — Фрол искренне взволновался. — Дура ты сырая!.. Ты оглянись — кто за тобой идет-то! Рванина — пограбить да погулять, и вся радость. Куда ты с имя? Под Танбовом завязнешь... Худо-бедно им с царем да с помещником — все же они на земле там сидят...

— Они не сидят на земле. Они на карачках стоят.

— Даже и на карачках, а все потревожить надо — на войну гнать. С какой такой радости мужик на войну побежит? Ты по этим гонисся, какие с тобой? Этим терять нечего, они уж все потеряли. А те... Нет, Степан, не пойдут. Ты им — журавля в небе, а им — синица в руке

дороже. За журавля-то, может, голову сложить надо, а синица — в руке, хошь и маленькая. Все же он ее держит. Ведь ты как ему будешь говорить, мужику: «Выпускай синицу, журавля добудем!» Это надо твоим словам уж так верить, так верить... Отцу родному так не верют, как тебе надо верить, чтоб выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это ж надо, чтоб они семьи свои побросали, детишек, жен, матерей... И за тобой бы пошли. Не пойдут!

— Так... Все сказал?

— Ну, считай, все. Я могу день говорить — все про то же: не пойдут за тобой.

— А на меня пойдут?

— На тебя пойдут. Поднимут их — пойдут.

— За царя пойдут, а за мной — нет. Чем же им царь дороже?

— Он им не дороже, а... как тебе сказать, не знаю... Не дороже, а привыкли они так, что ли, хрен их знает. Ты им — непонятно кто, атаман, а там — царь. Они с материнным молоком всосали: царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили, что надо слушаться — атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает — царя.

Степан сердито сплюнул.

— Может, ты бы и говорил целый день, Фрол... Может, я бы тебя и слушал — вроде говоришь человеческие слова, но сам-то ты, Фрол, подневольная душа. Это ты с молоком всосал — нельзя на царя подняться. Ты ишо на руках у матери сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебя мысли, хоть они кажутся верными. Они — верные, но они подневольные. А других ты не знаешь. Чего же я буду выколачивать их из тебя, еслив их нету? На кой черт я гоняюсь-то за тобой?

— Не знаю, чего ты гоняисся.

— Я других с собой подбиваю — вольных людей. Ты думаешь, их нету на Руси, а я думаю — есть. Вот тут наша с тобой развилка. Хорошо, что честно все сказал: я теперь буду спокойный. Теперь я тебя не трону: нет на тебя зла. И не страшись ты теперь меня... Вы мне — не опасные. Встретисся на бою — зарублю, как собаку. А так — живи. Не пойму я только, Фрол: чем же уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь? Поганая ведь такая жизнь! Чего ее беречь, суку, еслив она то и дело раньше смерти от страха обмирает? Чего уж так жалко бросать? С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чего так вцепился-то? Не было тебя... И не будет. А народился — и давай трястись: как бы не сгинуть! Тьфу!.. Ну — сгинешь, чего тут изменится-то?

— Степан, ты молодым богу верил...

— Не верил я ему никогда!

— Врешь! Я видел, как ты в Соловках лбом колотился. Даже я меньше верил...

— Ну, может, верил. Ну и что?

— Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылела, но грех ведь других-то на убой манить. О себе только думаешь, а на других тебе... Иди вон в Дон кидайся, еслив жить надоело. На кой же других-то подбивать? Немудрено голову сломить, Степан, мудрено приставить. Я хоть тоже

не шибко верую, но тут уж дурак поймет — грех. Перед людьми грех — заведешь и погубишь. Перед людьми, не перед богом, перед теми самими, какие пойдут за тобой...

— Такие, как ты, не пойдут.

— Пойдут — ты умеешь, заманишь. У тебя... чары, как у ведьмы, — ийтиль за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон насили вывернулся... отрезвел. Знамо, это все оттого, что самому тебе недорого жизнь. Я понимаю. Это такая сладкая отравка, хуже вина. Я же тоже не бегал ни от татар, ни от турка, ни от шаховых людей... Но там я как-то... свою корысть, что ли, знал или... Да нет, тоже не то говорю — я не жадный. Но ведь там-то не боялся я, ты же знаешь...

— Там... Я знаю: там — это как собаки: перегрызлись и разбежались. Там ума большого не надо.

— Но там же тоже убивают. Ты говоришь: я больше всего смерти страшусь...

— Может, не страшися. Только тебе — за рухлядь какую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за волю — жалко, тебе кажется, за волю — это псу под хвост. Вот я и говорю — подневольный ты. По-другому ты думать не будешь, и зря я тут с тобой время трачу. А мне, еслив ты меня спросишь, всего на свете воля дороже. — Степан прямо посмотрел в глаза Фролу. — Веришь, нет: мне за людей совестно, что они измывательство над собой терпят. То жалко их, а то — прямо избил бы всех в кровь, дураков. Вот. Сгинь с глаз моих, Фрол: опять тебя ненавидеть стал. Сгинь! Раз уж сказал, не трону — не трону. Но — уходи.

Фрол поднялся, пошел к коню.

Степан тоже встал.

— Гады вы ползучие! — крикнул Степан. — Я тебе душу открыл тут... Дурак я! Ехай! Ублажай свою жизнь-дорогушу! Поганка. — Степана шатнуло от слабости... Он опустил голову, стиснул зубы и стал смотреть вниз, в землю.

Фрол вскочил на коня, крутнулся...

Прикинул, опасаться нечего — конь Степана далеко, сказал спокойно:

— От поганки слышу. Иди к своим любезным свистунам, они ждут не дождутся. На тем свете свидимся, только я туда попозже явлюсь.

Степан посмотрел на есаула... И все-таки не нашел бы он сейчас в себе желания убить его, даже если бы догнал и совладал безоружный с оружным, — не было желания. Странно, что не было, но так.

Фрол развернулся и поскакал прочь.

Степан пошел к своему молодому коню. Меринок виновато вскинул голову, скосил опасливый глаз, переступил ногами...

— Не бойся, дурашка, — ласково заговорил Степан. — Не бойся.

Почуввав доброе в голосе человека, конь остался стоять. Степан обнял его, поцеловал в лоб, в шею, в глаза, бесконечно добрые, терпеливые.

— Прости меня... Прости, ради Христа. — За что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь

просить прощения.

Конь дергал головой, стриг ушами.

— Прости!.. — сказал еще Степан.

Потом шли рядом — конь и человек. Голова к голове. Долго шли, медленно шли, точно выходили на берег из мутной, вязкой воды.

Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры.

5

Сразу, как Степан ускакал за Фролом, Кондрат разбудил Ивана Черноярца, и тот, плохо соображая, что к чему, не седлая коня, погнался вслед атаману. С ним увязалось еще десятка два казаков — те и подавно не знали, куда надо, зачем? Успели понять только: где-то в степи атаман. Один. Однако степь — большая: не нашли атамана. Вернулись.

Встретились недалеко от лагеря.

— Эк вас повскакало! — насмешливо воскликнул Степан. — На одного-то Фрола?

— Ушел, что ли? — спросил Иван.

— Ушел.

— А чего он приезжал-то?

— Письмо привез от Петра Дорошенки. Поехали вычтем... поганое письмо.

— Ты... уж читал, что ль? Как знаешь, что поганое?

— Я Петра знаю, не письмо. Петра самого знаю. Да другое Фрол бы и не привез. Он привез как раз такое... поганое... С коня я упал, Ваня, — неожиданно признался Степан. Им овладело какое-то странное хорошее чувство — легко сделалось на душе, легко, даже смешно было сказать, что — вот, такое дело: упал с коня. — Первый раз в жизни.

В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо гетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднялся навстречу ему с письмом.

— Слыхал, от Дорошенки... Как он там? К нам не склоняется?

Степан взял письмо, вчитался... Молча изодрал его, бросил на землю. Постоял, глядя вниз, вздохнул со стоном, горько и начал вдруг стегать плетью клочки письма. Стегал и скрипел зубами. Все молчали.

Степан отвел душу, прошел к лежаку, сел. Долго тоже молчал. Легкость враз ушла, точно опять в воду столкнули, в зеленую, вязкую, и он весь ухнул.

— Царем пужает Петро, — сказал он. — Ты хотел знать, Стырь, как там Петро Дорошенко?

— Я. Да всем охота...

— Вот, царем пужает. Зря, мол, поднялись — не надо... страшно, говорит. Не советует. Вот, знай, еслив охота.

— Напужал бабу... — заговорил было Стырь, но атаман сбил его, не дал говорить.

— Ой, храбрый какой!.. — Он прищурил глаза на деда. — Гляньте-ка на его — царя не боится! А я вот боюсь! Что?

— Ничего. Надо было дома сидеть, раз боисся. — Стырь не хотел видеть, что Степан накипает мутью, не хотел показать, что его страшит гнев атамана, — иногда это помогало остановить грозу.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Ну, ну?

— А как же? Кто боится, тот остался да дома посиживает. Фрол вон... не поперся же с нами, потому как рассудил: лучше ее дома дожидаться, чем на стороне искать...

Степан уставился на Стыря.

Василий Ус впервые воочию наблюдал «хворь» атамана Разина — начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой странности Стеньки еще раньше.

— Боюсь! — рявкнул Степан. — Вот и говорю: боюсь! Какой ишо выискался!.. Еслив ты не боисся, так и все тепер не боись? И где ты вырос такой! Тебя никогда, что ли, не пужали маленького букой?

— Я б сам кого хошь напужал, — искренне сказал Стырь. — Страшенький был с малолетства, соплями исходил...

— Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас всех бабки глупые запужали с малых лет букой, мы и трясемся всю жизнь. И Петро вон пужает — гляди, мол! Сам, видно, тоже трясется... А царь — радешенек: бояться все! Сиди себе, побалтывай ножками. Ни заботушки... — Степан рывком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. Широкое лицо его исказилось от боли и злости. — А чего?! Хэх!.. Дай вина, Иван! — почти крикнул. Остановился, ожидая, что будет — одолеет его злость или он одолеет ее. Он хотел одолеть, не хотел никуда убегать, кататься по земле... Он стиснул зубы и ждал. — Иван!.. — с мольбой проговорил он, не разжимая зубов. — За смертью посылать!.. Несут, что ль?

— Несут, несут.

Степан выпил при общем молчании. Сел опять на лежак. Дышал тяжело, смотрел вниз... Ждал. И все ждали. Похоже, он все-таки переломил себя — не будет по земле кататься. Он поднял голову, нашел глазами Матвея Иванова.

— Ты вот, Матвей, на царя зовешь... А ведь он крутенок, царь-то. Он вон в Коломенском лет пять назад сразу десять тыщ положил... москалей своих. Да потом ишо две тыщи колесовал и повесил. Малолеткам уши резал...

— Не всем, — встрял Матвей. — Поменьше которым — от двенадцати до четырнадцати годов — только по одному уху срезал. Зачем же напраслину возводишь?

— Ну, на то и милость царская! А ты на царя зовешь...

— Кого я на царя зову?! — воскликнул Матвей.

— Зове-ешь, не отпирайся. Нас с Родионом подбиваешь. А война — дело худое, Матвей. Зачем же нас на грех толкаешь? Замордовали? Так царя попросить можно, а не ходить на его с войной. Тоже, додумался! Вот и пойдем просить. Скажем: бояры твои вконец замордовали мужика. Заступись. Хошь поглядеть, как мы просить будем?

— Как это? — не понял умный Матвей.

— А так. Я просить буду, а Стырь вон — царя из себя скорчит. Он умеет. Стырь!.. Валяй на престол, я скоро приду с Дона просить тебя. Всех собери — пускай все глядят.

Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, понял все с полуслова. Вышел из шатра.

— Выпьем на дорожку! — распорядился Степан. — Пойдем царя-батюшку просить. Вольности Дону пойдем просить... какие раньше были.

— С мужика начали, а вольности — Дону пойдем просить, — вставил опять Матвей. — Как же так?

— А вы — поглядите, попрικиньте сперва... Потом уж — охотка не пройдет — сами шлепайте. А мы будем просить, чтоб старшину нашу не покупал, она у нас вся продажная. Курва на курве сидит... Всем хорошо одеться! Все чтоб сияли, как бараньи лбы, — к царю идем! Эх и сходим же!..

Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться бесполезно. И опасно. Да и поглядеть интересно, как будут «просить царя». Черноярец скосоротился было, но промолчал, пошел тоже одеваться.

Стырь тем временем сооружал «престол». На этот раз он восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собрался смотреть «прошение». Для «казаков с Дона» оставили неширокий проход; перед арбой — просторный круг.

Стырь, все приготовив, стал поглядывать в проход, проявляя суетливость и нетерпение.

— Казаков не видать?

— Нет пока.

— Чего они?.. Чухаются там! Пьют небось, кобели.

Но вот закричали:

— Казаки идут! Казаки идут!..

Стырь сел, скрестил по-татарски ноги. Подбоченился.

Разин шел впереди своей группы. Был он одет, как и все с ним «просители», — богато, глаза блестели жутковатым веселым блеском.

— С Дону? — вылетел первый с языком Стырь.

— Не прыгай! — велел Степан. — Он же — великий князь всея, всея... У его бабу патриарх

благословил в мыленке, он и то важный остался. А ты прыгаешь, как блоха. — Разин положил свой пернач на землю. — Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! — Разин говорил громко — всем. — До тебя были вольности! А ты отбираешь!..

— Сиухи хошь? — спросил Стырь. — С дороги-то...

— Я воли прошу, а не сиухи!

— Какой тебе воли?! — вскинулся Стырь. — А хрен в зубы не надо? Воли он захотел!..

— Как же нам без воли?

— Какой тебе воли надо?

— Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять помещникам...

— Хрен! — Стырь все торопился, все суетился и не хотел даже смотреть на казаков.

— Дай сказать-то! — обозлился Степан. — Да на меня гляди-то, на меня. Что ты, как коза брянская, все вверх смотришь? На меня!

— Ну.

— Не помыкай нами, еслив хлеб на Дон посылаешь...

— Так.

— Тюрем настроил, курва! Как чуть чего — так в тюрьму!

— Как ты сказал? Курва?

Степан упал на колени.

— Прости, князь великий! Вылетело...

— Срежу язык-то! Вылетело. Какие ишо жалобы на бояров?

— Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужика? — спросил Матвей Иванов. — Был хоть выход.

— Плетей! — велел Стырь, показав на Матвея.

«Приближенные царя» схватили Матвея и раза три всерьез жогнули плетью.

— Какие жалобы, казак? — повернулся Стырь опять к Степану. Степан все стоял перед ним на карачках, покорно ждал.

— Пошто — как войне быть на Дону или миру — мы не вольны сами решить? Мы хотим решать сами, как нам любо, а как нет.

Стырь молчал; он не знал, как огорошить с войной.

— Нас на войну шлешь!.. — закричал с колен Разин. — Сам затеваешь, а нас шлешь! Куда хочешь, туда и шлешь, мы не смей пикнуть! Мы не слуги тебе! Не стрельцы!.. Курва ты

великая, а не князь великий! — Степан поднялся в рост.

— Плетей! — тоже заорал Стырь. И тоже вскочил.

«Приближенные» бросились к Разину...

— Стой! — остановил их Стырь. И полез с арбы. — Я прокачусь на ем. На Дону, говорят, жеребцы славные — спробую.

Степан смиренно опустилсся опять на четвереньки.

— Седло! — распорядился Стырь. — А то я ишо свою царскую собью...

На Разина накинули седло. Он молчал. Стырь сел на него.

— Ну-ка, прокати царя!..

— Куда, великий? Куда, князь всея, всея?..

— За волей... Где она? Я сам не знаю...

Разин громко заржал и поскакал по кругу.

— Э-эх! — орал Стырь. — За волей казакам поехали! Их-ха!

Степан опять заржал, да громко, умело.

— Ну, как воля, казак? Узнал волю?

— Нет ишо. — Степан остановился. — Слазь.

— Я ишо хочу...

— Слазь!

Стырь слез.

Степан опять упал на колени.

— Спасибо, царь-государь, теперь узнали мы до конца твою волю. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
— Степан трижды стукнулся лбом об землю. — Теперь отпусти нас на Дон — погуляем мы за твою волюшку. Отпускай нас.

— Отпускаю. Меня возьмите с собой на Дон — я тоже погуляю с вами.

— Шиш! Гуляй, братцы! Царь показал, какая будет его воля! Запивай ее, чтоб с души не воротило!..

И загуляли нешуточно. Весь день «запивали волю цареву», усердствовали. Усердствовал и сам атаман. Пил, обнимал Семку Резаного, Матвея Иванова, плакал... Потом свалился и уснул.

— Ну, хоть так, — сказал Иван Черноярец. — Выспится хоть... Бери за руки, за ноги — унесем спать. Кончай гульбу! Федор, Ларька, кто там?.. Вали по рядам, бейте кувшины. Батька велел, мол!

Матвей Иванов, когда Степана раздели и уложили на лежак, остановился над ним, долго всматривался в бледное рябое лицо атамана.

— Вот вам и грозный атаман! Весь вышел. Эх, дите ты, дите... И нагневался, и наигрался, и напился — все сразу.

— Ты, на всякий случай, не лезь-ка ему под горячую руку, этому дитю, — посоветовал Иван. — А то она у его... скорая: глазом не успеешь моргнуть.

— Может, — согласился Матвей. И пошел из шатра. — Пойтить другого заступника поискать... Тоже где-нибудь землю бодает.

— Кого это? — спросил Черноярец.

— Василья Родионыча мово.

6

К Волге вышли глядя на ночь. (В версте выше Царицына.)

Начали спускать на воду струги и лодки. Удобное место спуска указал бежавший из Царицына посадский человек Степан Дружинкин. Он же советовал атаманам, Разину и Усу:

— Вы теперича так: один кто-нибудь рекой пусть сплывет, другой — конями, берегом... И потихоньку и окружите город-то. Утром они проснутся, голубки, а они окруженные, ххэх... — Дружинкин не мог скрыть радости, охватившей его. — Стены, ворота — они, конечно, крепкие. Да надолго ли! Кто их держать-то шибко будет?..

— Воеводой кто сидит? — спросил Степан. — Андрей?

— Тимофей Тургенев. На своих стрельцов, какие в городе, у его надежа плохая, он сверху других ждет. Да когда они будут-то! Они пока без признака...

— Много ждет?

— С тыщу, говорят. С Иваном Лопатиным идут. Надо бы, конечно, до их в городок-то войтить. Ах, славно было бы, Степан ты наш Тимофеич, надежа ты наша!.. Отмстились бы мы тада!..

— Родионыч, поплывешь со стругами, — велел Степан. — Я с конными и с пешими. Шуму никакого не делай. Придешь, станешь, пошли мне сказать.

— Ладно, — сказал Ус. И пошел к месту, где сволакивали на воду струги. Все же тяготило его подначальное положение, не привык он так. Однако — терпел.

Когда стало совсем темно, двинулись без шума к Царицыну водой и сушей.

Утром, проснувшись, царицынцы действительно обнаружили, что они надежно окружены с суши и с воды.

Воевода Тимофей Тургенев и с ним человек десять стрельцов (голова и сотники, да прислуга, да племянник, да несколько человек жильцов) смотрели с городской деревянной стены, как располагается вдоль стен лагерь Разина.

— Сколь так на глаз? — спросил воевода у головы.

— Тыщ с семь, а то и боле.

Воевода вздохнул.

— Неделю не продержимся... Пропали наши головушки!

В городе гудел набат.

Степан, Ус, Федька Шелудяк, Сукнин, Черноярец, Ларька Тимофеев, Фрол Разин, Матвей Иванов — эти внизу тоже оценивали обстановку.

— Ну? — спросил Степан. — Какие думы, атаманы?

— Братъ, — сказал Шелудяк, — чего на его любоваться-то.

— Братъ?.. Братъ-то братъ, а как?

— Приступом! Навяжем лестниц, дождем ночки — и с Иисусом Христом!..

— Иисус что, мастак города братъ? — спросил Ус.

— А как же! Он наверху — ему все видать, — отрезал занозистый Шелудяк.

— Хватит зубатиться, — оборвал Степан. — Родионыч, Иван, какие думы?

— Подождать пока, — сказал Иван Черноярец. — Надо как-нибудь в сговор с жильцами войтить.

— Умное слово, — поддержал Матвей Иванов. — Стены стенами, да ведь и их оборонять надобно. А есть ли у их там такая охота? Оборонять-то. А и есть, так...

Подъехал казак, доложил:

— Царицынцы, пятеро, желают Степана Тимофеича видать.

— Давай их.

Подошли пять человек посадских с Царицына.

— Как же вышли? — спросил Степан.

— А мы до вас ишо... Вчерась днем, вроде рыбачить уплыли, да и остались... Нас Стенька Дружинкин упредил. Поговорить к тебе пришли, атаман.

— Ну, давайте.

Стырь с оравой зубоскалов переругивался с царицынскими стрельцами. Те скучились на стене, подальше от начальных людей, с большим интересом разглядывали разинцев.

— Что, мясники, тоскливо небось торчать там? Хошь, загадку загадаю? — спросил Стырь. — Отгадаешь, будешь умница.

— Загадай, старый, загадай, — откликнулись со стены.

Сидит утка на плоту,

Хвалится казаку:

Никто мимо меня не пройдет:

Ни царь, ни царица,

Ни красная девица!

— Отгадаешь, свою судьбу узнаешь.

— То, дед, не загадка. Вот я тебе загадаю:

Идут лесом,

Поют куролесом,

Несут деревянный пирог

С мясом.

— Стрельца несут хоронить! — отгадал Стырь.

Казаки заржали.

Стырь разохотился:

— А вот — отгадай. Отгадаешь, узнаешь мою тайную про тебя думу.

Поймал я коровку

В темных лесах;

Повел я коровку

Нимо Лобкова,

Нимо Бровкова,

Нимо Глазкова,

Нимо Носкова,

Нимо Щечкова,

Нимо Ушкова,

Нимо Роткова,

Нимо Губкова,

Нимо Ускова,

Нимо Бородкова,

Нимо Шейкова,

Нимо Грудкова,

Нимо Ручкова,

Нимо Плечикова;

Привел я коровку

На Ноготково,

Тут я коровку-то

И убил.

Кто будет?

— Скажите в городе, — наказывал Степан пятерым царицынцам, — войско, какое сверху ждут, идет, чтоб всех царицынцев изрубить. А я пришел, чтоб отстоять город. Воевода ваш — изменник, он стоворился со стрельцами... Он боится, что вы ко мне шатнетесь, и хочет вас всех истребить, для того и стрельцов ждет; у их тайный уговор, мы от их гонца перехватили с письмом.

Пятеро поклонились.

— Передадим, батюшка, все как есть. И про воеводу скажем.

— Скажите. Пусть дураками не будут. Не меня надо бояться, а воеводу. Чего меня-то бояться? Я — свой... чего я сделаю?

Пятеро ушли.

Степан позвал Уса:

— Родионыч!..

Ус подошел.

— Останисся здесь. Стой, зря не рыпайся. Я поеду едисан трягну. За ими должок один есть... И скота пригоню: можа, долго стоять доведется, жрать нечего. Гулять не давай. Не прохлаждайтесь. Караул все время держи. Иван, Федька Шелудяк со мной поедут. А в городе, смотри, чтоб не знали, что я отъехал. Караул держи строго.

— Не долго там.

— Скоро. Они в один перегон отсюда, я знаю где.

Ночью Степан во главе отряда человек в триста, конные, тихо отбыл в направлении большого стойбища едисанских татар. Должок не должок — у атамана с ними дела давние, — а жрать скоро нечего, правда; надо думать об этом.

На другое утро в лагерь к Усу явилась делегация от жителей города. Двое из тех, что вчера были. Всех — девять человек.

— Батька-атаман, вели выходить из города воду брать. У нас детишки там... Какой запаслись,

вышла, а они просят. Скотина ревет голодная, пастись надо выгонять...

— А чего ко мне-то пришли? — спросил Ус.

— К кому же больше?

— А как вышли?

— Воевода выпустил под залог — у нас там детишки... А выпустил, чтоб с тобой уговориться — по воду ходить. Детишки там, батька-атаман.

— Скажите воеводе, чтоб отпер город. А заартачится, возьмите да сами замки сбейте. Мы вам худа не сделаем.

— Не велит, поди. Воевода-то...

— А вы — колом его по башке, он сговорчивый станет. С воеводами только так и надо разговаривать — они тада все враз понимают.

— Мы уж и то кумекаем там... По совести, для того и пришли-то — разузнать хорошенько, — признался старший. — Вы уж не подведите тада. Мы там шушок пустили: стрельцы-то, мол, на нас идут, ну — задумались... Вы уж тоже тут не оплошайте...

— Идите и делайте свое дело. Мы свое сделаем.

— Народишко-то, по правде сказать, к вам приклониться желает. А чего ж Степана Тимофеича не видать? Где он?

— Он на стружках, — ответил Федор Сукнин.

Жители ушли, еще попросив напоследок, что «вы уж тут... это...».

— Всех есаулов ко мне! — распорядился Ус. — Быть наготове. Начинайте шевелиться — вроде готовимся к приступу: пусть они стрельцов своих на стены загонют. Пусть сами тоже суда глядят, а не назад. Двигайте пушки, заряжайтесь... Шевелись, ребятушки! Глядишь, даром городок возьмем!

Задвигался лагерь. Пошли орать бестолково и двигаться и с тревогой смотрели на стену. Таскали туда-сюда пушки, махали прапорами... И с надеждой смотрели на стену и на въезжие ворота. На стене ладились к бою стрельцы.

Ждал Ус с есаулами: они стояли возле коней, чуть в стороне от угрожающего гвалта. Василий Родионыч то ли вздыхал тихо, то ли тихо матерился, глядя на тяжелые въезжие ворота.

Долго ждали.

Вдруг за воротами возникла возня, слышались крики... Дважды или трижды выстрелили. Потом зазвучали тяжкие лязгающие удары железа по железу — похоже, сбивали кувалдой замки. Шум и крики за стеной усилились; выстрелы — далеко и близко — захлопали чаще. Но кувалда била и била в затворы.

Казак с воем бросился к воротам. Перед носом у них ворота распахнулись...

Казак ворвался в город.

Царицынцы встречали казаков, как братьев, обнимались, чмокались, тут же зазывали в гости. Помнили еще то гостеванье казаков, осеннее. Тогда поглянулось — хорошо погуляли, походили по улицам вольно, гордо... Люди это долго помнят.

Казачье войско прогрянуло по главной улице города и растекалось теперь по переулкам... Кое-где в домах уже вскрикивал и смеялся Праздник.

Ус сидел в приказной избе, распоряжался, перетряхивал судьбы горожан и служивых людей.

Ему доложили:

— Воевода с племянником, прислуга его, трое жильцов да восемь стрельцов заперлись в башне городской стены.

— Стеречь их там дороже глаз, — велел Ус. — Скоро пойдем к им.

— Поп до тебя, Василий Родионыч, — снова вошел в избу казак.

— Чего ему? — удивился Ус.

— Не сказывает. Атаману, говорит, скажу.

— Давай.

В избу вошел тот самый поп, у которого Степан грозился в храме отрезать космы. Вошел — широкий, гулкий.

— Как зовут? — спросил Ус. — Чего ты до меня?

— Где же атаман-то? — громыхнул поп, как в бочку.

— Я атаман. Что, оглазел? — обиделся Ус.

— Ты, можа, и атаман, только мне надобно наиглавного, Разю, — высокомерно сказал поп.

— Зачем?

— Хочу послужить православному воинству во славу свободного Исуса Христа.

— Молодец! — сердечно похвалил его Ус. — Поп, а смикитил. Как зовут?

— Авраам. А ты кто?

— Ктокало, — ответил Ус со смехом. — Пойдем пить.

7

Вылазка Разина к едисанским татарам была успешной.

Назад казаки гнали перед собой вскачь огромное стадо коров, овец, малолеток лошадей.

Рев и гул разносился далеко вокруг. Казаки орали... Очумелые от бешеной гонки животные шарахались в стороны, кидались на всадников. Свистели бичи. Клубилась пыль.

Степан с Федькой и с Иваном ехали несколько в стороне. Запыленные — ни глаз, ни рожи.

К ним подскакали нарочные из Царицына... Что-то сказали Степану. Тот радостно сверкнул зубами и во весь опор понесся вперед, к Царицыну. За ним увязался Федька Шелудяк. Иван Черноярец остался с табуном.

Ликующий, праздничный звон колоколов всех церквей города оглушил Разина. Это случилось как-то само собой — высыпали встречать атамана.

Народ и казаки стояли вдоль улицы, которой он шел. Стояли без шапок; ближние кланялись в пояс.

Навстречу атаману от приказной избы двинулась толпа горожан — с хлебом-солью. Во главе — отец Авраам.

Степан, хоть весь был грязный, шел степенно, гордо глядя перед собой: первый царев город на его мятежном пути стал на колени. Славно!

Отец Авраам низко поклонился.

— Здорово, отче! — узнал его Степан. — Как Микола поживает? Ах, мерин ты, мерин... — Степан засмеялся. — Ишь, важный какой!..

Поп, видно, заготовил что сказать, но сбился от таких неуместных слов атамана. Обозлился.

— Поживает... Ты чего зубы-то скалишь?

— Где воевода? — спросил Степан.

Степану поднесли в это время хлеб-соль. На караване стояла чара с водкой, солонка. Он выпил чару, крикнул, отломил от каравая, обмакнул в солонку, заел. Вытер ладошкой усы и бороду.

— Где воевода? — опять спросил он.

— В башне заперся.

— Много с им?

— С двадцать.

— А Васька где?.. Я не вижу его.

— Васька... — Ларька Тимофеев показал рукой: — До сшибачки. — И еще он сказал весело: — Стрельцы покляли оружие. Мы их пока всех в церкву заперли.

— Пошли воеводу брать, — распорядился Степан. — Нечего ему там сидеть, его место в Волге, а не в башне. Все бы в башнях-то отсиживались! Хитрый Митрий.

Двинулись к городской стене, к башне, где закрылся воевода со своими людьми.

Появилось откуда-то бревно. С ходу ударили тем бревном в тяжелую дверь... Сверху, из бойниц башни, засверкали огоньки, затрещали ружья и пистолы. Несколько человек упало, остальные, бросив бревно, отбежали назад.

— Неси ишо бревно! — приказал Степан. — Делайте крышку.

Приволокли большое бревно и стали сооружать над ним — на стойках — двускатный навес (крышку) из толстых плах. Крышку потом обили потниками (войлоком) в несколько рядов, потники хорошо смочили водой. Таран был готов.

— Изменники государевы!.. — кричали из башни. — Он ведь узнает, государь-то, все узнает! Мы послали к царю-то, послали!

— Это вы изменники! — кричали осаждающие царицынцы. — Государь на то вас поставил, чтоб нас мучить? Царь-то за нас душой изболел, батюшка. Ему самому, сердешному, от вас житья нету! Марью Ильинишну извели, голубушку! Царевичей извели!.. От такие же вот живоглоты! — Тургенев был прислан из Москвы недавно, но успел опротиветь царицынцам.

— Все на колу будете! — кричали осажденные. — С ворами вместе! Бога побойтесь, Бога!..

— Кого послушали?! Стеньку, первого вора и разбойника! — крикнул сам воевода Тургенев. — Одумайтесь, вам говорят!

Степан смотрел на башню, шурился. Ему поднесли еще чару. Он выпил, бросил чару, засучил рукава! Глянул на башню... Махнул рукой, подскочил к бревну...

Таран подняли, разбежались, ударили в ворота. Кованая дверь погнулась. Еще ударили, еще...

Сверху стреляли, бросали смоляные факелы, но осаждающих надежно прикрывал навес. Бревном били и били.

Дверь раз за разом подавалась больше. И наконец совсем слетела с петель и рухнула внутрь башни. Федька Шелудяк с Ларькой Тимофеевым ворвались туда, за ними остальные.

Короткая стрельба, крики, возня... И все кончено. Успокоились.

Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из башни. Подвели всех к Степану.

— Ты кричал «вор»? — спросил Степан.

Тимофей Тургенев гордо и зло приосанился.

— Я с тобой, разбойником, говорить не желаю! А вы изменники!.. — крикнул он, обращаясь к стрельцам и горожанам. — Куда смотрите?! К вору склонились!.. Он дурачит вас, этот ваш батюшка. Вот ему, в мерзкую его рожу! — Тимофей плюнул в атамана. Плевком угодил на полу атаманова кафтана. Воеводу сшибли с ног и принялись бить. Степан подошел к нему, подставил полу с плевком. Он был бледный и говорил тихо:

— Слизывай языком.

Воевода еще плюнул.

Степан пнул его в лицо. Но бить другим не дал. Постоял, жуткий, над поверженным воеводой... Наступил сапогом ему на лицо — больше не знал, как унять гнев. Вынул саблю... но раздумал. Сказал осевшим голосом:

— В воду. Всех!

Воеводу подняли... Он плохо держался на ногах. Его поддержали.

Накинули каждому петлю на шею и потянули к Волге.

— Бегом! — крикнул Степан. Чуть пробежал вслед понурому шествию и остановился. Саблю еще держал в руке. — Бего-ом!

Приговоренных стали подкалывать сзади пиками. Они побежали. И так скрылись в улице за народом. Народ молча смотрел на все. Да, видно, Тимофей Тургенев за свое короткое воеводство успел насолить царицынцам. Вообще поняли люди: отныне будет так — бить будут бояр. Знать, это царю так угодно. Иначе даже и сам Стенька Разин не решился бы на такое.

Только один нашелся из всех — с жалостью и смелостью: отец Авраам.

— Батка-атаман, — сказал отец Авраам, — не велел бы мальчонку-то топить. Малой.

— Не твое дело, поп. Молчи, — сказал Степан.

Подошел Матвей Иванов. Тоже:

— А правда, Степан Тимофеич... Парнишку-то не надо бы...

— Молчи, — и ему велел Степан. — Где Родионыч?

— Дрыхнет Родионыч, где...

— Смотри лучше за атаманом своим. Зачем много пить дал?! Я не велел.

— А то вы послушаете! — горько воскликнул Матвей. — Не велел... А он взял да велел!

— Пошли гумаги приказные драть, — позвал Степан всех.

— Ох, Степан, Степан... Атаман! — дрогнувшим голосом вскрикнул вдруг Матвей. — Послушай меня, милый...

— Ну? — резко обернулся Степан. И нахмурился.

— Отпусти мальчика. Христом-богом молю, отпусти. — У Матвея в ясных серых глазах стояли слезы. — Отпусти невинную душу!..

Степан так же резко отвернулся и ушагал к приказной избе. За ним — его окружение.

Воеводу и всех, кто был с ним, загнали в воду, кого по грудь, кого по пояс — кололи пиками. Два казака так всадили свои пики, что не могли вытащить, дергали, ругались.

— Ты глянь! — как в чурбак какой...

— И эта завязла. Тьфу!..

Тела убитых сносило водой. Две пики так и остались торчать — бросили их. Некоторое время пики еще плыли стоймя. Чуть покачивались. И уходили все глубже. Потом исчезли под водой вовсе.

С берега на страшную эту картину смотрели потрясенные царицынцы. Многих, наверно, подавила, оглушила жестокая расправа. Молчали. Неужели же царь велел так? Что же будет?

...На площадь, перед приказной избой, сносили деловые бумаги приказа, сваливали в кучу. Образовался большой ворох.

— Все? — спросил Степан.

— Все.

— Поджигай.

Казак склонился к бумагам, высек кресалом огонь, поболтал трутом, чтоб он занялся огнем... И поднес жадный огонек к бумагам.

Скоро на площади горел большой веселый костер.

Степан задумчиво смотрел на огонь.

— Волга закрыта, — сказал он, ни к кому не обращаясь, раздумчиво. — Ключ в кармане... Куда сундук девать?

— Чего? — спросил Фролка, брат.

Степан не ответил.

8

— Волга закрыта, — сказал Степан. — Две дороги теперь: вверх и вниз. Думайте. Не торопитесь, крепко думайте.

Сидели в приказной избе. Вся «головка» разинского войска, и еще прибавились Пронька Шумливый, донской казак, да «воронежский сын боярский» Ивашка Кузьмин.

— Как ни решим, — чтоб не забыть потом: город укрепить надежно, — добавил Степан. — Вверх ли, вниз ли пойдём, — он теперь наш. Своих людишек посадим — править.

— Ийтить надо вверх, — сказал Ус.

На него посмотрели — ждали, что он объяснит, почему вверх. А он молчал, спокойно, несколько снисходительно смотрел на всех.

— Ты чего это с двух раз говорить принимаешься? — спросил Степан. — Пошто вверх, растолкуй.

— А пошто вниз? Тебя опять в шахову область тянет? — сразу почему-то ощетинился Ус.

— Пошел ты к курвиной матери с шахом вместе! — обозлился Степан. — Не проспался, так иди проспись.

— А на кой вниз? — не сдавался Ус. То ли он на ссору напрашивался. — Чего там делать?

— Там Астрахань!.. Ты к чужой жене ходил когда-нибудь?

— Случалось... Помоложе был, кобелил. — Ус коротко хохотнул.

— А не случалось так: ты к ей, а сзади — муж с топором? Нет? — Степан внимательно смотрел в глаза атамана, хотел понять: всерьез тот хочет ссоры или так кобенится?

— Так — нет; живой пока.

— Так будет, если мы Астрахань за спиной оставим.

— Ты-то вниз, что ли, наметил?

— Я не говорил. Я думаю. И вы тоже думайте. А то я один за всех отдувайся!.. — Степан опять вдруг чего-то разозлился. — Я б тоже так-то: помахал саблей да — гулять. Милое дело! Нет, орелики, думать будете! — Степан крепко постучал согнутым указательным пальцем. — Тут вам не шахова область, это правда. Я слухаю. Но ишо раз говорю вам: думайте башкой, а то нам их тут скоро снесут, если думать не будем.

— Слава те Господи, — с искренней радостью молвил Матвей Иванов, — умные слова слышу.

Все повернулись к нему.

— Ну, Степан Тимофеич, тада уж скажу, раз велишь: только это про твою дурость будет...

Степан сощурился и даже рот приоткрыл.

— Атаманы-казаки, — несколько торжественно начал Матвей, — поднялись мы на святое дело: освобождать от бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добрая. Заступник ты народу. Зачем же ты злости своей укорот не делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты его тоже в воду посадил? А воеводу бил!.. На тебя же глядеть страшно было, а тебя любить надо.

— Он харкнул на меня!

— И — хорошо, и ладно. А ты этот харчок-то возьми да покажи всем: вот, мол, они, воеводушки: так уж привыкли плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может — надо харкнуть. Его тада сам народ разорвет. Ему, народу-то, тоже за тебя заступиться охота. А ты не даешь, все сам: ты и суд, ты и расправа. Это и есть твоя дурость, про какую я хотел сказать.

— Лапоть, — презрительно сказал Степан. — А ишо жалисся, что вас притесняют, жен ваших уводят. Да у тебя не только жену уведут, а самого... такого-то...

— Ну вот... А велишь говорить. А чуть не по тебе — так и лапоть. А все же послушай, атаман, послушай. Не все сапогу ходить по суху...

— Я не про то спрашивал. Черт тебя!.. Чего он молотит тут? — Степан поглядел на всех, словно ища поддержки. И к Матвею: — Я рази про то спрашивал?

— Так ведь если думать, то без спросу надо. Как есть...

— Ты, Матвей, самый тут умный, я погляжу. Все не так, все не по тебе, — заметил Ларька Тимофеев, и в глазах его замерцал ясный голубой свет вражды.

— Прямо деваться некуда от его ума да советов! — поддержал Ларьку Федор Сукнин. — Как скажет-скажет, так хошь с глаз долой уходи...

— Да ведь это про нас, про рязанских, сказано: для поговорки до Москвы шел, — отшутился Матвей. И посерьезнел. — Я што хочу сказать, Степан Тимофеич: ты ладно сказал — «думайте», а сам-то, сам-то не думаешь! Как тебя сгребет за кишки, так ты кидайся куда попало.

Степан как будто только этих слов его и ждал: уставился на Матвея... С трудом разлепил губы, сведенные злой судорогой.

— Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется, — сказал он и потянул из-за пояса пистоль. — Раз уж все мы такие дурные тут, так и спрос с нас такой же...

Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую беду тогда только, когда Степан поднял над столом руку с пистолем... Ус, при своей кажущейся неуклюжести, стремительно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул выстрел: пуля угодила в иконостас, в икону Божьей Матери. В лицо ей.

Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям...

Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул рукой... Нож пролетел через всю избу и всадились глубоко в дверь — Матвей успел захлопнуть ее за собой.

Степан повернулся к Усу... Тот раньше еще положил руку на пистоль.

Долго смотрели друг на друга.

В избе все молчали, и такая это была тягостная тишина, мучительная.

Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорей — пытливо, вопросительно.

Ус ждал. Тоже довольно спокойно, мирно.

— Если вы сейчас подымете руки друг на дружку, я выйду и скажу казакам, что никакого похода не будет: атаманы их обманули, — сказал Иван Черноярец. — Вот. Думайте тоже, пока есть время.

Степан первый отвернулся...

Некоторое время еще молчал, словно вспоминая что-то, потом спросил Ивана спокойно:

— С чего ты взял, что мы руки друг на дружку подымаем?

— К слову пришлось... Чтоб худа не вышло.

— Я слушаю вас. Куда иттить? — спросил всех Степан.

— Вверх, — твердо сказал Ларька.

— Пошто? — пытал Степан.

— Вниз пойдем, у нас, один черт, за спиной тот самый муж с топором окажется — стрельцы-то где-то в дороге. Идут.

— И в Астрахани стрельцы.

— В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин. Там посадские — все за нас... Оттуда с топором не нагрянут.

— Мы ишо про этих ничего не знаем, — заспорил с Ларькой Сукнин. — Можеть, и эти к нам склонются, верхние-то, с Лопатиным-то.

Разговор пошел вяло, принужденно. Казаков теперь, когда беда прошумела мимо, занимала... простреленная Божья Мать. Нет-нет да оглядывались на нее. Чудилось в этом какое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды.

Степан понял настроение казаков. Но пока молчал. Ему интересно стало: одолеют сами казаки этот страх за спиной или он их будет гнуть и не освободит. Он слушал.

— Худо, что мы про их не знаем, худо, что и они про нас тоже не знают. А идут-то они из Москвы да из Казани вон. А там про нас доброе слово не скажут, — говорил Иван.

— Где-нигде, а столкнуться доведется, — настаивал Ларька; он один не обращал внимания на простреленную икону.

— Оно — так... — нехотя согласился Федор Сукнин.

— Так-то оно так, — вздохнул Стырь — так, чтоб только что-нибудь вякнуть. — Не везде только надо самим на рога переть. А то оно... это... к добру тоже не приведет.

— Вниз пойдём, у нас войско прирастет, вверх — не ручаюсь, — подал голос Прон Шумливый, казак, выроченный разинцами из царицынской тюрьмы — сидел там за воровство.

— Оно — так... — сказал опять Черноярец.

— Сдохли! — воскликнул огорченный атаман. И передразнил есаулов: — «Оно — так», «Оно — та-ак». — Помолчал и, повернувшись, заговорил спокойней: — Мой это грех — я стрелил. Я же не метил в лоб ей, нечаянно вышло... Что же теперь — и будем сидеть, как сычи? Закоптельша прострелил!.. — Голос Степана окреп. — А как звонить начнут на всю Русь — проклинать? Куда побежите? Эх, други мои, советники... — Степан оглядел «советников», вздохнул: то ли правда никто из них не внушал ему счастливой веры, то ли притворился, что одни только горькие и опасные думы пришли вдруг ему в голову, когда он внимательно посмотрел на сподвижников своих.

— Непривычно, Степан, оттого и... боязно, — захотел объяснить Иван Черноярец свое и других состояние. — Не каждый же день ты их простреливаешь, эти... закоптельши.

— Ты куда собрался, Иван? — перебил в нетерпении атаман. — Куда пошел?

Иван в простодушии не понял вопроса. Молчал. Смотрел на Степана. И Степан смотрел на него. Ждал. Очень хотелось ему, чтоб Иван сказал: «На Русь пошел, на бояр», и тогда бы Степан на это ахнул бы чем-то сильным, веским — он, видно, заготовил чем.

— А?

— Не пойму тебя, — признался Иван. — Никуда пока не пошел, сидим вот гадаем — куда.

— На бояр, батька! — выскочил сообразительный Стырь. Он сидел в углу, как раз под простреленной Божьей Матерью. — На Русь!

— А-а! Вон вы куда!.. — с готовностью повернулся к нему Степан. — А что же там, на Руси-то, нехристи?

— Крещеные, как же...

— Так какого ж вы дьявола? Нечаянно прострелил икону, у их уж коленки затряслись. А еслив

они, бояры-то, возьмут да крестный ход перед нашим войском учинят? А они учинят — Бог-то ихний. Возьмут да с иконами вперед вышлют? Что же мы?..

— Как это — Бог ихний? — не понял Стырь.

— А чей? Твой, что ли?

— Наш тоже... Исус-то.

— Бог-то, он, может, и наш, да попы — ихние. А за кого попы, за того и Бог. А то ты не знаешь, старый человек! Не посмотрелся за свою жизнь?.. Вот я и спрашиваю: возьмут они и выйдут встречь нам с иконами? Как тада?

Есаулы молчали. Положение, в какое поставил атаман казачье войско, нелегкое. Непонятно, как тогда? Не было вроде такого. Что-то не помнили казаки, чтобы когда-нибудь...

— Не было так никогда, — сказал Иван.

— Не было? — ожесточался Степан. — Будет! Это легко сделать, это не воевать. Вот — вынесли. Как мы тада, я спрашиваю? Ну?

— Давайте дело говорить! — уклонился было Ларька Тимофеев. — Про иконы какие-то затеяли...

— Это — дело! — сердито сказал Степан. И кулаком пристукнул в столешницу. — Я спрашиваю: как быть, если бояры и попы...

— А кто нас ведет?! — тоже вдруг обозлился Ларька. — Стенька Разин, я слыхал? Вот я и спрашиваю Стеньку: как нам тада быть, Стенька?

— Ты не вали все на меня. Я вас спрашиваю! И велю отвечать: как быть?

Вдруг дверь открылась, и вошел Матвей Иванов.

Все оглянулись... Опешили: никто не ждал такого.

Матвей с необъяснимой смелостью прямо шел к столу и смотрел на атамана. Как-то даже насмешливо смотрел.

— Загадки загадываешь, атаман, а ответ не знаешь. А заговорил ты про самое главное... Вот слушайте, как быть. — Матвей серьезно оглядел всех. С особенным значением поглядел на атамана. Вообще, кажется, Матвею нравилось учить. Так нравилось, что он страх забыл. — Тут вас, казаки-атаманы, могут легко поймать. Вышлют на вас баб, да стариков, да мужиков глупых с иконами... Да и даже пусть не вышлют, а наперед накликают на вас хулу божью: и выйдет, что вы — враги человеческие, а ведет вас сам сатана под видом Стеньки Разина... А идете вы — всех бить и резать. Вот где беда-то! Тут вам и конец. С войском воевать можно, войско можно одолеть, народа не одолеешь. Татарин — не этот татарин, а тот, старинный, — он посильней вас был, а застрял: с народом пошла война. Гиблое дело.

— Какой же ответ? На загадку-то... Ты знаешь? — спросил Стырь, крайне заинтересованный.

— Знаю. Оттого и зашел... Может, батька и убьет меня после, но уж не подсказать вам — это будет мой грех. Скажу, потом делайте как знаете. Ответ такой, казаки-атаманы: надо вам вперед попов и бояр рассказать мужику: идете вы делать божье дело. Как Христос учил?

Скорей верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Вот весь и сказ: поднялись на богатых, а бедных идем заслонить от притеснителей... Вот. Нас, мол, может, сам Господь Бог послал.

— Это мы без тебя знаем, как говорить, — сказал Ларька ехидно. — Монах нашелся...

— Вы знаете, надо, чтоб мужик тоже знал. Вот это я и хотел сказать.

— Все? — спросил Степан, странно глядя на Матвея, не то удивляясь на этого человека, не то любуясь весело.

— Все. Запомните, что сказал. А то вам плохо будет.

— Спаси Бог! Как можно не запомнить... Теперь я сделаю, чего не сумел давеча. — Страшно сдвинув брови, Степан потянул из-за пояса пистоль... Ус мгновенно развернулся и ногой загреб табурет под Степаном. Табурет вылетел; Степан упал. И, сидя на полу, направил пистоль на Уса...

Ус побелел. Но ни один мускул не дрогнул на его добром лице. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пистоль он все равно не успел бы... И он ждал. На его могучей, изрезанной морщинами шее вспухала толчками толстая, синевато-багровая жила, точно вскрикивала о жизни.

Степан поднялся... Сунул пистоль за пояс.

— Там же пули нет, — сказал неохотно. — Уставились... Поиграть нельзя с дураками. — Видно, ему самому противной стала эта «игра» — надоело: все утро сегодня он то и дело хватается и хватается за пистоль. Сам как дурак сделался. — Поплыли дальше. — Степан поднял табурет, сел, поглядел на дверь...

Матвея в приказной избе уже не было. И никто о нем больше не напомнил, не сказал ничего. Утро какое-то кособокое вышло; утро-то какое — победное, а все чем-то да омрачается.

— Дальше так дальше, — беспечным голосом сказал Ларька.

— Куда плывем-то?

— Только одно хочу вам сказать, и запомните: все, что тут сейчас сказал Матвей, — это истинная правда. — Степан помолчал, чтоб как следует вникли в его слова. — Мне только обидно, казаки-атаманы, что мужицкая голова оказалась умней... ваших. — Не сказал «наших», сказал — «ваших». — А я от вас добивался... Это наука вам. — Степан подумал и все-таки добавил: — И мне тоже. Давайте корень копать... Ишо один наказ: мы на войне, ребятушки, и нечего каждый раз по сторонам оглядываться — то пришибли кого сгоряча, то... в икону попали. Да как же без этого? На войне-то!.. Вы што?

9

Два казака на небольшой верткой лодочке гребли изо всех сил вниз по течению. Видно, старались держать ближе к берегу — к кустам. Переговаривались сторожко.

— Сколь нащитал?

— Триста набрал в голову и сбился. С тыщу будет. Двенадцать пушек.

— Смело они... развалились, как так и надо.

— Не знают, потому и смело.

— Хоть бы стереглись маленько...

— Не пуганные ни разу.

— Оно и мы-то — ждем, что ли, их? Я слыхал, они ишо где-то из-под Казани только-только выворотились... А они — вот они, голуби, пузы уж тут греют.

— Где теперь батька-то?

— В приказе небось? А где, поди?.. Там.

— Будет дело... Откуда, думаешь: с Москвы?

— С Москвы, должно. С казанскими вместе. Эх, разгуляться-та-а! Аж слюни текут. Накрыть можно... как кутят ситом.

— Даст Бог, накроем.

Совет кончился; атаманы, есаулы расходились из приказной избы.

— Иван, огляди стены, — велел Степан. — Возьми Проньку с собой — ему тут головой оставаться. Подбирай вожжи, Прон: людей зря не обижай, не самовольничай — кругом все решайте...

Ус шел со Степаном.

— Калган не болит? — спросил Ус просто.

— Нет.

— А то пойдем, у меня четверть доброго вина есть. У воеводы в погребе нашли. Ха-арошее винцо!

Степан думал о другом.

— Где счас Матвей твой? — спросил он.

— Тебе зачем? — насторожился большой Ус.

— Надо повидать его... Не бойся, худа не сделаю.

— Со мной он вместе. Смотри, Степан... тронешь его — меня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог тронуть. Не нашлось такого.

Степан с усмешкой посмотрел на Уса:

— А князь Борятинский-то... Ты как та девка: ночевала — и забыла, с кем.

Ус замолк — обиделся. Был он как ребенок, этот Ус: зла вовсе не помнил, а обидеться мог зазря... Матвей про него сказал: «Пушка деревянная — только пужать ей».

— Не дуйся, я не по злобе. Бегать и я умею, Вася. Хорошо бы — не бегать. Так бы суметь...

— Зачем Матвея-то надо?

— Глянется мне этот мужик твой. Умный. Ты береги его.

— Глянется, а сам стукнуть хотел... Первый-то раз.

— Попужать хотел и первый раз. Видно, натерпелся он за жизнь всякой всячины... А? Из таких — умные получаются. Где ты его взял-то?

— Все там же! — Ус весело и вызывающе посмотрел на Степана. — Как из-под Москвы бежали, там и подобрал. Пристал к нам... а бросать жалко стало. Натерпелся он, верно, много. Где только не бывал! А говорит не все... Даже не знаю откуда. Рязанский, наверно... Не спрашивал.

— Умный мужик, верно. Пойдем мировую с им выпьем. Из Рязани он.

— Откуда ты знаешь?

— Да он сам сказал давеча. Да и по выговору слышно.

— Ну, мировую? — совсем повеселел Ус.

— Мировую, чего нам с тобой, лаяться, что ль?

— Это дело другое, я не люблю лаяться. Не отставай тада от меня, а я поддам ходу. Как зачую, где вино, так меня не удержишь: как мельница ногами работаю.

Матвей, увидев Степана, встал со скамьи... Усмехнулся горько. Но не особенно испугался. Сказал:

— Так...

— Сиди, я тебе не боярин. — Степан посадил Матвея, сел напротив. — Мировую хочу с тобой выпить.

Матвей качнул головой:

— А я уж богу душу отдавать собрался. Ну, мировую так мировую. Лучше мировую, чем панихидную. Так ведь? — Матвей засмеялся один, атаманы не засмеялись.

— Не сказал ты свое слово: как лучше ийтить-то — вверх, вниз? — спросил Степан, внимательно и серьезно вглядываясь в лицо крайне интересного ему человека.

— Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз. — Матвей тоже прямо глянул в глаза атаману. — Если это правда война, то — вниз.

— Вниз. — Степан все глядел на Матвея. — Ишь ты!..

Матвей усмехнулся и с особенным любопытством посмотрел на атамана.

— Не боюсь я тебя, грозный атаман, — заявил он спокойно и даже весело.

— Давеча же убить тебя мог, — серьезно сказал Степан.

— Мог, — согласился Матвей. — Можя, и убьешь когда-нибудь. А все равно не боюсь.

— Как так?

— Люблю тебя.

— Хм...

— Одно время шибко я Бога кинулся любить... Чего только над собой не делал! — казнил себя всяко, голодом морил... даже на горбатой женился... Ну — полюбил, вроде спокой на душе, молюсь. Пожил маленько — нет, не могу: обман гольный. Отстал. Ну, и больше уж — на кого же надеяться? Все. А с богом никак не могу — не могу его всего в башку взять, не дано. Душа-то, слышу, мертвая у меня...

— А чего хочешь-то? — надеется-то. Чего надо-то?

— Хочу-то?.. — Матвей помолчал. — Сам не знаю. Жалко людей, Степан Тимофеич, эх, жалко! Уж и не знаю, откуда она, такая жалость. Самого-то — в чем душа держится, соплей перешибить можно, а вот кинулся весь белый свет жалеть. Да ведь только бы жалел! Ну и иди в монастырь вон — жалея на здоровье, молись. А то ведь руки чешутся тоже — тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прямо мука, истинный Христос. И не уйдешь от их никуда, от людей-то, и на их глядеть — сердце разрывается: горе горькое воет. Он вон, царь-то, церкви размахнулся строить — а што?.. А мужику все тесней да тесней, уж и выбор-то стал: или помещнику в ярмо, или монастырю — вот и все, весь наш выход стал.

— Хм... к богу хочет поближе — с церквами-то.

— Теперь стал я на людей надеяться, Степан. На тебя вот... — Матвей, как бы спохватившись, что сказал лишка, смолк.

— Эт ты с любовью-то ко мне вылетел... я знаю зачем, — жестко сказал Степан.

— Зачем? — искренне спросил Матвей.

— Чтоб наперед не страшиться меня. Сказал: «люблю» — у меня рука не подымется больше...

— Ты что, палач, что ль, что тебе надо обязательно поднять на меня руку?

— Не говори поперек.

— Ишь ты какой!..

Пришел из сеней Ус с четвертью вина.

— Ты перепрыгал? — спросил он Матвея. — Насилу нашел.

— Спросил бы... Я теперь и сам выпить не прочь. Мирская у нас с атаманом.

— Ты все-таки не выскакивай лишний раз с языком, — еще посоветовал Степан. — А то... Сам потом горевать буду, да поздно. Не знаешь меня...

— Я все про тебя знаю, Степан.

Только налили по чарке — вбежал казак (один из тех, что плыли в лодке):

— Батька, стрельцы!

— Где? — повскакали все.

— На острове, в семи верстах отсель... С тыщу, нам показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке, пузы выставили... Мы с Ермилом неводишко хотели забросить подальше от городка, подплываем, а их та-ам...

— Где, какой остров-то?

— Денежный зовут. В семи верстах, вверх.

— С тыщу?..

— С тыщу. Двенадцать пушек. Про нас — ни сном ни духом: валяются на травке, костры жгут...

— Счас они у нас поваляются. Это же те, каких из Казани ждут. Ая-яй! Зови всех ко мне! Счас мы их стренем. Только — никому пока ни слова про стрельцов! Никакого шума! Ая-яй! — Степан как на ежа наступил: засуетился по избе, забегал. — Ая-яй!.. А мы прохлаждаемся тут, вины распиваем. Ну, мало нас били! Ведь вот как могли накрыть! Нет, мало, мало били ишо...

Бой со стрельцами был предрешен.

Степан со стругами отплыл на луговую сторону. Нагорной стороной (правым берегом) пошла конница во главе с Усом. На стенах города остались Черноярец и Шелудяк. С пушкарями.

Стрельцы действительно не знали о пребывании разинцев в Царицыне. И горько поплатились за свою беспечность.

Они готовились славно и мирно попопдничать, как вдруг с двух сторон на них посыпались пули — с правого берега (островок, где стояли, был недалеко от крутояра) и с воды, со стругов.

Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть. Но так, чтоб они не поняли, что их заманивают в ловушку: как будто это само собой вышло...

Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что делать каждому. И предсказал, как поведут себя стрельцы, застигнутые врасплох. Он говорил:

— Родионыч, бери две тыщи конных, пойдешь горой. Я переплыву к луговой стороне, подойду к им промеж островов поближе, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, выезжай на яр и пали. Они на стружки кинутся — сплывать. Я им дам — сядут. Федор, Фролка... Ларька, передайте, кто с нами поплывет: чтоб вперед моего стружка не выгребали. Пусть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь свою. Почнут к городу выгребать — я им дам. Баграми не сцепляться, на пуле держать. Федька, Иван...

— Какой Федька-то?

— Шелудяк. И ты, Иван: на стене будете с пушкарями. Подплывут на ядро — палите. На низ вздумают утекать, ты их стречай, Прон. Все в голову взяли?

— Все.

— С богом!

...Стрельцы выгребались к городу, полагая, что там воевода. Налегали изо всех сил на весла — скорей под спасительные пушки царицынских городских стен.

Сзади, на расстоянии выстрела, следовал Степан, поджимал их к берегу. С берега сыпали пулями казаки Уса.

Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпались на головы бедных стрельцов, что они почти и не пытались завязать бой. Спасение, по их мнению, было в городе, они рвались туда.

И когда им казалось, что — все, конец бойне, тут она началась. Самая свирепая.

Со стен города грянули пушки. Началась мясорубка. Пули и ядра сыпались теперь со всех сторон.

Стрельцы бросили грести, заметались на стругах. Некоторые кидались вплавь... Но и там смерть настигала их. Разгулялась она в тот день над их головами во всю свою губительную силу.

Стрельцы закричали о пощаде. Немногих, кто был ближе к стругам разинцев и отбивался и после криков о милости, стрельцы застрелили сами.

От флотилии Степана отделился один стружок, выгреб на простор, чтоб его с берега и со стен видно было; казак поддел на багор кафтан и замахал им. Это был сигнал к отбою.

Стрельба прекратилась.

Все случилось скоро.

Стрельцы сошли на берег, сгрудились в кучу.

Подплыл Разин, съехал с обрыва Ус.

— Что, жарко было?! — громко спросил Степан, спрыгнув со струга и направляясь к пленным.

— Не приведи Господи!

— Так жарко, что уж и вода не спасала.

— За Разиным поехали?!. Вот я и есть — Разин. Кто хочет послужить богу, государю и мне, отходи вон к тому камню!

— Все послужим!

— Всех мне не надо. Голова, сотники, пятидесятники, десятники — эти пускай вот суда выйдут, ко мне ближе: я с ими погутаю.

Десятка полтора человек отделились от толпы стрельцов... Подошли ближе.

— Все? — спросил Степан. — Всех показывайте, а то потом всем хуже будет.

Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких.

— Кто голова?

— Я голова, — отозвался высокий, статный голова.

— Что ж ты, в гробину тебя?!. Кто так воюет? Ты бы ишо растелешился там, на острове-то! К куму на блины поехал, собачий сын? Дура сырая... Войско перед тобой али — так себе?! Всех в воду!

Казаки бросились вязать стрелецкое начальство.

К Степану подошли несколько стрельцов с просьбой:

— Атаман... одного помилуй, добрый был на походе...

— Кто?

— Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. Помилуй, жалко...

— Развязать Федора! — распорядился Степан. И, не видя еще, кто этот Федор Якшин, крикнул — всем: — Просют за тебя, Федор!

Почуввав возможность спасения, несколько человек — десятники и пятидесятники — упали на колени, взмолились:

— Атаман, смилуйся! Братцы, смилуйтесь!..

Степан молчал. Стрельцы тоже молчали.

— Братцы, я рази вам плохой был?

— Смилуйся, атаман! Братцы!..

Степан молчал. Молчали и стрельцы.

— Атаман, верой и правдой служить будем! Смилуйся.

К Степану пробрался Матвей Иванов. Заговорил, глядя на него:

— Степан Тимофеич...

— Цыть! Баба, — оборвал его Степан. — Я войско набираю, а не изменников себе. Счас все хорошими скажутся, потом нож в спину воткнут. Не суйся.

Твердость Разина в боевом деле какой была непреклонной, непреклонной и оставалась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям, — он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать.

Больше никого начальных не помиловали.

— Стрельцов рассовать по стружкам, — сказал Степан своим есаулам. — Гребцами. У нас никого не задело?

Есаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся.

— Кого? — спросил Степан, сменившись в лице.

— Дедку... Стыря. И ишо восьмерых, — сказал Иван.

— Совсем? Дедку-то...

— Совсем.

— Эх, дед... — тихо, с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову. — Сколь стрельцов уходили? — спросил.

Никто этого не знал — не считали.

— Позовите полуголову Федора.

Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей-начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману.

— Сколь вас всех было? — спросил тот.

— Тыща. С нами.

Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов.

— Сколь здесь на глаз?

Заспорили.

— Пятьсот.

— Откуда?.. С триста, не боле.

— Эх, какой ты — триста! Три сотни?.. Шесть!

— На баране шерсть.

— Пятьсот, — сходились многие. — Пятьсот уходили, не мене.

Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов.

— Не знаю, сколь вам надо, — сказал он грустно, — но, думаю, наших легло... с триста. С начальными.

— Мало, — сказал Степан.

Не поняли — чего мало?

— Кого мало? — переспросил Иван.

— Хочу деду поминки справить. Добрые поминки!

— Триста душ отлетело — это добрые поминки.

— Мало! — зло и упрямо повторил Степан. И пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: — Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Резанова. — И продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал.

Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, скоморох Семка.

Степан сел сам, пригласил всех:

— Сидайте. Прон, в Камышине бывал?

— Бывал.

— Воеводу тамошнего знаешь? Нет, так: он тебя знает?

— Откуда!

Степан подумал... Побил черенком плети по носку сапога.

— Ивашка, боярский сын... — сказал он и пристально посмотрел на боярского сына. — Бывал в Камышине?

— Как же! — поспешил с ответом перебежчик, боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам и, кажется, уже жалел об этом — особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего... Единственное, наверно, что можно сделать, уйти опять к своим. Только... и гордость противится, и... как теперь поглядят свои-то? — Бывал. Много раз.

— Воевода тебя знает?

— Знает.

— Хорошо знает? Голос твой узнает?

— Как же!

— Добре. Приберете из войска, которое не в казачьем платье... Поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросишься. Но с тобой будет мало, с дюжину — по торговому делу. Слышно, мол, Стенька где-то шатается — боязно. Вон скомороху, мол, язык срезали. Пустют. Там подбейте воротную стражу... или побейте, как хотите: откройте ворота. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как ворота откроются, не зевай, вали.

— Еслив откроются...

— Откроются. Силы у их там мало, я знаю, лишних людишек всегда примут. Ишо порадуются. Я так-то Яик-городок брал. К утру чтоб Камышина на свете не было. Выжечь все дотла, золу смести в Волгу. До тех пор я Стыря земле не предаю. Все взяли? Людишек с добром и со скотом... в степь выгоните. Зря не бейте — они по деревням разойдутся. Приказных и стрелецких — в воду. А городка такого — Камышина — пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли?

— Взяли.

— С богом. Иван, подбери людей. Сам здесь останься. Станут наши пытаться: куда, чего — не трепитесь много. К калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка... — Степан поглядел на боярского сына. — Еслив какая поганая дума придет в голову, — лучше сам на копье прыгай: на том свете достану. Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите.

Казаки ушли.

Степан остался сидеть. Смотрел вверх по Волге. Долго сидел так. Сказал негромко:

— Будет вам панихида. Большая. Вой будет и горе вам.

...Ночью сидели в приказной избе: Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили.

Горели свечи, и пахло как в церкви.

В красном углу, под образами, сидел... мертвый Стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт.

Пили молча. Наливали и пили. И молчали... Шибко грустными тоже не были. Просто сидели и молчали.

Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый.

Колебались огненные язычки свечей. Скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать.

Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы — не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное: кап-кап, кап-кап...

Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать.

Степан посмотрел на дедушку Стыря и вдруг негромко запел:

Ох, матушка, не могу,

Родимая, не могу...

Песню знали; Стырь частенько певал ее, это была его любимая.

Подхватили. Тоже негромко, глуховато:

Не могу, не могу, не могу,

могу, могу!

Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно. Не грустно.

Сял комарик на ногу,

Сял комарик на ногу...

Все:

На ногу, на ногу, на ногу,

ногу, ногу!

Ой, ноженьку отдал,

Ой, ноженьку отдал,

Отдал, отдал, отдал,

дал, дал!

Подай, мати, косаря,

Подай, мати, косаря,

Косаря, косаря, косаря,

саря, саря!

Рубить, казнить комара,

Рубить, казнить комара,

Комара, комара, комара,

мара, мара!

Отлетела голова,

Отлетела голова,

Голова, голова, голова,

лова, лова!

Налили, выпили. Опять замолчали.

За окнами стало отбеливать; язычки свечей поблекли — отцвели.

Вошел казак, возвестил весело:

— Со стены сказывают: горит!

Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака.

— На-ка... за добрую весть. Пошли глядеть.

Камышин сгорел. Весь.

* * *

При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился.

Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей...

Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей

была могилка Стыря.

— Простите, — сказал Степан холмикам с крестами.

Постояли, надели шапки и пошли.

С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки; нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка.

— С богом, — сказал Степан. И махнул шапкой.

Войско двинулось вниз по Волге. На Астрахань.

10

Долго бы еще не знали в Астрахани, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом.

Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал песенки. В десяти верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина (разбитого под Царицыном), которые чудом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал. Переволокся на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб в Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал.

Начальные люди астраханские взялись за головы.

Воеводы, митрополит, приказные, военные-иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть.

— Говорите, как думаете, — велел Прозоровский. — Рассусоливать некогда. Дорассусоливались! Ведь мы-ы, — постучал он пальцем по столу, — мы, вот здесь вот, благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь!

Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, расспрашивали Дубенского.

— Как же ты-то проплыл? — спросил князь Львов.

— Ахтубой. Там переволокся, а тут, у Бузуна, вышел. Я Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное, всю ее, матушку, вдоль и поперек...

— Сколько ж у его силы?

— Те, стрельцы-то, сказывали: тыщ с пять. Но не ручались. А рыбаки, я их тоже стренул, — пятнадцать, мол. А на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад: десятников поставили, дела кругом решают. А эти, посадские...

— Те, эти... Не мог ладом узнать! — разозлился воевода.

— Ты плыл, Камышин-то стоял ишо? — спросил Львов.

— Стоял. А потом уж посадские сказали: спалили. Чего мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться?

Митрополит перекрестился.

— Вот она и пришла, матушка...

— Кто? — не понял младший Прозоровский.

— Беда. При нас начиналась и до нас и дошла.

— Советуйте, — велел воевода. — Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять?

— Зло сталь оччень большой, — заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан. — Начшальник Стенька не может удерживать долго флясть...

— Пошто так?

— Са ним следовать простой шеловек, тольпа — это оччень легкомысленный... мм... как у вас?.. — Капитан показал руками вокруг себя — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость. — Как это?

— Сброд? Сволочь? — подсказал Прозоровский.

— Сволечшь!.. Там нет ферность, фоинский искусств... Дисциплин! Скоро, оччень скоро там есть — пополам, много. Фафилон! Только не давайт фольнени сдесь, город. Строго! М-м!

— Жди, когда у его там пополам будет! — воскликнул подьячий Алексеев. — Свои-то, наши-то сволочи, того гляди зубы оскалят. На бочке с порохом сидим.

Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов.

— Что правда, то правда, — вздохнул стрелецкий голова.

— Надо напасть на воров в ихнем же стане! — заключил молодой Прозоровский. — Будем готовиться, наших хоть делом зайдем. А пока готовиться будем, приберем человек четыреста получше да татар сэстоль же — пусть сходят вверх проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, оружить их... Сколь стрельцов-то у нас?

— Всего войска — двенадцать тыщ, — отвечивал Иван Красулин.

Боярин Прозоровский хлопнул себя по ляжкам.

— А еслив у его, вора, — пятнадцать!

— Не числом бьют, Иван Семеныч, — заметил в сердцах митрополит. — Крепостью. Сразу принялись воров щитать — сколько? Вот те раз! Ишо ничем ничего, а мы уж готовы — сварились.

— Где она, крепость-то? Стрельцы?.. Они все к воровству склонные. Они вон жалованье требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Щитать принялись... Будешь щитать, еслив вся и надежда — за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то... проть кого она обернется, крепость-то?

— Подвести их под присягу...

— Они жалованье требуют! А не под присягу... — Воевода злился. — Одной присягой не навоюешь.

— Вот вся наша крепость: надо платить, — сказал подьячий. — Надо платить. Тада хоть какая-то надежда будет.

— Подвесь под присягу! — еще раз сказал митрополит. — Острастку сделать!.. — Он тоже был в сильнейшем раздражении. — А караул кричать — это мы напоследок сделаем. Соберемся с голосами и рявкнем. Может, даже Стеньку тем испужаем...

Астраханцы растерялись.

11

Разинцы шли ходко, днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной выслались кони, кормились, и на них, отдохнувших, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы везти казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, есаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой, много.

Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого.

Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура — силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь — царь, то злился и негодовал: как это — люди могут быть подневольными, но при этом — живут, смеются, рожают детей... То он вдруг перестал понимать смерть — человека нету. Как это? Совсем? Что, Стырь так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть... Да что это, что?

— Степушка, — посмеялся Матвей, — покойников-то на земле больше, чем живых.

— Хреновина выходит, Матвей: одни черви и живут на земле? А мы для чего? Для прокорма ихного?

— Выходит, так.

— Тьфу!.. Аж тошно. А чего ты мне про Бога-то плел? Я забыл... Ну-ка, расскажи толком. Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах — Божья Мать, я ее всю понял, всю в башку взял. Не знаю, как тебе сказать, — понял. Сидит хорошая, душевная христьянка... как моя мать. Я на ее залюбовался, по теперь ее помню. Ну?.. Стало быть, верю я?

— Это не то, Степан Тимофеич.

— Что же? А ты как хотел верить?

Матвей пристроил шагать своего конька к шагу разинского.

— Полюбить я его хотел, Бога-то... Не мог — не дано: весь, видно, грехами изъеден, как лесина

трухлявая, где же тут полюбить, чем?.. А любви нет, нету и веры, один обман. Я вон на горбатой-то оженился — и што? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука. А ведь тоже — хотел полюбить. Вот-де, никто не любит, а я буду. Душу ее буду любить...

— Ну, и как? — со смехом спросил Степан.

— Не мог. Кажилился, кажилился — нет, нету моих сил на то, сбежал. Все бросил и — куда глаза глядят. Там и бросать-то... бобыль я. Нет, брат, душу не обманешь.

Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было — на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, — вести этот углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно.

— Ну, а как с богом-то? — хотел понять Степан.

— Тоже не мог полюбить. Ведь полюби я, я бы и знал, как жить, — а не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю: да сам он боярин добрый, Бог-то. Любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит: помочь тебе али нет. Он ишо подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие! Рази так можно?

— А царя за что не жалуешь?

— Что? — Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал — собирался с мыслью.

— Царя-то за что не любишь? Глухой, что ль?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— А мне интересно, как ты скажешь...

— Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые.

— А ты не хитрый?

— Чего ты заладил: «а ты», «а ты»?.. Дятел. Я тебя спрашиваю!

— Ты тоже хитрый, Степан. Может, так и надо.

— Где это я хитрый?

— Да с царем с тем же... Не жалуешь и ты его, а как надо людей с собой подбить, говоришь: я за царя! Хэх!.. За царя. За волю уж, Степан, — прямо, не кривить бы душой. Ну, опять же — не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все... вроде и доброе дело люди собрались делать, а без обмана — никак! Что за черт за житуха такая. У нас, что ль, у одних так, у русских? Ты вот татарей знаешь, калмыков — у их-то так жа?

— Как я их знаю!.. — в раздумье, не сразу откликнулся Степан.

Степану неохота было говорить про это: велика это штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за волю, за царя — тоже за волю, но пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж... там уж не их забота. За волю-то не шибко вон подымаются, мужики-то: на бояря, да за царя... Так уж

невтерпеж им — перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы: зачем это людям надо?

— Такой же ведь человек — баба родила, — стал думать вслух Степан. — Пошто же так повелось? — посадили одного и давай перед им на карачках ползать. Во!.. С ума, что ль, походили? Зачем это? Царь. Что царь? Ну и что?

— Дьявол знает! Боятся. А тому уж — вроде так и надо, вроде уж он — не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось... А небось перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру...

Степан глядел вперед — как будто не слушал.

Матвей смолк.

— Ну? — спросил Степан.

— Что?

— Перелобанить, говоришь?

— Пример это я тебе!.. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога — к червям, а вот вишь, что делается...

— Мгм... Да ишо еслив пример-то выбрать почижельше — осиновый. А?

Засмеялись.

— А что Никон? — спросил вдруг Степан с искренним и давним интересом. — Глянется мне этот поп! Хватило же духу с царем полаяться... А? Как думаешь про его?

— Ну и что?

— Как же?.. Молодец! А к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый.

— Зачем ему? У его своя смета... Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан: один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы ишо царя додумался с собой подговаривать...

— Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю: Никон со мной идет. А?

— Зачем это? — удивился Матвей.

— Так... Народ повалит, мужики. Патриарх... самый высокий поп, как Стырь говорил. Мужики смелей пойдут.

Матвей молчал.

— Что молчишь?

— Делай как знаешь...

— А ты как думаешь?

— Опять ведь за нож схватисся?

— Да нет!.. Что я, живодер, что ли?

— Дурость это — с Никоном-то. «Народ повалит». Эх, как знаешь ты народ-то! Так прямо кинулись к тебе мужики — узнали: Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему ишо попа высокого. Ну и дурак... Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это.

— Цыть! Заговорил!.. — Степан уставился на Матвея строгим взглядом. — Много! Ворох сразу вывалил... Умник.

Матвей, не долго думая, подстегнул меринка и отъехал вперед и скрылся в рядах конников.

Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги, остановился. Подождал, когда подъедут есаулы.

— Дед! — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил: — Есть у тебя хлопец проворный?

— У меня все проворные. — Дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных. — Зачем тебе? Могу всех кликнуть: сам выбирай — все молодцы добрые.

К ним подвернули есаулы, скучились.

— Мне всех не надо. А одного найди — в Астрахань поедет, к Ивашке Красулину.

— Гумагу? — догадался Любим.

— Никаких гумаг. Взять все в память, и до поры пускай все умрет.

Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались; он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков.

— Здоров, батька!

— По чарочке б, Стяпан Тимофеич!.. Глотки — того, дерет... Пыль бы сполоснуть!

Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то.

— Макся Федоров!

Молодой казак (тот игрок в карты) придержал коня.

— Я?

— Ты. Ехай суда.

Макся подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня.

— Чего ж не здороваисся? Не узнал, что ли? Я вот тебя узнал.

— Здоров, батька.

— Здоров, сынок. Как, в картишки стариков обыгрываешь?

— Нет! — выпалил Макся. И покраснел.

Степан и есаулы засмеялись.

— Чего ты отпираться-то кинулся? Старика обыграть — это суметь надо. Они хитрые. — Степан спрыгнул с коня. — Иди-ка суда.

Макся тоже спешил и отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макся кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил.

Макся, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял в мах.

Конница все шла.

Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Есаулы за ним.

Степан вдруг обернулся, позвал:

— Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне.

Есаулы переглянулись... Не нравился им этот Матвей Иванов — баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня вбок.

— Степан... казаки наказали выговорить тебе...

— Ну. Слухаю.

— Этот Матвей... он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуешься с им на виду войска. Обида берет казаков...

— А тебя берет?

— А?

— Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком?! Что вы седня, оглохли, что ль, все?

— Да гутарь на здоровье! Уведи в шатер, там и гутарьте... Только гляди, не стал бы он с толку сбивать...

— С какого?

— Ну... мало ли у их чего на уме. Кто их знает, этих мужиков. А он вон какой говорун!

— Ты прямо как за девкой за мной доглядываешь. — Степан усмехнулся. — Смешной ты, Иван... Не бойся, он меня с толку не собьет.

— Я так-то не боюсь...

— И не обижайтесь. Ума-разума атаман наберется — кому от этого хуже? Всем лучше будет.

— От его — ума-разума? — удивился Иван. — Господи...

— От его. Не гляди, что неказистый, — все смекает. Ты, Ваня, таких не отталкивай от себя. У его вон в чем душа держится — а она болит за всех, умная душа. Не обижайте его.

— Никто его не обижает.

— Мне отец рассказывал про деда, отца своего... Здоров был, пошуметь любил, Стырь знал его. Кому хошь бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех убогих да бездомных тоже жалко... Да ишо когда бьют их...

— Кто его бьет!

— Я не про Матвея. А и про его! Бьют таких, Иван! Не слышим мы — стон стоит по деревням да по городам. И такие же, русские... курвы: ни стыда, ни жалости — бьют. Как маленько посильней да царю угодный, так норовит, змея такая, мужику на шею. Мы сдуру в Персию поперли — вот кому надо кровя-то пускать, своим! Я два раза проехал — посмотрел... Да там не... Тьфу! Не буду! Не буду!.. Тьфу! Говори мне чего-нибудь... про войско. Высыпаются казаки?

— Меняемся, как же.

— Шагу не сбавляй, но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай.

— Гляжу.

— В Астрахани, даст Бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет... шумнул я тут на его. Пусть не боится. Да и вы не коситесь — уревновали, дураки. Побольше б нам таких в войско — с головой да с душой, — умней бы дело-то пошло. Позови-ка.

— Ладно.

Матвей нашел атамана, когда солнышко уже село. На просторную степь за Волгой легла тень. Светло поблескивала широкая полоса реки. Мир и покой чудился на земле. Не звать бы никого, не тревожить бы на этой земле. А что делать? Любить же надо на этой земле... Звезды в небе считать. Почему же на душе все время тревожно, больно даже?

— Звал, Тимофеич?

— Звал. — Степан сидел на яру, обняв руками колени. Сзади стоял конь, недоуменно фыркал и легонько тянул повод. — Хотел договорить давешное, да расхотел. Ты говоришь: кинулся было Бога любить... А я любил, Матвей.

— Неужто? — искренне изумился Матвей.

— Любил. Молился... Только молился, а сам думал: не поверит он мне. Я никакой не сиротка, не золотушный... Подумает: просит, а сам небось про баб думает али — как погулять... Он же ведь все там знает.

— А чего просил-то? Молился-то?

— Чтоб отец живой из похода пришел, чтоб казаки одолели... Много — совестно вспоминать. Маленький был, молился, чтоб мать не хворала, — жалко было. Да мало ли!..

— Не любил ты его, Степан. Так не любят: молится и тут же думает: не поверит Бог. Сам ты ему не верил.

— Как же! Плакал даже! Большой уж был, и то плакал...

— Это... душа у тебя такая — жалосливая. Когда верют, так уж верют, а ты с им, как с кумом: в думы его тайные полез. Нешто про Бога можно знать, чего он думает? Нет, еслив верить, так уж ложись пластом и обмирай. Они так, кто верит-то.

— Ну, не знаю... Я верил.

— Чего ж бросил?

— Я, может, и не бросил вовсе-то... Попов шибко не люблю. За то не люблю, оглоедов, что одно на уме: лишь бы нажраться!.. Ну ты подумай — и все! Лучше уж ты убивай на большой дороге, чем обманывать-то. А то — и богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь... Грех убивать! Грех. Но куски-то собирать — за обман-то, за притворство-то — да ить это хуже грех! Чем же они не побирушки? А глянь, важность какая!.. Чего-то он знает. А чего знает, кабан? Как брюхо набить — вот все знатье. Про Бога он знает?

— Дерьма много... Правда. А татаре говорят про своего Бога: поймешь себя, поймешь Бога. Может, мы себя не понимаем? А кинулись вон кого понимать...

— Так чего же он терпит там! Все силы небесные в кулаке держит, а на земле — бестолочь несусветная. Эти лоботрясы — с молитвами, а тут — кто кого сгреб, тот того и... Куда ж он смотрит? Нет уж, тут и понимать нечего: не то чего-то... Не так. Кто же людям поможет-то? Царь?

— Ну, это не его дело! Себя только ублажает сидит там. Иной раз думаю: да хоть пожалей ты людишек своих!.. Нет, никак, ни-как! Не видит, что ли?.. Не знает ли...

— Вот... — Степан долго смотрел в заволжскую даль. Сказал негромко: — Вишь, хорошо как. Живешь — не замечаешь. А хорошо.

— Хорошо, — согласился Матвей. — Костерок бы счас над речкой... Лежать бы — считать звезды.

Степан засмеялся:

— Ты прямо мою думку подслушал... Поваляться б? Эх, поваляться б!.. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко: чего эт ты с горбатой-то надумал? Правда, что ль, блажь нашла или, может, на богатство поманило, а теперь сознаться совестно? А?

— Не надо про это, — не сразу ответил Матвей. — Не надо, Степан. — И стал грустный.

Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил. Сказал только:

— Я рассказывал тебе... Ты не веришь.

12

Макся попался в Астрахани. Его узнали на улице. Вернее, узнал он. Пропажу свою узнал. Когда осенью были в Астрахани, пропал у Макси красавец нож с позлаченной рукоятью. Редкий нож, искусной работы. Макся горевал тогда по ножу, как по человеку. А тут — шел он по улице, глядь, навстречу ему — его нож: блестит на пузе у какого-то купца, сияет, как кричит.

— Где нож взял? — сразу спросил Макся купца.

— А тебе какая забота? Где бы ни взял...

У Макси — ни пистоля, ни сабли при себе, он в драной одежонке... Но прикинул парень астраханца на глаз — можно одолеть. Не дать только ему опомниться... А пока он так прикидывал да глянул туда-сюда по улице, астраханец, зачувя недоброе, заблажил. Макся — наутек, но подбежали люди, схватили его. И тогда-то некая молодая бабенка — без злого умысла даже, просто так — вылетела с языком:

— Ой, да от Стеньки он! Я его видала, когда Стенька-то был... Со Стенькой он был. Я ишо подумала тада: какие глаза парню достались...

У Макси и впрямь глаза девичьи: карие, ласковые... И вот они-то врезались в память глупой бабе.

Повели Максю в пыточный подвал. Вздернули на дыбу... Макся уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над ним, как ни мучили — молчал. Меняли бичи, поливали изодранную до костей спину рассолом — молчал. Бился на соломе, орал, потом стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасение. Молчал. Так наказал атаман — на случай беды: молчать, что бы ни делали, как ни били.

Устали заплечные, и пищик, и подьячий, мастер и любитель допроса. Вошли старший Прозоровский с Иваном Красулиным.

— Ну как? — спросил воевода.

— Молчит, дьяволенок. Из сил выбились...

— Да ну? Гляди-ко...

— Как язык проглотил.

— Ну, не отжевал же он его, правда.

— Сбудется! У этого ворья все сбудется.

Воевода зашел с лица Максе.

— Ух, как они тебя-а!.. Однако перестарались? Зря, не надо так-то. Ну-ка снимите его, мы поговорим. Эх, дорвались, черти! — Голос у воеводы отеческий, а глаза красные — от бессонницы последних ночей, от досады и слабости. Этой ночью пил со стрелецкими начальными людьми, много хвалился, грозил Стеньке Разину. Теперь — стыдно и мерзко.

Максю сняли с дыбы. Рук и ног не развязали, положили на лавку. Воевода подсел к нему. Прокашлялся.

— К кому послали-то? Кто?

Макся молчал.

— Ну?.. К кому шел-то? — Воеводе душно было в подвале. И почему-то — страшно. Подвал темный, низкий, круглый — исхода нет, жизнь загибается здесь концами в простой, жуткий круг: ни докричаться отсюда, ни спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно

видно — конец.

— Ну?.. Чего сказать-то велели? Кому?

Макся повел глазами на воеводу, на Красулина, на своих палачей... Отвернулся.

Воевода подумал. И так же отечески ласково попросил:

— Ну-ка, погрейте его железкой — небось сговорчивей станет. А то уж прямо такие упорные все, спасу нет. Такие все верные да преданные... Заблажишь, голубок... страмец сопливый. Погуляешь у меня с атаманами...

Палач накалил на огне железный прут и стал водить им по спине жертвы.

— К кому послали-то? — спрашивал воевода. — Зачем? Мм?

Макся выл, бился на лавке. Палач отнял прут, положил в огонь накалить снова, а горку рыжих углей поддул мехом, она воссияла и схватилась сверху бегучим синеньким огоньком. В подвале пахло паленым и псиной.

— Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, батюшка-то ваш. Сам там пьет-гуляет, а вас посылает на муки. А вы терпите! К кому послали-то? Мм?!

Макся молчал. Воевода мигнул палачу. Тот взял прут и опять подошел к лежащему Максе.

— Последний раз спрашиваю! — стал терять терпение воевода: его тянуло поскорей выйти на воздух, на волю; тошнило. — К кому шел? Мм?

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не нужно ему все это было, безразлично — мир опрокидывался назад, в кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира — остро втыкалась в живое сердце.

Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо...

Макся опять закричал.

Воевода встал, еще раз надсадно прокашлялся от копоти и вони.

— Пеняй на себя, парень. Я тебе помочь хотел.

— Чего делать-то? — спросил подъячий.

— Повесить змееныша!.. На виду! На страх всем.

* * *

Двадцать пятого мая, в троицын день, с молебствиями, с колокольным звоном, с напутствиями удач и счастья провожали астраханский флот под началом князя Львова навстречу Разину.

Посадский торговый и работный люд огромной толпой стоял на берегу, смотрел на проводы. Ликований не было.

Здесь же, на берегу, была заготовлена виселица.

Ударили пушки со стен.

К виселице поднесли Максю, накинули петлю на шею и вздернули еле живого.

Макся был так истерзан на пытках, что смотреть на него без сострадания никто не мог. В толпе астраханцев возник неодобрительный гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвернулись от ужасного зрелища.

Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. Махнул князю, чтоб отплывали, — чтоб хоть прощальным гамом и напутственной стрельбой из пушек сбить и спутать зловещее настроение толпы.

Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляли пушки со стен Белого города.

Воевода с военными иностранцами, которые оставались в городе, направились к Кремлю.

Гул и ропот в толпе не утихли, когда приблизился воевода с окружением, напротив, стал определенно угрожающим. Послышались отдельные выкрики:

— Негоже учинил воевода: в святую троицу человека казнили!!

— А им-то что?!. — вторили другие. — Собаки!

Младший Прозоровский приостановился было, чтоб узнать, кто это посмел голос возвысить, но старший брат дернул его за рукав, показал глазами — идти вперед и помалкивать.

— Виселицу-то для кого оставили?! — осмелели в толпе.

— Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь... Близко!

— Он придет, наведет суд! Он вам наведет суд и расправу!

— Сволочи! — громко сказал Михайло Прозоровский. — Как заговорили!

— Иди, вроде не слышишь, — велел воевода. — Даст Бог, управимся с ворами, всех крикунов найдем.

— Прижали хвосты-то! — орали. — Он придет, Стенька-то, придет! Он вам распорет брюхо-то! Он вам перемочит кишки!

— Узю их!..

— Сволочи, — горько возмущался Михайло Прозоровский.

Так было в городе Астрахани.

13

А так было на Волге, пониже Черного Яра, тремя днями позже.

Разинцы со стругов заметили двух всадников на луговой стороне (левый берег). Всадники махали руками, явно привлекая к себе внимание.

Стали гадать:

— Похоже, татаре: кони татарские.

— Они... Татаре!

— Чего-то машут. Сказать, видно, хотят. Батька, вели сплавать!

Степан всматривался со струга в далекий берег.

— Ну-ка, кто-нибудь сплавайте, — велел.

Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали веслами к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, бросали якоря, шумнули своим конным, чтоб стали тоже.

Степан сошел на берег, крикнул вверх, на крутояр, где торчали конские и людские головы:

— Федька!..

Через некоторое время наверху показалась голова Федьки Шелудяка.

— Батька, звал? — крикнул он.

— Будь наготове! — сказал ему Иван Черноярец (Степан в это время переобувался — промочил ноги, когда сходил со струга). — Татаре неспроста прибежали. Никого там не видно? На твоей стороне.

— Нет.

— Смотрите!

— Не зевали чтоб, — подсказал Степан. — Им видней там...

— Слышь, Федька!

— Ай?!

— Не зевайте!

— Смотрим! А кто там? Татар гости плюхат?

Казак засмеялся: Шелудяк иногда смешно коверкал слова.

Стружок между тем махал от левого берега. А те два всадника скоро поскакали в степь.

Разинцы поутихли... Ждали. Догадывались: неспроста прибежали татары, неспроста. Атаман постоянно сообщается с ними, но и он озадачен.

— Идут, думаешь? — спросил Черноярец. — Прозоровский идет?.. А? Тимофеич?

— Иван... — с некоторым раздражением сказал Степан, — я столько же знаю, сколь ты. Подождем.

Стружок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось. Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу, застрял.

Степана и других охватило нетерпение.

— Ну?! — крикнул Иван. — Умерли, что ль?!

На стружке молчали. Гребли, старались скорей. Стало понятно: везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры: не высказывают с оправданием, что — стараются.

Наконец, когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу.

— Татаре!.. Говорят: тыщ с пять стрельцов и астраханцев верстах в трех отсудова. Это мурза шлет. — Казак вышел на берег, подал Степану лист. — Тыщ с пять, сами видали, говорят: стругами, хорошо оруженные.

Степан передал лист Мишке Ярославову (татарскую писанину знал только он один), сам принялся расспрашивать казака:

— Водой только? Конных они, может, не углядели? Яром едут где-нибудь...

— Конных нет, говорят. Водой. Держутся ближе к высокому берегу.

— Этой... большой дуры нет с ими? — спросил Степан, в нетерпении поглядывая на Мишку.

— Какой дуры?

— Корабль, они называют... «Орел».

— Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был.

— Мурза пишет, — начал Мишка, глядя в лист, — были у его от Ивана Красулина... Три тыщи с лишком стреч нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтоб ты не горевал: стрельцы меж собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных, и своих тоже, — побьют, как с тобой свидются. Чтоб ты только не кинулся на их сдуру... Они для того на переднем струге какого-нибудь своо несогласнова или иноземца на щеглу кверху ногами взденут. Так чтоб знал: стрельцы служат тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему: как-никак, а город брать надо. А в городе ишо остались, мол, — приготвились сидеть. Пишет... какого-то молодого казака на троицу истерзали и повесили. Не Максю ли?

— Это он пишет «не Максю ли»?

— Да нет, это я говорю... Макся, наверно, попался.

— А там все?

— Все. Дальше — поклоны всем...

Степан постоял в раздумье... Поднялся выше, на камни, громко сказал всем, кто мог слышать:

— Казаки!.. Там, — указал рукой вниз по Волге, — стрельцы! Их три с лишним тыщи. Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться: как я начну, так и вы начинайте. А раньше меня не надо. Я напередке буду. Федька!..

— Слухаю, батька! Я все слухаю.

— Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем.

Без меня не стреляй!.. Счас к тебе Иван придет. — Степан повернулся к Черноярцу: — Иван, иди к им, а то они не разберутся там... Сам знай: может, с воеводиной стороны и пальнут раз другой, ты все равно терпи. А как уж увидишь — бой, тада вали. Мы их изловчимся как-нибудь к берегу прижать. С богом! — Степан показал рукой — вниз. — Там стрельцы. Не бойтесь, ребятушки: они сами нас боятся!

Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом, осторожно держался Львов: всё высылают и высылают его первым встречать Разина и всё никак не поймут, что неудачи этих высылков — если не целиком, то изрядно — суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. А бит был князь по указу царя перед приказом тверским — за непомерные поборы (нажиток), за несправедливость и лиходейство... Был бит и обречен во вторые воеводы в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложная: умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а и умели, в свалке, укусить хозяина — за пинок и обиду. И при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие. Постигалось вообще многое. «Тишайший» много строил, собирал, заводил, усмирал... Придет энергичный сын, и станет — империя; однако все или почти все — много — было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи — равнение миллионов на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею, из чувства самосохранения, — с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникновение — в том же общественном климате — личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых — с другой стороны, ведь все это, некоторым образом, было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин и потом, совсем — Петр Великий.

Князь Семен всматривался из-под руки вперед.

— А что, — недовольно обратился он к начальным помощникам своим, — иноземные молодцы поотстали? — Князь все смотрел вверх по реке. — А?

— Вон они. Куда им торопиться?

— Давайте-ка их наперед, — велел князь. — А то они в городе покричать любят, а тут их не доискаться. Давайте. Скоро и Степан Тимофеич пожалует. Всыпет он нам седня, батюшка. Всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие — выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай... А вот и он. Вот они!.. — вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед.

Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и с ходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу — конные — забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно — как в гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол.

— Вот как воевать-то надо, — тихо сказал князь Львов, бледный. — Пропали. Вот теперь-то уж пропали.

— Здравствуйте, братья! — зазвучал голос Степана; он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам. — Мстите теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка!.. Я пришел дать вам волю!

— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеич! — заорали стрельцы и астраханцы. — Рады видеть тебя живым-невредимым!

Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малое сопротивление, полетели в воду.

— Вы мне дети и братья! — подстегивал расправу Разин. — Вы будете богаты, как мы. Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе! Не бойтесь расплаты! Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказывать бояр! Не все вам спины-то гнуть!.. Вы теперь — вольные казаки!

«Вольные казаки» вязали дворянских, купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев — вели на суд атамана. Суд был короткий — в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли: не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана.

— Здоров, князюшка! Дал Бог, свиделись. Чего такой невеселый? — спросил Степан.

— Пошто?.. Вон как весело! — Князь Семен горько усмехнулся. — Чересчур даже... Пир горой!

— Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал...

— За стенами надежней.

— Не знаю. Я так не думаю. Много ль за стенами осталось?

— Есть...

— Будут со мной биться? Как думаешь?

Князь помолчал.

— Мне то неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там... Они знают. Много с тобой в Царицыне бились?

— Есть, — согласился Степан. — Есть, князь. Куда я без их? Я без их как без рук. Максью закатовали? Астрахань мне ответит... Ответит! Прозоровского за ноги повешу. Не веришь?

— Как не верю?! Верю. Вон они... тоже верют, бедняги. — Князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе... Князь отвернулся. — Как не верить, не хочешь, да поверишь.

— Что, князь? — спросил Степан. — Страшно?

— Мне что же страшно?.. Тебе за все ответ держать, не мне. Мне их жалко... Как ты решился на такое? — Князь открыто посмотрел на Степана. — Ведь это бунт, Стенька. Да бунт-то какой — невиданный. Как же это можно? Неужель ты не думаешь?

— Жалко тебе их? — переспросил жестко Степан, кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди.

Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито:

— Как мне тебе ответить: «Нет, не жалко»?

— Вот, — кивнул Степан. — Тебе своих жалко, мне — своих. Сколь тут? — капля в море. Рази вы столько извели, без крова оставили, по миру пустили... А ты говоришь, как решился. Вы-то решились.

— Кто мы-то?

— Вы. Вы хуже Мамаю... хуже турка! Вы плачете, а мне кажется, волки воют.

Князь Семен посмотрел на атамана... и ничего не сказал. Но, помолчав, все же решился еще возразить:

— Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то... грех. Чего вам не хватало-то?

— Со мной не одни казаки, что, не видишь? У меня тут всяких...

— Вы затеяли-то.

— Затеяли-то вы, князь. Не бежали б они к нам да не рассказывали, как вы их там... Собаки! — сорвался Степан на крик. — Стоит тут рот разевает «вы», «вы-ы»... А вы?! Вон где ваше место! — Степан показал. — На дне! Тоже туда захотел? Жалость свою пялит стоит... У вас ее сроду не было.

Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать.

Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег... Конные тоже послезали с коней. Раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил: «Приступить Астрахань».

14

Рано утром, когда еще митрополит служил заутреню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы.

— Что вы?

— Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо: отворилось небо и на город просыпались искры, как из печки. Много!..

— Сие видение извещает, что изольется на нас фиял гнева божия, — сказал митрополит. И поспешил к воеводе. В решающие и опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному — здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то — и не сильный, и не умный — сыромятина, митрополит понимал это, но больше идти некуда.

— Беда, — вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде. — Господи, на тебя одного надежда. Укрепи город.

Вошел подьячий Алексеев.

— Слышал чудо-то? — спросил его воевода.

Алексеев глянул на Прозоровского и покривился:

— Это чудо — не чудо. Вон чудо-то, на дворе. Вот это так чудо!

— Чего там? Кто? — вскинулся воевода.

— Стрельцы.

— Денег просят?

— Простят ли?! Так не просят. За горло берут!

— Святой отец, я соберу, сколь могу, остальное добавь ты. Иначе несдобровать нам. — Воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита. — Давайте спасаться.

— Сколь надо-то? — спросил тот.

— Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупись — для ихнего же живота.

— Шестьсот рублей найду, — сказал митрополит. — Тыщи с две монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? Надо дать.

— Надо, отец, ничего больше не выдумашь. Как ни крути, а все — надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная, матушка!.. Тоску смертную чую. Говорил тада: не пускать Стеньку оружного! Нет, пустили...

— Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев. — Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить...

— Платить, платить стрельцам, — отчаянно и горько говорил Прозоровский. — Сколь есть, все отдать. Все! Не жадовать. Один раз пожадовали...

— Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку — с платой-то, — посоветовал митрополит. — Степенней будь, не суетися.

— Степенней... С голым-то задом много настепенничаешь.

...Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали:

— Где воевода?! Пускай к нам выходит!

— Что нам служить без денег!

— Служить — ладно! На убой идти накладно.

— У нас ни денег, ни запасов нету, пропадать, что ли?!

— Пускай дает жалованье!

Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие.

— До этой самой поры, дети мои, — заговорил воевода, — казны великого государя ко мне не прислано...

— Пропадать, что ли?!

— Но я вам дам своего, сколь могу! Дастся вам из сокровищниц митрополита; Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть, стойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за святую соборную и апостольскую церкву, — и будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет!

Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это не опора в беде смертной, нет. Нечего и тешить себя понапрасну.

Воевода, митрополит, иностранцы-офицеры понимали это.

— Косподин... Иван Семьеновичш, — заговорил Бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце. — Мы просит восфращать наш сфобода, который нам дан, когда мы пришель к этот берег. Мы толжен сполнять тругой прикасаний царский фелишество... Мы будет ехать Персия.

— Пошел ты к дьяволу, — негромко сказал воевода. — Утекать собрался? — И повернулся к Бутлеру: — Подождать надо, капитан! Служба царю теперь здесь будет. Здесь! Вот. Успеете в Персию.

— Почщему? Мы толшен Персия...

— Вот тут будет и Персия, и Турция, и... черт с рогами. Нельзя нас оставлять. Нельзя! Нехорошо это! Не по-божески!

— Быть беде, — сам себе сказал митрополит. — Крысы побежали. Ну, держись, Астрахань! Это вам не Заруцкий, это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, царица небесная, матушка. Надо стоять!

Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально; все понимали: беда неминуча, старались с душой.

Впереди несли икону Божьей Матери; прекрасный лик Матери, прижавшей к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе.

Обходили кругом стену.

Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие.

Прозоровский с военными осматривали городские укрепления. Обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях; при всех воротах поставили воротников. Чтобы пресечь всякое сообщение города с внешним миром, велели завалить все ворота кирпичом.

На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже — кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили вороха дров, наливали в большие котлы воду — чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих.

Однако большого оживления незаметно; с тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль.

— Только не боитесь, ребяташки! — подбадривал воевода. — Ничего они с нами не сделают. Посидим, самое большое, с недельку. А там войско подойдет: гонцы наши теперь к Москве подъезжают...

— А где ж князь Семен-то? — спрашивали воеводу. — Какие вести-то от его?

— Князь Семен... Он придет! Гонцов на Москву мы надежных послали, резвых — скоро добегут. Пойдите, детушки, за царя и церкву святую, не дайте своровать вору — царь и Господь не оставят вас.

* * *

Войско Разина стало на урочище Жареные Бугры — в ночь изготовились штурмовать Астрахань.

А уж и кралась ночь, темнело.

Степан был спокоен, весел даже, странен... Костров не велел зажигать, ходил впотьмах с есаулами среди казаков и стрельцов, негромко говорил:

— Ну, ну... Страшновато, ребята. Кому ишо страшно?

Из тьмы откликались — весело тоже, негромко:

— Да ну уж, батька!.. Чего?

— А стены-то? Чего... Подушками, что ль, оттуда кидаться будут? Это вы... не храбритесь пока: можно гриб съесть.

— Бог даст, батька!..

— Бог даст, ребяташки, Бог даст... Оно и обмирать загодя — негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. Так?

То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос, и только, послушать, как станут откликаться, но очень вовремя он затеял этот обход, очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый, сильный, а когда он не орет, не злится, голос его — родной, умный, милый даже... Он вроде все подсмеивается, но слышно, что — любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос, вся душа его в нем — большая, сильная. Где душа с перевивом, там голос непростой, плетеный, там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто.

— Ну, все готово? — спросил Степан есаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра; снизу, из мокрой долины, тянуло сыростью; мирно квакала лягушня.

— Готово.

— Ночка-то подгодила... — Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца. И стал рассказывать свой замысел.

Говорили все тихо, спокойно.

— Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой, Федор с Васильем прямо полезут. Из

протоки мы свернем в Черепаху...

— Углядеть ее, Черепаху-то, — сказал Иван.

— Пошли вперед, кто знает... он нам мигнет огоньком.

— Ну?

— Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривушу, там не промажем, там я знаю, и мы окажемся с полуденной стороны городка: нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш «нечай», валите с шумом. Где-нибудь да перемахнем... Раньше нас только не лезьте: надо со всех сторон оглушить. С богом, ребята! Возьмем городок, вот увидите.

15

Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские; казаки пошли на приступ.

— Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно! — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными. — Дерзайте! — повторял воевода, облакаясь в панцирь. — Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать, доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет, в надежде на Бога, получить блага и наслаждения со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщения богоотступника Стеньки Разина...

Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали; вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом.

— Дерзайте, дети! — повторял воевода.

— Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти, — как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин.

— Куда он ударил, разбойник? — спросил его воевода.

— На Вознесенские ворота.

— Туда, детушки! Дерзайте!

Трубили трубы к бою, звонили колокола; там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма.

— И ночь-то выбрали воровскую. Ни зги не видать... Жгите хоть смолье, что ли! — велел воевода.

— Смолья! — подхватили во тьме разные голоса.

У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами; лестницы отталкивали со

стены рогатинами.

— Да суда ли он ударил-то?! — крикнул Михайло Прозоровский брату. — Обманули ведь нас! Да растудыт твою!.. — Младший Прозоровский чуть не плакал. — Обманули! Обманули ведь нас!..

— А куда же? Куда ударил? — растерялся старший Прозоровский.

— А там что за шум?!

— Где?! — тоже закричал зло первый воевода.

— Да там-то, там-то вон!.. Эх!.. Как детей малых!..

Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, — в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание.

Один упрямый пушкарь — то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой — гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла: пушкаря прикончили возле пушки.

— В город, братцы! — кричали весело. — Вали!

— Любо эдак-то городки брать! Хх-эх!..

— А где батька-то? В городе?

— На месте батька! Вали!..

Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли. Лестницы не успевали отпихивать.

Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка (ее «голос» знали все), и со всех сторон послышалось заполошное:

— Ясак! Ясак! — То был крик о пощаде, кричали астраханцы.

Город сдавался.

— Обманули! — заплакал молодой Прозоровский. — Там уж пустили их! А здесь глаза отводят. Эх!..

— Сдаю город! — громко закричал стрелецкий голова Красулин. — Давай, как говорили!..

Это был не крик отчаяния, а — так все и поняли — сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним.

— Стойте, ребяташки! — кричал воевода. — Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками; за то получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с Христовыми мучениками!..

В это время сзади подбежали первые казаки. И началось избиение, жестокое, при огнях.

Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо.

Дворяне и приказные одни бросились наутек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно: наседали и казаки и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены, казаки Уса: они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная и полосовались саблями.

— В Кремль! — велел воевода. — В Кремль пробивайтесь!

Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами.

На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных, дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше.

В суматохе не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль, туда и пятились, отбиваясь, наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы: в Кремле можно было запереться.

Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя — потный, всклокоченный, скорый. Прихрамывал: прострелили на южной стене ногу, мякоть.

— В Кремль! — тоже велел он. — Скорей, пока там не заперлись! Иван, останься — добей этих. В Кремль! К утру надо весь городок взять. Не остывайте!

И повел большую часть казаков к Кремлю.

Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопrotивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга, не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то вспыхивая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей.

...Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Кремле. Он стонал.

Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков.

Прибежал митрополит. Склонился над воеводой, заплакал...

— Причаститься бы, — с трудом сказал воевода. — Все, святой отец. Одолел вор... Кара. Причасти... умираю. Скажи государю: стоял... Причасти, ради Христа!..

— Причащу, причащу, батюшка ты мой, — плакал митрополит. — Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас Господь. За прегрешения наши...

Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь... Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, причет, слезы заполнили весь храм под купол; в пустой гулкой темени — высоко и жутко — вскрикивали, бормотали голоса.

Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый Фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков и Стеньку Разина.

Еще прибежали несколько дворян — последние. Закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку... Последних вбежавших спрашивали:

— Вошли?

— Где они?

— Вошли... Через Житный и Пречистенские ворота. Пречистенские вырубили. Все посадские к вору перекинулись, стрельцы изменили... Город горит. Светопреставленье!..

В дверь (деревянную) забарабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверно бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью.

Ужас смертный охватил осажденных. Молились. Выли. Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов; трое казаков упало.

Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол.

Фрола Дуру, изрубили на месте.

Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольной. Дворян, купцов, стрельцов — всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали рядком под колокольную же.

— Тут подождите пока, — говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились.

— А что с нами делать будут? — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольной. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают.

— Ждите, — опять сказали им.

— А что сделают-то? — извязался один купец с темными выпученными глазами.

— Ждите! Прилип как банный лист... Блинами кормить будут.

Ждали Степана.

Светало. Бой утихал. Только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики.

С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромя, скоро прошел к колокольной, остановился над лежащим воеводой... Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан известкой и кровью. Злой, возбужденный; глаза льдисто блестя, смотрят пристально, с большим интересом.

Суд не сулил пощады.

— Здоров, боярин! — сказал Степан, сказал не злорадствуя, — как если бы ему было все равно, кто перед ним... Или — очень уж некогда атаману — ждут важные дела, не до воеводы; запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью.

Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся.

— Тебе передавали, что я приду? — спросил Степан. — Я пришел. Как поживает шуба моя?

Из храма вышел митрополит... Увидев атамана, пошел к нему.

— Атаман, пожалей ранетого...

— Убрать! — велел Степан, глянув коротко на митрополита.

Митрополита взяли под руки и повели опять в храм.

— Разбойники! — закричал митрополит. — Как смеете касаться меня?! Анчихристы! Прочь руки!..

— Иди, отче, не блажи. Не до тебя.

— Прочь руки! — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака.

— Принесите боярину шубу, — велел Степан. — Ему холодно. Знобит боярина. Нашу шубу — даровую от войска, не спутайте.

Доброхоты из приказных побежали за шубой.

Большая толпа астраханцев, затаив дыхание, следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он — воевода всесильный, поверженный, не страшный больше... Да прольется кровь! Да захлебнется он ею, собака, и пусть треснут его глаза — от ужаса, что такая пришла смерть: на виду у всех.

И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался: как решить судьбу ненавистного воеводы, за то ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился.

Принесли шубу. Ту самую, что выклянчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо было доиграть тоже при всех — последнее представление, и конец.

— Стань, боярин... — Степан помог Прозоровскому подняться. — От так... От какие мы хорошие, послушные. Болит? Болит брюхо у нашего боярина. Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ая-яй!.. Надевай-ка, боярин, шубу. — Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу. — Вот какие мы нарядные стали! Вот славно!.. Ну-ка, пойдём со мной, боярин. Пойдем мы с тобой высоко-высоко! Ну-ка, ножкой — раз!.. Пошли! Пошли мы с боярином, пошли, пошли... Высоко пойдём!

Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно: атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непродное что-то, представление какое-то.

Огромная толпа в тишине следила — медленно поднимала глаза выше, выше, выше...

Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз, на народ. И

снизу тоже смотрели на них...

Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно — брезгливо, показалось снизу, — мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз.

Воевода грянулся на камни площади и не копнулся. В шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подсакивая на камнях, с легким звоном покатила... Прокатила, подпрыгнула последний раз, звякнула и успокоилась — легла и стала смотреть светлым круглым оком в синее небо.

Степан пошел вниз.

Начался короткий суд над «лучшими» людьми города — дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными клязниками... Тут — никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал:

— Кто?

— Тарасов Лука, подьячий приказу...

Степан делал жест рукой — рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же.

— Кто?

— Сукманов Иван Семенов, гостем во граде... Из Москвы...

Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом:

— Кхэк!

— Кто?

— Не скажу, вор, душегубец, раз...

— Ы-ык! Молодой, а жиру!.. Боров.

— Кто?

— Подневольный, батюшка. Крестьянин, с Самары, с приказа, с гумагами послан...

Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольной, не пропускали ни одного слова.

— Врет! — крикнули из толпы, когда заговорил самарец. — С Самары, только не крестьянин, а с приказа, и суда в приказ прислан... Лиходей!

— Кхэк!.. — махнул казак, голова самарского приказного со стуком, с жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца.

Некоторых Степан узнавал.

— А-а, подьячий! А зовут как, забыл...

— Алексей Алексеев, батюшка...

— За ребро, на крюк.

— Батюшка!.. Атаман, богу вечно молить буду, и за детей твоих... Сжался, батюшка! Может, и тебя когда за нас помилюют...

Подьячего уволокли к стене.

— Где хоронить, батька? — спросили Степана.

— В монастыре. Всех в одну братскую.

— И воеводу?

— Всех. По-божески — с панихидой. Жены и дети... пусть схоронят и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать. — Степан строго поглядел на казаков, еще раз сказал: — Сильничать баб не велю! Только — любовно.

На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода «дела», списки, выписи, грамоты... Еще один суд — над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно.

— Вали!.. В гробину их!.. — Степан успел хватить «зелена вина»; он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней. — Все?

— Все батька!

— Запалый!

Костер празднично запылал; и мерещилось в этом веселом огне — конец всякому бессовестному житью, всякому надругательству и чванству и — начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают.

— Звони! — заорал Степан. — Во все колокола!.. Весело, чтоб плясать можно. Бего-ом! Все плясать будем!

Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей... Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие удары «музыки», срываясь с высоты, гулко сшибались, рушились на людей, вызывая странный зуд в душе: охота было сделать несурзное, дерзкое — охота прыгать, орать... и драться.

Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел вокруг костра. То был пляс и не пляс — что-то вызывающе-дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют на все.

— Ходи! — заорал он. — Тю!.. Ох, плясала да пристала, сяла на скамеечку. Ненароком придавила свою канареечку! Не сбавляй!.. Вколачивай!

К атаману подстраивались сзади казаки и тоже плясали: притопывали, приседали, свистели, ухали по-бабьи... Наладился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астраханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось.

Черными испуганными птицами кружили в воздухе обгоревшие клочки бумаг; звонили всюду колокола; плясали казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше.

— Ходи! — кричал Степан. Сам он «ходил» серьезно, вколачивая ногой... Странная торжественность была на его лице — какая-то болезненная, точно он после мучительного долгого заточения глядел на солнце. — Накаляй!.. Вколачивай — тут бояры ходили... Тут и спляшем!

Плясали: Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, дед Любим, Семка Резаный, татарчонок, Шелудяк, Фрол Разин, Кондрат — все. Свистели, орали.

Видно, жила в крови этих людей, горела языческая искорка — то был, конечно, праздник: сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола — бумага. Люди радовались.

Степан увидел в толпе Матвея Иванова, поманил рукой к себе. Матвей подошел. Степан втолкнул его в круг:

— Ходи!.. Покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко ловили, блинами тюрьму конопатили... Ходи, Рязань!

Матвей с удовольствием пошел, смешно семеня ногами, и подпрыгивая, и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом:

— Гляди, батька, а то я про донцов... тоже знаю!

Костер догорал.

Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином.

— Эге!.. Добре, — похвалил Степан. — Выпьем, казаченьки!

Улюлюкающий, свистящий, бесовский круг распался.

Выбили в бочке дно; подходили, черпали чем попало — пили.

Астраханцы завистливо ухмылялись.

— Всем вина! — велел Степан. — Что ж стоите? А ну — в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита — у всех! Дуваньте поровну, не обижайте друг дружку! Кого обидют, мне сказывайте! Баб не трогать!

— Дай дороги, черти дремучие! — раздался вдруг чей-то звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще никого не видно. — Шире грязь, назем плывет! — звенел тот же голос, а никого нет. И вдруг увидели: по узкому проходу, образовавшемуся в толпе, прыгает, опираясь руками о землю, человек. Веселый молодой парень, крепкий, красивый, с глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а прыгает ловко, податливо, скорей пешего. Астраханцы знали шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заговорил:

— Атаман!.. Рассуди меня, батюшка, с митрополитом.

— Ты кто? — спросил Степан.

— Алешка Сокол. Богомаз. С митрополитом у нас раздор...

— Так. Чего ж митрополит?

— Иконки мои не берет! — Алешка стал доставать из-за пазухи иконки в ладонь величиной, достал несколько...

Степан взял одну, посмотрел.

— Ну?..

— Не велит покупать у меня! — воскликнул Алешка.

— Пошто?

— А спроси его? Кто там? — Алешка показал снизу на иконку, которую Степан держал в руках.

— Где? — не понял Степан.

— На иконке-то.

— Тут?.. Не знаю.

— Исус! Вот. Так он говорит: нехороший Исус!

— Чем же он нехороший? Исус как Исус... Похожий, я видал таких.

— Во! Он, говорит, недобрый у тебя, злой. Где же он злой?! Вели ему, батюшка, покупать у меня. Мне исть нечего.

Матвей взял у Алешки иконку, тоже стал разглядывать. Усмехнулся.

— Чего ты? — спросил его Степан.

— Ничего... — Матвей качнул головой, опять усмехнулся и сказал непонятно: — Ай да митрополит! Злой, говорит?

— Как тебе Исус? — спросил Степан, недовольный, что Матвей не говорит прямо.

— Хороший Исус. Он такой и есть. Я б тоже такого намазал, если б умел, — сказал Матвей, возвращая богомазу иконку. — Строгий Исус. Привередничает митрополит...

Степану показалось, что это большая и горькая обида, которую нанесли калеке. Опять от мстительного чувства вспухли и натянулись все его жилы.

— Где митрополит? — спросил он.

— В храме.

— Пошли, Алешка, к ему. Счас он нам ответит, чем ему твой Исус не глянется.

Они пошли. Степан скоро пошagal своим тяжелым, хромающим шагом, чуть не побежал, но спохватился и сбавил. Алешка прыгал рядом... Торопился. Рассыпал иконки, остановился, стал наскоро подбирать их и совать за пазуху. И все что-то рассказывал атаману — звенел его чистый, юношеский голос. Степан ждал и взглядывал в нетерпении на храм.

К ним подошел Матвей; он тоже вознамерился пойти с атаманом.

— Ты, мол, обиженный, потому мажешь его такого! — рассказывал Алешка. — А я говорю: да

ты что? Без ума, что ли, бьесся? Что это я на него обиженный? Он, что ли, ноги мне отнял?

— Степан Тимофеич, возьми меня с собой, — попросил Матвей. — Мне охота послушать, чего митрополит станет говорить.

— Пошли, — разрешил Степан.

Алешка собрал иконки. Пошли втроем. Вошли в храм.

Митрополит молился перед иконой Божьей Матери. На коленях. Увидев грозного атамана, вдруг поднялся с колен, поднял руку, как для проклятия...

— Анчихрист!.. Душегубец! Земля не примет тебя, врага господня! Смерти не предаст... — Митрополит, длинный, седой и суровый, сам внушал трепет и почтение.

— Молчи, козел! Пошто иконки Алешкины не велишь брать? — спросил Степан, мерясь со старцем гневным взглядом.

— Какие иконки? — Митрополит посмотрел на Алешку.

— Алешкины иконки! — повысил голос Степан.

— Мои иконки! — смело тоже заорал Алешка.

— Ах, ябеда ты убогая! — воскликнул изумленный митрополит. — К кому пошел жалиться-то? К анчихристу! Он сам его растоптал, Бога-то... А ты к ему же и жалиться! Ты взглядишь: анчихрист! Вглядишь! — Старик прямо показал на Разина. — Вглядишь: огонь-то в глазах... свет-то в глазах — зеленый! — Митрополит все показывал на Степана и говорил громко, почти кричал. — Разуи его — там копытья!..

— Отвечай! — Степан подступил к митрополиту. — Чем плохой Исус? Скажи нам, чем плохой?! — Степан тоже закричал, невольно защищаясь, сбивая старца с высоты, которую тот обрел вдруг с этим «анчихристом» и рукой своей устрашающей.

— Охальник! На кого голос высишь?! — сказал Иосиф. — Есть ли крест на тебе? Есть ли крест?

Степан болезненно сморщился, резко крутнулся и пошел от митрополита. Сел на табурет и смотрел оттуда пристально, неотступно. Он растерялся.

— Чем плохой Исус, святой отче? — спросил Матвей. — Ты не гневайся, а скажи толком.

Митрополит опять возвысил торжественно голос:

— Господь Бог милосердный отдал сына своего на смерть и муки... Злой он у тебя! — вдруг как-то даже с визгом, резко сказал он Алешке. — И не ходи, и не жалься. Не дам Бога хулить! Исус учил добру и вере. А этот кому верит? — Митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в лицо. — Этому впору нож в руки да воровать на Волгу. С им вон, — Иосиф показал на Степана. — Живо сговорятся...

Степан вскочил и пошел из храма.

— Ну, зря ты так, святой отец, — сказал Матвей. — Смерти, что ль, хочешь себе?

— Рука не подыметя у злодея...

— У тебя язык подымается, подыметя и рука. Чего разошелся-то?

— Да вот ведь... во грех ввел! — Митрополит в сердцах ударил Алешку иконкой по голове и повернулся к Богородице: — Господи, прости меня, раба грешного, прости меня, матушка-Богородица... Заступись, Пресвятая Дева, образумь разбойников!

Алешка почесал голову; он тоже сник и испугался.

— Злой... А сам-то не злой?

— Выведете из терпения!..

Тут в храм стремительно вошел Степан... Вел с собой Семку Резаного.

— Кого тут добру учили? — запально спросил он, опять подступая к митрополиту. — Кто тут милосердный? Ты? Ну-ка глянь суда! — Сгреб митрополита за грудки и подтащил к Семке. — Открой рот, Семка. Гляди!.. Гляди, сучий сын! Где так делают?! Может, у тебя в палатах? Ну, милосердный козел?! — Степан крепко встряхнул Иосифа. — Всю Русь на карачки поставили с вашими молитвами, в гробину вас, в три господа Бога мать!.. Мужикиу голос подать не моги — вы тут как тут, рясы вонючие! Молись Алешкиному Иусу! — Степан выхватил из-за пояса пистоль. — Молись! Алешка, подставь ему свово Иусу.

Алешка подпрыгал к митрополиту, прислонил перед ним иконку к стене.

— Молись, убью! — Степан поднял пистоль.

Митрополит плюнул на иконку.

— Убивай, злодей, мучитель!.. Казни, пес смердящий! Будь ты проклят!

Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы... Побелел.

Матвей упал перед ним на колени.

— Батька, не стреляй! Не искусись... Он — хитрый, он нарошно хочет, чтоб народ отпугнуть от нас. Он — старик, ему и так помирать скоро... он хочет муку принять! Не убивай, Степан, не убивай! Не убивай!

— Сука продажная, — усталым, чуть охрипшим голосом сказал Степан, засовывая пистоль за пояс. — Июда. Правду тебе сказал Никон: Июда ты! Сапоги царю лижешь... Не богу ты раб, царю! — Степана опять охватило бешенство, он не знал, что делать, куда деваться с ним.

Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, шептал молитву, на атамана не смотрел.

Степан с томлением великим оглянулся кругом... Посмотрел на митрополита, еще оглянулся... Вдруг подбежал к иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на митрополита, как в бою:

— Не ври, собака! Не врите!.. Если б знал Бога, рази б ты обидел калеку?

— Батька, не надо так... — ахнул Алешка.

— Бей, коли, руби все, — смиренно сказал Иосиф. — Дурак ты, дурак заблудший... Что ты

делаешь? Не ее ты ударил! — Он показал на икону. — Свою мать ударил, пес.

Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько раз рубанул сплеча витые золоченые столбики, но сам, видно, ужаснулся... постоял, тяжело дыша, глянул оторопело на саблю, точно не зная, куда девать ее...

— Господи, прости его! — громко молился митрополит. — Господи, прости!.. Не ведает он, что творит. Прости, Господи.

— Ух, хитрый старик! — вырвалось у Матвея.

— Батька, не надо! — Алешка заплакал, глядя на атамана. — Страшно, батька...

— Прости ему, Господи, поднявшему руку, — не ведает он... — Митрополит смотрел вверх, на распятие, и крестился беспрестанно.

Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма.

— Кто породил его, этого изверга! — горестно воскликнул митрополит, глядя вслед атаману. — Не могла она его прислать грудного в постеле!..

— Цыть! — закричал вдруг Матвей. — Ворона... Туда же — с проклятием! Поверни его на себя, проклятие свое, бесстыдник. Приспешник... Руки короткие — проклинать! На себя оглянись... Никона-то вы как?.. А, небось языки не отсохли — живы-здоровы, попрошайки.

Степан шагал мрачный через размахнувшийся вширь гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с вином. Казаки и астраханцы вовсю гуляли. Увидев атамана, заорали со всех сторон:

— Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеич!

— Дай тебе Бог много лет жить и здравствовать, заступник наш!

— Слава батюшке Степану!

— Слава вольному Дону!

— С нами чару, батька?

— Гуляйте, — сказал Степан. И вошел в приказную палату.

Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мертвый Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою.

Никого в палате не было.

Степан тяжело опустился на табурет в изголовье Ивана.

— Вот, Ваня... — сказал. И задумался, глядя в окно. Даже сюда, в каменные покои, доплескивался шумный праздник.

Долго сидел так атаман — вроде прислушивался к празднику, а ничего не слышал.

Скрипнула дверь... Вошел Семка Резаный.

— Что, Семка? — спросил Степан. — Не гуляется?

Семка промычал что-то.

— Мне тоже не гуляется, — сказал Степан. — Даже пить не могу. Город взяли, а радости... нету, не могу нисколь в душе наскрести. Вот как бывает.

И опять долго молчал. Потом спросил:

— Ты богу веришь, Семка?

Семка утвердительно кивнул головой.

— А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то шумит... Бога топчем. Рази мы Бога обижаем? У меня на Бога злости нету. Бога топчем... Да пошто же? Как это? Как это мы Бога топчем? Ты не думаешь так?

Семка покачал головой, что — нет, не думает. Но его беспокоило что-то другое — то, с чем он пришел. Он стал мычать, показывать: показывал крест, делал страшное лицо, стал даже на колени... Степан не понимал. Семка поднялся и смотрел на него беспомощно.

— Не пойму... Ну-ка ишо, — попросил Степан.

Семка показал бороду, митру на голове — и на храм, откуда он пришел, где и узнал важное, ужасное.

— Митрополит?

Семка закивал, замычал утвердительно. И все продолжал объяснять: что митрополит что-то сделает.

— Говорит? Ну... Чего митрополит-то? Чего он, козел? Лається там небось? Пускай...

Семка показал на Степана.

— Про меня? Так. Ругается? Ну и черт с им!

Семка упал на колени, занес над головой крест.

— Крестом зашибет меня?

— Ммэ... э-э... — Семка отрицательно затряс головой. И продолжал объяснять: что-то страшное сделают со Степаном — митрополит сделает.

— А-а!.. Проклянут? В церквах проклянут?

Семка закивал утвердительно. И вопросительно, с тревогой уставился на Степана.

— Понял, Семка: проклянут на Руси. Ну и... проклянут. Не беда. А Ивана тебе жалко?

Семка показал, что — жалко. Очень... Посмотрел на Ивана.

— Сижу вот, не могу поверить: неужели Ивана тоже нету со мной? Он мне брат был. Он был хороший... Жалко. — Степан помолчал. — Выведем всех бояр, Семка, тада легко нам будет,

легко. Царь заартачится, — царя под зад, своего найдем. Люди хоть отдохнут. Везде на Руси казачество заведем. Так-то... Это по-божески будет. Ты жениться не хошь?

Семка удивился и показал: нет.

— А то б женили... Любую красавицу боярскую повенчаю с тобой. Приглядишь, скажи мне — свадьбу сыграем. Ступай позови Федора Сукнина.

Семка ушел.

Степан встал, начал ходить по палате. Остановился над покойником. Долго вглядывался в недвижимое лицо друга. Потрогал зачем-то его лоб... Поправил на груди руку, сказал тихо, как последнее сокровенное напутствие:

— Спи спокойно, Ваня. Они за то будут кровью плакать.

Пришел Сукнин.

— Ступай к митрополиту в палаты, возьми старшего сына Прозоровского, Бориса, и приведи ко мне. Они там с матерью.

Сукнин пошел было исполнять.

— Стой, — еще сказал Степан. — Возьми и другого сына, младшего, и обоих повесь за ноги на стене.

— Другой-то совсем малой... Не надо, может.

— Я кому сказал! — рявкнул Степан. Но посмотрел на Федора — в глазах не злоба, а мольба и слезы стоят. И сказал негромко и непреклонно: — Надо.

Сукнин ушел.

Вошел Фрол Разин.

— Там Васька разошелся... Про тебя в кружале орет что попало.

— Что орет?

— Он-де Астрахань взял, а не ты. И Царицын он взял.

Степан горько сморщился, как от полыни; прихрамывая, скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся... помолчал.

— Пень, — сказал он. — Здорово пьяный?

— Еле на ногах...

— Кто с им? — Степан сел в деревянное кресло.

— Все его... Хохлачи, танбовцы. Чуток Ивана Красулина не срубил. Тот хотел ему укорот навести...

Степан вскочил, стремительно пошел из палаты.

— Пойдем. Счас он у меня Могилев возьмет.

Но в палату, навстречу ему, тоже решительно и скоро вошел Ларька Тимофеев, втолкнул Степана обратно в покои... Свирепо уставился атаману в глаза.

— Еслив ты думаешь, — заговорил Ларька, раздувая ноздри, — что ты один только в ответе за нас, то мы так не думаем. Настрогал иконок?!

Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как щитом, смотрел на есаула.

— Ты что, сдурел, Ларька? — спросил он.

— Я не сдурел! Это ты сдурел!.. Иконы кинулся рубить. А митрополит их всем показывает. Зовет в церкву и показывает... Заместо праздника-то... горе вышло: испужались все, дай Бог ноги — из церквы. На нас глядеть боятся...

До Степана теперь только дошло, как неожиданно и точно ударил митрополит: ведь он же сейчас нагонит на людей страху, отвернет их, многих... О, проклятый, мудрый старик! Вот это — дал так дал.

Степан сел опять в кресло. Посмотрел на Ларьку, на брата Фрола... Качнул головой.

— Что делать, ребята? Не подумал я... Что делать, говорите? — заторопил он.

— Закрыть церкву, — подсказал Фрол.

— Как закрыть? — не понял Ларька.

— Закрыть вовсе... не пускать туда никого.

— А? — вскинулся с надеждой Степан.

— Нет... видели уж, — возразил Ларька. — Так хуже.

— А как? — чуть не в один голос спросили Степан и Фрол. — Как же? — еще спросил Степан. — Разбегутся ведь, правда.

— Сам не знаю. Выдь на крыльцо, скажи: «Сгоряча, мол, я...»

— Ну, — неодобрительно сказал Степан. — Это что ж... Знамо, что сгоряча, но ведь — иконы! А там — мужичье: послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. Где Матвей? Ну-ка, Фрол, найди Матвея.

— Э-э! — воскликнул Ларька. — Давай так: я мигом найду монаха какого-нибудь, научу его, он выйдет и всем скажет: «Там, мол, митрополит иконы порушенные показывает: мол, Стенька изрубил их — не верьте: митрополит сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку». А?

Братья Разины, изумленные стремительным вывертом бессовестного Ларьки, молча смотрели на него. Есаул мыслил, как в ненавистный дом крался: знал, где ступить неслышно, как пристукнуть хозяина и где вымахнуть, на случай беды, — все знал.

— Где ты такого монаха найдешь? — спросил Степан первое, что пришло в голову; Ларька часто его удивлял.

— Господи!.. Найду. Что, монахи жить, что ли, не хотят? Все жить хотят.

— Иди, — сказал Степан. — Иди, останови митрополита вредного. Прوماхнулся я с им.

— А ты потом выйдешь и устыдишь митрополита принародно. Скажи: «Ая-яй-яй, старый человек, а такую напраслину на меня...»

— Нет, — возразил Степан, — я не пойду. Сам устыди его хорошенько. А батька, скажи всем, пьяный лежит. Нет, не пьяный, а... куда-то ушел с казаками. Найди, найди скорей монаха, надавай ему всякой всячины — пусть разгласит всем, что иконы рубил. Хорошая у тебя голова, Ларька. Не пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как я оплошал!..

Трезвый Ларька, а с ним и Фрол пошли улаживать дело.

Ларька смолоду как-то чуть не насмерть отравился «сиухой» и с тех пор не мог пить. Казнился из-за этого — стыд убивал, но никакая сила не могла заставить его проглотить хоть глоток вина: пробовал — тут же все вылетало обратно, потом был скрежет зубовый и страдание. Так и жил — меринном среди жеребцов донских. Может, оттого и злобился лишний раз.

— Мы с Федькой Шелудяком будем стыдить митрополита, — сказал оборотистый есаул Фролу, — а пока монаха пошукаем... Нет, давай-ка так сделаем, — приостановился Ларька, — вы с Федькой Сукниным народу суда назовите побольше — вести, мол, важные, а я монаха приведу. Потом уж митрополита вытащим...

— Матвея тоже возьмите с собой, — посоветовал Фрол, — пусть тоже пристыдит его. Мужичьими словами... он умеет.

— Да пошел он... ваш Матвей — без его управимся.

...Уса Степан не нашел в кружалах: собутыльники Уса, прослышав, что его ищет гневный атаман, заблаговременно увели куда-то совсем пьяного Василия.

На берегу Волги казаки и стрельцы, приставшие к казакам, дуванили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, проверил, что делят справедливо, набрал с собой голи астраханской и повел селить в дома побитых начальных людей и купцов. Скоро за атаманом увязался весь почти посад астраханский... Многие наизготовке несли с собой скарб малый — чтоб немедля и вселяться в хоромы.

Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом пошли в дома убитых в эту ночь и в утро, но народу за атаманом прибывало... Степан вышел на главную улицу — от Волги к Белому городу — и пошел подряд по большим домам: селил бедноту и рвань.

Почти в каждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей не оказывалось — прятались. Остальных домочадцев и слуг выгоняли на улицу... Везде были слезы, вой. Никого не трогали — атаман не велел. Давали забрать пожитки... И в каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами. И в каждом доме — поминки по Ивану Черноярцу.

К концу дня Степан захмелел крепко. Вспомнил Уса, сгрёбся, пошел опять искать его. К тому времени с ним были трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнин и брат Фрол. Степан то лютовал и грозился утопить Ваську, то плакал и звал Ивана Черноярца... В первый раз, когда Матвей увидел, как плачет Степан, у него волосы встали дыбом. Это было страшно... Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то знал — по глазам — это еще не предел, не безумство. Вот — наступил предел. Вот горе породило безумство. В глазах атамана, ничего не видящих,

криком кричала одна только боль.

Оказались возле Кремля, Степан пошел в приказную палату, где лежал Иван. Упал в ноги покойного друга и завыл... И запричитал, как баба:

— Ваня, да чем же я тебя так обидел, друг ты мой милый?! Зачем ты туда? О-ох!.. Больно, Ваня, тоска-а! Не могу! Не могу-у!..

Степан надолго умолк, только тихо, сквозь стиснутые зубы стонал и качал головой, уткнувшись лицом в ладони. Потом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного ложа.

— Вставай, Ваня! Ну их к... Пошли гулять.

Иван с разбитой головой повис на руках Степана... А Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, как Стырь сидел в царицынском приказе.

— Гулять будем! Тошно мне без тебя... — повторял он.

— Степан, родной ты мой, — взмолился Матвей. — Степушка!.. Мертвец он, Иван-то, куда ты его? Положь. Не надо. Убитый он, очнись ты, ради Христа истинного, чего ты тормозишь-то его: убили его.

Вот тут-то сделалось страшно Матвею. Степан глянул на него... И Матвей оторопел — на него глянули безумные глаза, знакомые, дорогие до слез, но — безумные.

— Кто убил? — спросил тихо Степан. Он все держал тело в руках.

— В бою убили... — Матвей попятился к двери. — Ночью...

— Кто? Он со мной был все время.

— Опомнись, Степан, — сказал Федор. — Ну, убили... Рази узнаешь теперь? Возле ворот кремлевских... стрельнули. Иван, царство небесное, завсегда вперед других лоб подставлял. Со стены стрельнули. И не с тобой он был, а с дедкой Любимом вон, спроси Любима, он видал... Мы уж в городе были, а у ворот отбивались ишо.

Степан долго стоял с телом в руках, что-то с трудом, мучительно постигая. Горестно постиг, прижал к груди окровавленную голову друга, поцеловал в глаза.

— Убили, — сказал он. — Отпевать надо. А не обмыли ишо...

— Да положь ты его... — опять заговорил было Матвей, но Федор свирепо глянул на него, дал знак: пусть отпевает! Пусть лучше возится с покойным, чем иное что. Вся Астрахань сейчас — пороховая бочка, не хватает, чтоб Степан бросил в нее головню: взлетит к чертовой матери весь город — на помин души Ивана Черноярца. Стоит только появиться Разину на улице и сказать слово.

— Отпевать надо, — поспешил исправить свою оплошность Матвей. — А как же? Надо отпевать — он христианин.

— Надо, — сказал и Фрол Разин.

Степан понес тело в храм.

— Зовите митрополита, — велел он.

Митрополита искали, но не нашли. Стыдили-таки его, принародно стыдили — Ларька и Шелудяк — за «подлог». У митрополита глаза полезли на лоб... Особенно его поразило, что нашелся монах, уличивший его во лжи. После того он исчез куда-то — должно быть, спрятался.

Отпевал Ивашка Поп, расстрига.

Потом поминали всех убиенных...

16

Утром Степана разбудил Матвей.

— Степан, а Степан!.. — толкал он атамана. — Поднимись-ка!

— А? — Степан разлепил веки: незнакомое какое-то жильё, сумрачно, только еще светало. — Чего?

— Вставать пора.

— Кто тут?

— Подымись, мол. Я это, Матвей.

Степан приподнял тяжелую хмельную голову, огляделся вокруг. С ним рядом лежала женщина, блаженно щурила сонные глаза. Молодая, гладкая и наглая.

— Ты кто такая? — спросил ее Степан.

— Жонка твоя. — Баба засмеялась.

— Тю!.. — Степан отвернулся.

— Иди-ка ты отсудова! — сердито сказал Матвей бабе. — Развалилась... дура сытая. Обрадовалась.

— Степан, застрель его, — сказала баба.

— Иди, — велел Степан, не глядя на «жонку».

Баба выпростала из-под одеяла крепкое, нагулянное тело, сладко, со стоном потянулась... И опять радостно засмеялась.

— Ох, ноченька!.. Как только и выдюжила.

— Иди, сказали! — прикрикнул Матвей. — Бесстыжая... Урвала ночку — тем и будь довольная.

— На, поцалуй мою ногу. — Баба протянула Матвею ногу.

— Тьфу!.. — Матвей выругался, он редко ругался.

Степан толкнул бабу с кровати.

Баба притворно ойкнула, взяла одежонку и ушла куда-то через сводчатый проем в каменной

стене.

Степан спустил ноги с кровати, потрогал голову.

— Помнишь что-нибудь? — спросил Матвей.

— Найди вина чару. — Степан тоскливо поискал глазами по нарядной, с высокими узкими окнами белой палате. — Мы где?

Матвей достал из кармана темную плоскую бутылку, подал.

— В палатах воеводиных.

Степан отпил с жадностью, вздохнул облегченно:

— Ху!.. — Посидел, свесив голову.

— Степан, так нельзя... — Матвей изготовился говорить долго и внушительно. — Эдак мы не только до Москвы, а куда подальше сыграем — в гробину, как ты говоришь. Когда...

— Где Васька? — спросил Степан.

— Где Васька?.. Кто его знает? Сидит где-нибудь так же вот — похмеляется. Ты помнишь, что было-то?

Степан поморщился:

— Не гнуси, Матвей. Тошно.

— Будет тошно! С Васькой вам разойтись надо, пока до беды не дошло. Вместе вам ее не миновать. Оставь его тут атаманом — куда с добром! И — уходить надо, Степан. Уходить, уходить. Ты человек войсковой — неужель ты не понимаешь? Сопьются же все с круга!.. Нечего нам тут делать больше! Теперь мужа с топором — нету. За спиной-то...

— Понимаешь, понимаешь... А не дать погулять — это тоже обида. Вот и не знаю, какая беда больше: дать погулять или не дать погулять. С твое-то и я понимаю, Матвей, а дальше... никак не придумаю: как лучше?

— Сморите маленько. Да сам-то поменьше пей. Дуреешь ты — жалко же. И страшно делается, Степан. Страшно, ей-богу.

— Опять учить пришел? — недовольно сказал Степан.

Матвей на этот раз почему-то не испугался.

— Маленько надо. Царем, вишь, мужицким собирайся стать — вот и слушай: я мужик, стану тебе подсказывать — где не так. — Матвей усмехнулся. — Мне, стало быть, и подсказать можно, где не так делаешь: не боярам же тада подсказывать...

— Каким царем? — удивился Степан. — Ты что?

— Вчерась кричал. Пьяный. — Матвей опять усмехнулся. — А знаешь, какой мужику царь нужен?

— Какой? — не сразу спросил Степан.

— Никакой.

— Так не бывает.

— А если не бывает, тогда уж такой, какой бы не мешал мужикам. И чтоб не обдирал наголо. Вот какого надо. Тут и вся воля мужицкая: не мешайте ему землю пахать. Да ребяташек растить. Все другое он сам сделает: свои песни выдумает, свои сказки, свою совесть, указы свои... Скажи так мужику, он пойдет за тобой до самого конца. И не бросит. Дальше твоих казаков пойдет. И не надо его патриархом сманивать — что он вроде с тобой идет...

Степан заинтересовался:

— Вон как!.. А вот здесь у тебя промашка, хоть ты и умный: он, мужик твой...

— Да пошто же он мой-то?

— Чей же?

— Твой тоже. Чего ты от его отрекаешься?

— Хрен с им, чей он! Он своего помещника изведет и подумает: хватит, теперь я вольный. А невдомек дураку: завтра другого пришлю. А если он будет знать, что с им патриарх поднялся да царевич...

— Какой царевич? — удивился Матвей.

— Алексей Алексеич.

— Он же помер!

— Кто тебе сказал? — Степан пылливо глядел на рязанца, точно проверяя на нем эту неслыханную весть.

— Да помер он! — заволновался было Матвей.

— Врут. Он живой... Царь с боярами допекли его, он ушел от их. Он живой.

Матвей внимательно посмотрел на Степана. Понял.

— Во-он ты куда. Ушел?

— Ушел.

— И к тебе пришел?

— И ко мне пришел. А к кому больше?

— Знамо дело, больше некуда. Про Гришку Отрепьева слышал?

— Про Гришку? — Степан вдруг задумался, точно пораженный какой-то сильной, нечаянной мыслью. — Слышал про Гришку, слышал... Как бабу-то зовут?

— Какую?

— Жонку-то мою...

Матвей засмеялся:

— Ариной.

— Ариша! — позвал Степан.

Арина вошла, одетая в дорогие одежды.

— Чево, залетка моя? Чево, любушка...

— Тьфу! — обозлился Степан. — Перестань! Сходи передай казакам: пускай найдут Мишку Ярославова. Чтоб бегом ко мне!

Арина скорчила Матвею рожу и ушла.

Степан надел штаны, чулки. Заходил по палате.

— А Бог какой мужику нужен? — спросил через свои думы.

— Бог?.. — Теперь и Матвей задумался, хотел сказать серьезно, а серьезно, вплотную никогда так не думал — какой мужику Бог нужен.

— Ну? — не сразу переспросил Степан; из всех разговоров с умным мужиком он не понял: верует тот богу или нет.

— Да вот думаю. Какой-то, знаешь... чтоб мне перед им на карачках не ползать. Свойский. Чтоб я с им — по-соседски, как ты вон рассказывал. Был у меня в деревне сосед... Старик. Вот такого бы. Так живой, говоришь, царевич?

— Что ж старик? — Степан не хотел больше про царевича.

— Старик мудрой... Тот говорил: я сам себе Бог.

— Ишь ты!

— Славный старик. Помер, царство небесное. Такого я б не боялся. А ишо — понимал бы я его хоть. Того вон, — Матвей посмотрел на божницу, — не понимаю. Вся жись меня им пугают, а за что? — не пойму. Ты вон страшный. но я хоть понимаю: так уж человек себя любит, что поперек не скажи — убьет.

Степан остановился перед Матвеем, но тот опередил его неожиданным вопросом.

— А меня-то правда любишь? — спросил.

— Как это? — опешил Степан.

— Вчерась говорил, что жить без меня не можешь. — Матвей искренне засмеялся. — Ох, Степан, Степан... смешной ты. Не всегда, правда, смешной. Да как же царевич-то уцелел, а?

— Я его про Бога, он мне про царевича. С царевичем дело простое: поведем на Москву, спросим отца и бояр: чего там у их?.. Ты богу веруешь?

— Про Бога, Тимофеич... не надо — боюсь. Думать даже боюсь. Вишь, тут как: залезешь в душу-то, по-правдишному-то, а там и говорить нечего — черным-черно. Вовсе жуть возьмет.

Вошел Мишка Ярославов.

— Здорово ночевал, батька! — Сам Мишка не светлей атамана с утра; только, видно, разбудили, опухший.

— Здорово. Садись пиши. — Степан недовольно посмотрел на есаула. — Тоже красавец... Не просвистеть бы нам, есаул, с этой сиухой последний умишко.

— Чего писать-то? — Мишка не глядел на атамана, а на Матвея украдкой, зло зыркнул: овца рязанская, успел наябедничать. — С утра писать...

— Чего говорить буду, то и пиши. Сумеешь хоть?..

Мишка нашел в воеводиных палатах бумагу, чернила, перо... Подсел к столу, склонил набок пудовую голову... Еще раз презрительно глянул на Матвея.

— Давай.

— Брат! — стал говорить Степан, прохаживаясь по горнице. — Ты сам понимаешь... Нет, погоди, не так...

— Это кому ты? — спросил Матвей.

— Шаху персицкому. Брат! Бог, который, ты сам знаешь, управляет государями не так, как целым миром, этой ночью посоветовал мне хорошее дело. Я тебя крепко полюбил. Надо нам с тобой соединиться против притеснителей...

— Погоди маленько, — сказал Мишка. — Загнал. Притеснителей... Дальше?

Матвей изумленно и почтительно смотрел на атамана и слушал.

— Я прикинул в уме: кто больше мне в дружки годится? Никто. Только ты. Я посылаю к тебе моих послов и говорю: давай учиним дружбу. Я думаю, у тебя хватит ума и ты не откажешься от такого выгодного моего предложения. Заране знаю, ты с великой охотой согласишься со мной, я называю тебя другом, на которого надеюсь. У меня бесчисленное войско и столько же богатства всякого, но есть нуждишка в боевых припасах. А также в прочих припасах, кормить войско. У тебя всяких припасов много...

— Погодь, батька. Много... Так?

— У тебя припасов много, даже лишка есть, я знаю. Удели часть своему другу, я заплачу тебе. Я не думаю, чтоб тебе отсоветовали прислать это мне. Но если так получится, то знай: скоро увидишь меня с войском в своей земле: я приду и возьму открытой силой, еслив ты по дурости не захочешь дать добровольно. А войска у меня — двести тыщ. — Степан подмигнул Матвею.

— Так, — сказал Мишка. — Думаешь, клюнет?

— Так что выбирай: или ты мне друг, или я приду и повешу тебя. Печать есть у нас?

— Своей нету. Я воеводину прихватил тут... На всякий случай: добрая печать.

— Притисни воеводину. Пора свою занять.

— Заимеем, дай срок. — Мишка хлопнул воеводиной печатью в лист, полюбовался на свою писанину и на красавицу печать.

— Собери сегодня всех пищиков астраханских: писать письма в городки и веси, — велел Степан, подавая есаулу плоскую темную склянку. — Много надо! Разошлем во все стороны.

— Разошлем, — сказал Мишка, принимая из рук атамана бутыллицу. А ему показал лист. — Чисто указ государев!

— Доброе дело, — похвалил Матвей мысль атамана — про письма-то: он давно талдычил про них.

— К шаху сегодня послать. Скажи Федору; пускай приберет трех казаков... — Степан взял у Мишки бутыллицу с «сиухой», допил остатки.

— Когда же вверх-то пойдем? — спросил Матвей.

— Пойдем, Матвей. Погуляем да пойдем. Наберись терпения. Дай маленько делу завязаться... Пускай про нас шире узнают, народишко-то, — пускай ждут по дороге, чтоб нам не ждать. Пускай и письмишки походят по свету... Надо было раньше с имя додуматься: с зимы прямо двигать. Вот где надо, так ни одного дьявола с советом нет! — Степан отпил еще из бутылки. — Интересно, говоришь, как уцелел царевич? — спросил он легко и весело.

— Шибко интересно. Как же это он, сердешный...

— О, это цельная сказка, Матвей. Разное с им приключалось... Я тебе как-нибудь порасскажу.

Часть третья. Казнь

1

А в Москву писали и писали...

Думный дьяк читал царю и его ближайшему окружению обширное донесение, составленное по сведениям, полученным из района восстания:

— «...Великому государю изменили, того вора Стеньку в город пустили. И вор Стенька Разин боярина и воеводу князя Ивана Семеныча Прозоровского бросил с раскату (Раскатом в XVII веке называли, очевидно, всякое сооружение, которое практически служило еще и целям обзорной высоты: башни крепостных стен, лобные места, колокольни. — Прим. автора.). А которые татаровя были под твоею, великого государя, высокою рукою, и те татаровя тебе, великому государю, изменили и откочевали к нему, вору, к Стеньке. А двух сынов боярских он, Стенька, на городской стене повесил за ноги, и висели они на стене сутки. И одного боярского большого сына, сняв со стены, связав, бросил с раскату ж, а другого боярского меньшого сына, по упрощению матери его, сняв со стены и положи на лубок, отвезли к матери в монастырь. А иных астраханских начальных людей, и дворян, и детей боярских и тезеков всех, и которые с ним, Стенькою, в осаде дрались, побил. И в церквах Божьих образы окладные порубил, и великого государя денежную казну всю поимал, и всякие дела в приказах пожег с бесовскою пляскою, и животы боярские и всяких чинов начальных людей в том городе Кремле все пограбил же. И аманатов из Астрахани отпустил по кочевьям их, и тюрьмы распустил. А

боярская жена и всяких начальных людей жены все живы, и никого тех жен он, Стенька, не бил.

А был он, Стенька, в Астрахани недели с две и пошел на Царицын Волгою. И после себя оставил он, Стенька, в Астрахани товарищев своих, воровских казаков, с десятка по два человека; а с ними, воровскими казаками, оставил в Астрахани начальным человеком товарища своего Ваську Уса.

А стольник и воевода князь Семен Львов ныне в Астрахани жив. А как ему, вору Стеньке, астраханская высылка на Волге сдалась, и он, вор Стенька, учиня круг, и в кругу говорил: люболь вам, атаманы молодцы, простить воеводу князь Семена Львова? И они, воровские казаки, в кругу кричали, что простить его им любо.

А из Астрахани он, вор Стенька, до Царицына шел Волгою две недели.

И пришел он, вор Стенька, на Царицын, послал от себя на Дон воровских казаков с братом своим Фролкою — всех человек с 500 с деньгами и со всякими грабежными животами, да с ними восемь пушек. И у него, у вора Стеньки, на Царицыне были круги многие.

А с Царицына он, вор Стенька, пошел под Саратов. А конных людей у него, Стеньки, нет ни одного человека, потому что которые конные люди у него, Стеньки, были, и у них лошади у всех попадали.

А стружки у него, Стеньки, небольшие, человек по десяти, и в большем человек по двадцати в стружке, а иные в лодках человек по пяти. А которых невольных людей с посадов и стругов неволею к себе он, Стенька, имал, и у тех всех людей ружья нет.

А богу он, вор Стенька, не молится и пьет безобразно, и блуд творит, и всяких людей рубит без милости своими руками. И говорит и бранит московских стрельцов и называет их мясниками: вы-де, мясники, слушаете бояр, а я-де вам чем не боярин? От него, Стеньки, всем воровским казакам учинен заказ крепкой, что уходцев бы от них на Русь не было. А где кого от него, Стеньки, беглеца догонят, и они б тех беглецов, имая на воде, метали в воду, а на сухом берегу рубили, чтоб никто про него, Стеньку, на Русь вести не подал.

А из Саратова к нему прибегают саратовцы человека по два и по три почасту и говорят ему, чтоб он шел к ним под Саратов не мешкав, а саратовцы городские люди город Саратов ему, Стеньке, сдадут, только де в Саратове крепится саратовский воевода».

Дьяк кончил вычитывать. Однако было у него в руках что-то еще...

— Что? — спросил царь.

— Письмо воровское... Он, поганец какой: и чтоб весть про его не шла, и тут же людишек сзывает.

— Ну? — велел царь.

Дьяк стал читать:

— «Грамота от Степана Тимофеича от Разина.

Пишет вам Степан Тимофеич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и

мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како промысел станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя, и опальныя шли бы в полк к моим казакам».

Долго молчали царедворцы.

Беда.

Царь тоже писал.

Другой дьяк басовитым голосом вычитывал на Постельном крыльце московским служилым людям Указ царя:

— «И мы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, велел вам сказать, что Московское государство во жребии и во обороне пресвятые владычицы наша Богородицы и всегда над всякими неприятелями победу приемлет по господе бозе молитвами ея. А ныне мы, великий государь, и все наше Московское государство в той же надежде, и его господе бозе несумненную надежду имеем на руководительницу нашу Пресвятую Богородицу. И указали быть на нашей государевой службе боярину нашему и воеводам князю Юрию Алексеевичу Долгорукову да стольнику князю Константину Щербатову.

А за те ваши службы наша государева милость и жалованье будет вам свьше прежнего. А буде, забыв господу Бога и православную христианскую веру и наше великого государя крестное целование, против того врага божия и отступника от веры православной и губителя невинных православных христиан Стеньки Разина на нашу великого государя службу тотчас не поедут и учнут жить в домах своих, и по нашему великого государя Указу у тех людей поместья их и вотчины укажем мы, великий государь, имать бесповоротно и отдавать челобитчикам, которые будут на службе. А буде, которые всяких чинов служилые люди с нашей великого государя службы збегут, и тем быть казненным смертью безо всякой пощады. И вам бы одноконечно ехать со всею службою, не мешкая, и нам, великому государю, служить, и за свои службы нашу великого государя милость получить. Все!»

Нет, не зря Степан Тимофеич так люто ненавидел бумаги: вот «заговорили» они, и угроза зримая уже собиралась на него. Там, на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь... Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами, — и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге... Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг; бумага, как змея, обрела парализующую силу. Указы. Грамоты. Списки... О, как страшны они! Если вообразить, что те бумаги, которые жег Разин на площади в Астрахани, кричали голосами, стонали, бормотали проклятья, молили пощады себе, то эти, московские, восстали жестоко мстить, но «говорили» спокойно, со знанием дела. Ничто так не страшно было на Руси, как госпожа Бумага. Одних она делала сильными, других — слабыми, беспомощными.

Степан, когда жег бумаги в Астрахани, воскликнул в упоении безмятежном;

— Вот так я сожгу все дела наверху, у государя!

Помоги тебе Господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездоленных, забитых, многострадальных — к счастью, к воле. Дай им волю!

2

Саратов сдался без боя. Степан велел утопить тамошнего воеводу Кузьму Лутохина. Умертвили также всех дворян и приказных. Именья их передували. В городе введено было казацкое

устройство; атаманом поставлен сотник Гришка Савельев.

Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше — на Самару.

В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед.

Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваша... Теперь уже тридцать тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся средняя Волга. Горели усадьбы помещиков, бояр. Имущество их, казна городов, товары купцов — все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего.

...Остановились на короткий привал — сварить горячего хлеба и передохнуть. Шли последнее время скоро; без коней уставали: большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести — против течения.

— Загнал батька.

— Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы. — То ли до снега на Москву поспеть хочет?

— Оно не мешало б...

— По мне — и в Саратове можно б зазимовать. Я там бабенку нашел... мх! — сладкая. Жалко, мало там постояли.

Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Боляева — от мордвы.

С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька — они разложились было писать «прелестные» письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг, во главе с Разиным, очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей — письма ихние или другое что, — люди шли, и это радовало.

Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру... Опять он не пил, был собран, скор на решения. Похудел за последние стремительные дни.

— Чего вы там разложились? — спросил Мишку и Ваську.

— Письмишки — на матушку-Русь...

— Апосля писать будете. Васька, выдь, — велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя — за умение скоро и хорошо писать.

Васька вышел, ничуть не обидевшись.

— Вот чего... Объявляю, — заявил Степан как свое окончательное решение. Речь шла о том:

объявлять войску и народу, что с разинцами идут «патриарх» и «царевич Алексей», или еще подождать.

— Степан... — заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману, — дай слово молвить: если ты...

— Молчи! — повысил голос Степан. — Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? — Он стал против Федора.

— Зря не даешь ему говорить, — сказал Федор с укором. — Он...

— Я тебя спрашиваю! Тебе велю: говори, как сам думаешь.

— Какого черта зовешь тогда! — рассердился Федор. — Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда.

— Не прячься за других. А то наловчились: чуть чего, так сразу язык в... Говори!

— Что это, курице голову отрубить?.. «Говори». С бабой в постеле я ишо, может, поговорю. И то — мало. Не умею, не уродился таким. А думаю я с Матвеем одинаково: на кой они нам черт сдались? Собаке пятая нога. У нас и так вон уж сколь — тридцать тыщ. Кого дурачить-то? И то ишо крепко заметь в думах: от Никона-то правда отшатнулось много народу... Хуже наделаем со своими хитростями.

— Говорить не умеет! А наговорил с три короба. Тридцать тыщ — это мало. Надо тридцать по тридцать. Там пойдут города — не чета Царицыну да Саратову. — Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнение; он думал, и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли бы в его думах, но никак не просил о том. Сам с собой он порешил, что — пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим «патриархом»: от Никона на Руси, слышно, отреклось много, не наделать бы себе хуже, правда.

— Они же идут! Они же не... это... не то что — стало их тридцать, и все, и больше нету. Две недели назад у нас и пятнадцати не было, — стоял на своем Федор.

— Как ты, Ларька? — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним.

Ларька подумал.

— Да меня тоже воротит от их. На кой?.. — сказал он искренне.

— Ни черта не понимают! — горестно воскликнул Степан. — Иди войей с такими. Один голову ломаешь тут — ни совета разумного, ни шиша... Сяли на шею и ножки свесили.

— Чего не понимаем? — изумился Федор. — Во!.. Не понимают его.

Степан напористо — не в первый раз — стал всем объяснять:

— Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появятся, — стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница?..

— Ты меньше кричи везде, что не хошь царем быть, вот и не будут так думать, — посоветовал Матвей.

— Как думать не будут? — не понял Степан.

— Что царем хошь сесть. А то — кричишь, а все наоборот думают: царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен: ему одно, он — другое.

— Пошел ты!.. — отмахнулся Степан.

— Я-то пойду, а вот ты с этими своими далеко ли уйдешь. Мало ишо народ обманывали! Нет!.. И этому дай обмануть. А как обман раскроется?

— Для его же выгоды обман-то, дура! Не мне это надо!

— А все-то как? И все-то — для его выгоды. А чего так уж страшился-то, еслив и подумают, что царем? Ну — царем.

— Какой я царь? — Степан, и это истинная правда, даже и втайне не думал: быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то Великим...

— Ишо какой царь-то! Только самовольный шибко... Ну — слушаться зато будут. Был бы с народом добрый — будешь и царь хороший. Не великого ума дело: сиди высоко да плюй далеко. — Всегда, как разговор заходил про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Легко у тебя вышло. Ажник правда посидеть охота. Плеваться-то научусь, дальше других насобачусь...

— Тут важно ишо — метко, — заметил Ларька.

Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана.

— А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. Скажи: придержать ее хошь до поры до время, ту думку. Ну, и не объявляй пока. Какое нам дело — кем ты там станешь?

— Вам нет дела, другим есть. — Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.

— Кому же? — пытал Матвей.

— Есть...

— Кому?

— Стрельцам, с какими нам ишо доведется столкнуться. Им есть дело: то ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала.

— Да пусть будут! — воскликнул Ларька. — Мы что, с рожи, что ль, опадем? Объявляй. — Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей.

— Не то дело, что будут, — упрямылся Матвей. — Царевич-то помер — вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать! Эка!.. Сумеют, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?

— Надо сперва явиться туда, — резонно заметил Степан. — На Москве уж явился, скорый какой.

— Ну... а ты дай мне так подумать: вот — явились. А там и стар и млад, все знают: царевич

давно в земле. А мы — вот они: пых, с царевичем. Кто же мы такие будем?

Степан не хотел так далеко думать.

— До Москвы ишо дойти надо, — повторил он. — А там видно будет. Будет день — будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявлю. Как думаешь, Асан? — напоследок еще весело спросил он татарина.

— Как знаешь, батька, — отвечал татарский мурза. — Объявляй: наша рожа не станет худая. — Асан засмеялся.

— Матвей?.. — Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтоб тот склонился перед его правдой.

— Объявляй... что я могу сделать? Знаю только, что дурость. — Матвей и склонился, но — горестно и безнадежно, не в силах он ничего никому доказать тут.

Казаки — рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, — заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было (он вышел, когда стали приходить казаки).

Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся... Вошел Степан, а с ним... царевич Алексей Алексеич и [патриарх Никон](#). Особенно внушительно выглядел Никон — огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой.

Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на «царевича» и «патриарха» с большим интересом.

— Вот, молодцы, сподобил нас Бог — гостей наслал, — заговорил Степан. — Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеич и [патриарх Никон](#). Ходили слухи, что царевич помер, — это боярская выдумка, он живой, вот он. Невмоготу ему стало у царя, ушел от суровостей отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за его. Надо вывести бояр на чистую воду... А заодно и помещников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают... даже им вон... Вон кому даже!.. — Степану не удавалось говорить легко и просто, он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков, сердился и хотел скорей договорить, что надо. — Все. Это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь... Ишо хотел сказать... — Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость свою улыбкой, несколько насильственной, — теперь дело наше надежное, ребята: сами знайте и всем говорите: ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С богом.

Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядывались на «царевича» и «патриарха». Некоторые, глазастые, заметили, что одеяние «патриарха» очень что-то напоминает рясу митрополита астраханского, но промолчали.

Когда вышли все, Степан сел, велел садиться «патриарху» и «царевичу»:

— Садись, патриарх. И ты, царевич... Сидайте. Выпьем теперь... за почин доброго дела. За удачу нашу.

Есаулы потеснились за столом, посадили с собой старика и смуглого юношу-«царевича» — поближе к атаману.

— Налей, Мишка, — велел Степан, сам тоже не без любопытства приглядываясь к «высоким гостям».

Мишка Ярославов налил чары, поднес первым «патриарху» и «царевичу». Усмехнулся.

— Ты пьешь ли? — спросил он юношу.

— Давай, — сказал тот. И покраснел. И посмотрел вопросительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметил растерянности «царевича».

«Патриарх» хлопнул чару и крикнул. И оглядел всех, святой и довольный.

— Кхух!.. Ровно ангел по душе прошел босиком. Ласковое винцо, — похвалил он.

Казачьи рассмеялись. Неизвестно, как «царевич», а «патриарх» явно был мужик свойский.

— Приходилось, когда владыкой-то был? Небось заморское пивал? — поинтересовался Ларька Тимофеев весело.

— Дак а можно ли?.. Патриарху-то? — спросил Матвей не одного только «патриарха», а и всех.

Казачьи за столом покосились в сторону «патриарха».

Старик прищурил умные глаза; слова Матвея пропустил мимо ушей, а Ларьке ответил:

— Пивали, пивали... Ну-к, милоч, поднеси-к ишо одну — за церкву православную. — Выпил и опять крикнул. — От так ее! Кхэх!.. Ну, Степан Тимофеевич, чего дальше? Располагай нас...

Степан с усмешкой наблюдал за всеми; он был доволен. Сказал:

— На струги пойдём. Тебе, владыка, черный струг, тебе, царевич, — красный. Вот и будете там. Будьте как дома, ни об чем не заботьтесь.

В шатер заглянули любопытные, войти не посмели, но с интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана.

— Пошли уж, — сказал Степан. — Можно ийтить. Пошли! Никон, давай, передом шагай. Ты самый важный тут...

Вышли из шатра втроем — Степан, «царевич» и «патриарх», направились к берегу, где приготовлены были два стружка с шатрами — один покрыт черным бархатом, другой — красным. У обоих стружков — стража нарядная.

Степан, на виду всего войска, что-то рассказывал гостям своим, показывал на войско... Шагал сбоку «патриарха» — вперед заходить не смел. Громадина «патриарх» ступал важно, кивал головой.

Со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посадские, стрельцы. Все тут были: русские, хохлы, запорожцы, мордва, татары, чуваша. Глядели, дивились. Никому не доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу.

Степан проводил гостей до стружков, поклонился. Гости взошли на стружки и скрылись в шатрах.

Степан махнул войску рукой — по стругам.

3

А к царю шли, ехали, плыли — бумаги. Рассказывали.

«...Стоит де он под Самарою, а самареня своровали, Самару ему, вору, здали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть кончее под Синбирск на Семен день (1 сентября) и того часу хочет приступить к Синбирску всеми силами, чтоб ему, вору, Синбирск взять до приходу в Синбирск кравчего и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми.

И только, государь, замешкаются твои, великого государя, полки, чаять от него, вора, над Синбирском великой беды, потому что в Синбирску, государь, в рубленном городе, один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверти аршина. А кравчей и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольных князь Юрья Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Синбирск августа по 27-е число не бывали. А от синбирян, государь, в воровской приход чаять спасения большего, смотря на низовые города, что низовые города ему, вору, здаютца...»

Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об пол.

— Я, чай, нагулялся уж Стенька?! — гневно воскликнул он. — Пора и остановить молодца. Что же такое деется-то!

4

Стенька еще не нагулялся.

Еще «обмывали» город — Самару.

...Праздник разгорелся к вечеру. На берегу. Повыше Самары. Гулял весь огромный лагерь. Жарились на кострах целые бараны и молодые телята-одногодки. Сивуху из молодой ржи, мед и пиво расходовали вольно; сидели прямо у бочек... Впереди, дальше, трудно будет — Степан знал, потому дал погулять. Хотели немного, а разошлись во всю матушку, раскачали опять теплые воздуха, загудели.

Степан, изрядно уже пьяный, сидел возле своего шатра, близко у воды, расхлыстанный, тяжелый, опасный, пел негромко. По левую руку его — «царевич», по правую — «патриарх». «Патриарх» тоже уже хорош; но пить, видно, он может много.

Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушки Стыря:

Ох, матушка, не могу,

Родимая, не могу!..

Все, кто сидел рядом, вразнобой подтянули:

Не могу, не могу, не могу,

могу, могу!

Ох, не могу, не могу, не могу,

могу, могу!

Сял комарик на ногу,

Сял комарик на ногу!

Опять недружно, нескладно забубнили: «у-у, у-у!..»

На ногу, на ногу, на ногу,

ногу, ногу!

Ох, на ногу, на ногу, на ногу,

ногу, ногу!

Степан вдруг разозлился на эту унылую нескладицу, встал и заорал и показал, чтоб и все тоже орала.

Ой, ноженьку отдал, отдал,

Ой, ноженьку отдал!

И все встали и заорали:

Отдал, отдал, отдал,

давил, давил!

Ох, отдал, отдал, отдал,

давил, давил!

Крик распрямил людей; засверкали глаза, набрякли жилы на шеях... Песня набирала силу; теперь уж она сама хватала людей, толкала, таскала, ожесточала. Ее подхватывали дальше по берегу, у бочек, — весь берег грозно зарычал в синеву сумрака.

«Патриарх» выскочил вдруг на круг и пошел с приплясом, норовил попасть ногой в песню.

Подай, мати, косаря,

Подай, мати, косаря.

Еще с десятков у шатра не вытерпели, ринулись со свистом «отрывать от хвоста грудинку». Угар зеленый, буйство и сила — сдвинули души, смяли.

Косаря, косаря, косаря,

саря, саря!

Ох, косаря, косаря, косаря,

саря, саря!

«Патриарх» пошел отчебучивать вприсядку, легко кидал огромное тело свое вверх-вниз, вверх-

вниз... Трудно было поверить, что — старик почти.

Никто ее не заметил, старуху кликушу. Откуда она взялась? Услышали сперва — завывла слышней запева атаманского:

— Ох, да радимы-ый ты наш, сокол ясны-ый!.. Да как же тебе весело гуляется-то!.. Да на вольной-то воолюшке. Да праздничек ли у ты какой, поминаньице ли-и?..

Причет старухи — дикий, замогильный — подкосил песню. Опешили. Смотрели на старуху. Она шла к Степану, глядела на него немигающими ясными глазами, жуткая в ранних сумерках, шла и причитала:

— Ох, да не знаешь ты беду свою лютую, не ведаешь. Да не чует-то ее сердечушко твое доброе! Ох-х... Ох, пошто жа ты, Степушка!.. Да пошто жа ты, родимый наш!.. Да ты пошто жа так снарядился-то? А не глядишь и не оглянешься!.. Ох, да не свещует тебе сердечушко твое ласковое! И не подскажет-то тебе Господь-батюшка — вить надел-то ты да все черное!..

Степан не робкого десятка человек, но и он оторопел, как попятился.

— Ты кто? Откуда?..

— Кликуша! Кликуша самарская! — узнали старуку. — Мы ее знаем — шатается по дворам, воет: не в себе маленько...

— Тьфу, мать твою!..

— Ох, да родимый ты наш... — опять завывла было кликуша и протянула к атаману сухие руки

— Да уберите вы ее! — заорал Степан.

Старуху подхватили и повели прочь.

— Ох, да ненаглядное ты наше солнышко! — еще пыталась голосить старуха. Ей заткнули рот шапкой.

Степан сел, задумался... Потом встряхнул головой, сказал громко, остервенело:

— Врешь, старая, мой ворон ишо не кружил! — Посмотрел на казаков. — Не клони головы, ребятушки! Наливай. Отпевать — умельцы найдутся, сперва пусть угробют.

Налили. Выпили.

Помаленьку праздник стал было опять налаживаться... И тут-то нанесло еще одного неурочного. Это уж как знак какой-то небесный, рок.

Зашумели от берега.

— Куприян! Кипрюшка!.. Тю!..

— Как ты?!.

— Гляди! — живой. А мы не чаяли...

— Кто там? — спросил Степан.

— Кипрюшка Солнцев, до шаха с письмом-то ездил. А пошто один, Куприян? Где же Илюшка, Федька?

— Какие вести? — тормозили Куприяна.

Куприян Солнцев, казак под тридцать, радостный, захмелевший от радости, пробрался к атаману.

— Здоров, батька!

— Ну?.. — спросил Степан.

— Один я... Как есть. Господи, не верится, что вижу вас... Как сон.

— Что так? — опять негромко спросил Степан. Его почему-то коробила шумная радость Куприяна. — А товаришши твои?..

— Срубил моих товаришше-шах. Собакам бросил...

Степан стиснул зубы.

— А ты как же?

— А отпустил. Велел сказать тебе...

— Не торопись!.. — зло оборвал Степан. — Захлебываешься прямо! — Степана кольнуло в сердце предчувствие, что Куприян выворотит тут сейчас такие новости, от которых тошно станет. — Чего велел? Кто?

— Велел сказать шах...

— Через Астрахань ехал? — опять сбил его атаман.

— Через Астрахань, как же. — Куприян никак не мог понять, отчего атаман такой неприветливый. И никто рядом не понимал, что такое с атаманом.

Атаман же страшился дурных вестей — и от шаха, и об астраханских делах. И страшился, и хотел их знать.

— Что там? В Астрахани?..

— Ус плохой — хворь какая-то накинута: гниет. С Федькой Шелудяком лаются... Федька князя Львова загубил, Васька злобится на него из-за этого...

— Как это он!.. — поразился Степан. — Как?

— Удавили.

— Я не велел! — закричал Степан. — Круг решал!.. Он нужен был! Зачем они самовольничают!.. Да что же мне с вами?!.

— Не знаю. А шах велел сказать: придет с войском и скормит тебя свинь...

Коротко и неожиданно хлопнул выстрел. Куприян схватился за сердце и повалился казакам в

руки.

— Ох, батька, не... — и смолк Куприян.

Степан сунул пистоль за пояс. Отвернулся. Стало тихо.

— Врет шах! Мы к нему ишо наведемся... — Степан с трудом пересиливал себя. В глазах — дикая боль. — Наливай! — велел он.

Трудно было бы теперь наладиться празднику. Нет, теперь уж ему не наладиться вовсе; от этого выстрела все точно оглохли. Куприян, безвинный казак, еще теплый лежит, а тут — наливай! Наливай сам да пей, если в горло полезет.

— Наливай! — Степан хотел крикнуть, а вышло, что он сморщился и попросил. Но и на просьбу эту никак не откликнулись. Нет, есть что-то, что выше всякой власти человеческой и выше атаманской просьбы.

Степан вдруг дал кулаком по колену:

— Нет, в гробину их!.. Нет! Гуляй, братья! — Но руки его прыгали уже. Он искал глазами место, как выйти...

Федор Сукнин подхватил его и повел в сторону. К шатру. Степан послушно шел с ним. Ларька Тимофеев налил чару, предложил всем:

— Наливайте! А то... хуже так. Веселись! Чего теперь?

— Ну, Лазарь!.. Плясать ишо позови.

— Ну, а чего теперь? Ну — на помин души Куприяновой, — Ларька выпил, бросил чарку: даже и ему было нехорошо, тошно. Он только сказал: — Никто не виноватый... Пристал атаман, задергался... Рази же хотел он?

От места, где только что соскользнул из жизни человек, потихоньку, молча стали расходиться. Осталось трое или четверо, негромко говорили, где схоронить тело.

Из-за кручи береговой вылезла краем луна; на реке и на обоих берегах внизу все утонуло во мрак и задумчивость.

Степан лежал у шатра лицом вниз. Сукнин сидел поодаль на седле.

Подошел Ларька, остановился...

— Господи, Господи, Господи-и! — стонал Степан. И скреб землю, и озирался. — Одолел меня дьявол, Ларька. Одолел, гад: рукой моей водит. За что казака сгубил?! За что-о?!

Ларька стоял над атаманом, жестоко молчал. Ларьке до смерти жалко было казака Куприяна Солнцева. И он хотел, чтоб атаман мучился сейчас, измучился бы до последней нестерпимой боли.

— А вы?! — вскочил вдруг Степан на колени. — Рядом были — не могли остановить! Чего каждый раз ждете? Чего ждете? Хороши только потом выговаривать!..

Ларька молчал. И Сукнин молчал.

— Чего молчите?! — заорал Степан. — Пошто не остановили?!

— Останови! — воскликнул Сукнин. — Никто глазом не успел моргнуть.

— Моя бы воля, — негромко и тоже зло заговорил Ларька, — да не узнай никто: срубил бы я тебе башку час... за Куприяна. И рука бы не дрогнула.

Сукнин оторопел... Даже встал с седла, на котором сидел.

Степан вскочил на ноги... Не то он вдруг — в короткое это время — решился на что-то, не то — вот-вот — на что-то страшное с радостью готов решиться. Не гнев, а догадка какая-то озарила атамана. Он пошел к есаулу. Ларька попятился от него... Федор на всякий случай зашел сбоку. Но атаман вовсе не угрожал.

— Ларька, — как в бреду, с мольбой искренней, торопливо заговорил Степан, — рубни. Милый!.. Пойдем? — Он схватил есаула за руку, повлек за собой. — Пойдем. Федор, пойдем тоже. — Он и Федора тоже схватил крепко за руку. Он тащил их к воде. — Братцы, срубите — и в воду, к чертовой матери. Никто не узнает. Не могу больше: грех замучает. Змеи сосать будут — не помру. Срубите! Срубите!! Богом молю, срубите!.. Милые мои...помогите. Не могу больше. Тяжело.

Степан у воды упал на колени, опустил голову.

— Подальше оттолкните потом, — посоветовал. — А то прибьет волной... — Верил он, что ли, что други его верные, любимые его товарищи снесут ему голову? Хотел верить? Или хотел показать, что верит? Он сам не понимал... Душа болела. Очень болела душа. Он правда хотел смерти. Вот и не пил последнее время... Нет, не вино это, не вино изъело душу. Что вино сильному человеку! Он видел, он догадывался: дело, которое он взгромоздил на крови, часто невинной, дело — только отвернешься — рушится. Рассыпается прахом. Ничего прочного за спиной. Астраханские дела, о которых сгоряча — при всех! — донес несчастный Куприян, это — малая капля, переполнившая обильную горькую чашу. В Царицыне тоже не лучше: Прон Шумливый самоуправствует хуже боярина. На Дону, кто приходит оттуда, сказывают: ненадежно. Плохо. Затаились... Такой войны, какую раскачал Степан, там не хотели даже те, кто поначалу молча благословлял на нее. Там испугались. Так — на пиру вселенском, в громе труб — чуткое сердце атамана слышало сбой и смятение. Это тяжело. О, это тяжело чувствовать. Он скрывал боль от других, но от себя-то ее не скроешь.

— Уймись, Степан, — миролюбиво сказал Ларька. — Чего теперь?

Федор тронул Ларьку за руку, показал: молчи.

Степан плакал, стоя на коленях, отвернувшись лицом к Волге.

— Дайте один побуду, — попросил он тихо.

Есаулы пошли к шатру. Но из виду атамана не упустили. Он все сидит, оперся локтями на колени, чуть покачивается взад-вперед.

— Старуха... выбила из колеи, — сказал Сукнин.

— Не старуха... Наш недогляд, Федор: надо было перехватить Куприяна, научить, как говорить. А то и вовсе не пускать, завтра бы рассказал.

— Куприян, конечно... Но старуха! У меня давеча у самого волосья на голове зашевелились, когда она завыла. Откуда вывернулась, блажная?

— Васька-то что же, помирает?

— Видно... Вот ишо змею на груди отогрели, — Шелудяк, дармоед косоглазый, — жестоко сказал Сукнин. — Он там воду мутит. Васька ослаб, он верх взял.

— Зачем они Львова-то решили?

— Спроси! Шелудяк все.

Тихо говорили между собой у шатра есаулы. И поглядывали в сторону берега: там все сидел атаман и все тихо покачивался, покачивался, как будто молился богу своему — могучему, древнему — Волге. Иногда он бормотал что-то и тихо, мучительно стонал.

Луна поднялась выше над крутояром; середина реки обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в вымоины медленные волны, шипели, отползая, кипели... И кто-то большой, невидимый осторожно вздыхал.

Позже Степан взошел в небольшую лодку тут же, неподалеку, прилег на сухую камышовую подстилку и заснул, убаюканный прибрежной волной. И приснился ему отчетливый красный сон.

Стоит будто он на высокой-высокой горе, на макушке, а снизу к нему хочет идти молодая персидская княжна, но никак не может взобраться, скользит и падает. И плачет. Степану слышно. Ему жалко княжну, так жалко, что впору самому заплакать. А потом княжна — ни с того ни с сего — стала плясать под музыку. Да так легко, неистово... как бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябило. «Что она? — удивился Степан. — Так же запалиться можно». Хотел крикнуть, чтоб унялась, а — не может крикнуть. И не может сдвинуться с места... И тут увидел, что к княжне сбоку крадется Фрол Минаев, хитрый, сторожкий Фрол, — хочет зарубить княжну. А княжна зашлась в пляске, ничего не видит и не слышит — пляшет. У Степана от боли и от жалости заломило сердце. «Фрол!» — закричал он. Но крик не вышел из горла — вышел стон. Степана охватило отчаяние... «Срубит, срубит он ее. Фро-ол!..» Фрол махнул саблей, и трепыхание прекратилось. Княжна исчезла. И земля в том месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал от горя, заплакал... И проснулся.

Над ним стоял Ларька Тимофеев, тряс его.

— Степан!.. Батька... чего ты?

— Ну? — сказал Степан. — Что?

— Чего стонешь-то?

Степан сел. Горе стояло комом в горле... Даже больно. Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько мог, ополоснул лицо. Вдохнул.

— Приснилось, что ль, чего? — спросил Ларька.

— Приснилось...

Как-то странно ясно было вокруг. Степан поднял голову... Прямо над ним висела — паялилась в

глаза — большая красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стекал на воду; местами, где в воде отражались облака, казалось, натекли целые ливы красного.

— Душно, Ларька... Тебе ничего?

— Да нет, я спал, пока ты не застонал...

— Застонал?

— Ну. Что за сон такой?

— Не знаю... дурной сон. Не помню. Выпил лишнее. Ты чего тут?

— Спал здесь...

Степан вспомнил вчерашнее... казака Куприяна... Опустил голову и коротко простонал.

— Выпить, может?.. — посоветовал Ларька.

— Нет. Ларька... тебе не страшно? — спросил Степан.

— О! — удивился Ларька.

— Нет, не так говорю: не тяжело? Душно как-то... А?

— Да нет... С чего? — не понимал Ларька.

— Ладно... Так я — хватил вчера лишка, правда.

— Похмелись!

— Иди спать, Ларька... Дай побыть одному.

Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел досыпать в шатер.

Все спали; огромная, светлая, красная ночь неслышно текла и стекала куда-то в мир чужой, необъятный — прочь с земли.

Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был на ногах.

Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь усеян спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да у самой воды, в стороне от лагеря, спиной к нему, неподвижно сидел одинокий человек; можно было подумать, что он спит так — сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал того человека и через весь лагерь направился к нему.

Это был Матвей Иванов. Он не спал. Увидев Степана, он вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он сидел вот и только что об том думал:

— Вот они, вояки твои... Набежи полсотни стрельцов — к обеду всех вырубят. С отдыхом. Не добудиться никаким караульным...

Степан остановился и смотрел на воду.

— Уймись, Степан, — заговорил Матвей почти требовательно, но с неподдельной горечью в голосе. — Уймись, ради Христа, с пьянкой! Что ты делаешь? Ты вот собрал их — тридцать-то

тыщ — да всех их в один пригожий день и решишь. Грех-то какой!.. И чего ты опять сорвался-то? Неужель тебе не жалко их, Степушка? — У Матвея на глазах показались слезы. — Надежда ты наша, заступник наш, батюшка, — пропадем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск эдакую-то похмельную ораву — что будет-то? Перебьют, как баранов! Пошто ты такой стал? Зачем казака убил вчерась? — Матвей вытер кулаком слезы. — Радовался, сердешный, — от шаха ушел. Пришел!.. Степушка!.. Ты что же, верить, что ль, перестал? Что с тобой такое?

— Молчи! — глухо сказал Степан, не оборачиваясь.

— Не буду я молчать! Руби ты меня тут, казни — не буду. Не твое только одного это дело. Русь-матушка, она всем дорога. А люди-то!.. Они избенки бросили, ребятишек голодных оставили, жизни свои рады отдать — насулил ты им...

— Молчи, Матвей!

— Насулил ты им — спасешь от бояр да дворян, волю дашь — зря? Возьмись за дело, Степан. Там — Синбирск! Это не Саратов, не Самара. Там Милославский крепко сидит. И, сказывают, Борятинский и Урусов на подходе. А нам бы Синбирск-то до Борятинского взять. Можно ли тут пиры пировать? Есть ли когда? Не на Дону ведь ты! И не в Персии. Это — Русь... Тут и шею сломить могут. Гони от себя пьянчуг разных!.. Или дай мне волю — я их вот этими своими руками душить буду, оглоедов, хоть и не злой я человек. Погубители!.. Одна у ях думка — напиться. А что мы кровушкой своей напиться можем — это им не в заботу. Возьмись, Степан, за гужи, возьмись. Я знаю — тяжело, ты не конь. Но как же теперь?.. Сделал добро — не кайся, это старая поговорка, Степан, она не зря живет, не зря ее помнят. Только добро и помнят-то на земле, больше ничего. Не качайся, Степан, не слабни... Милый, дорогой человек... как ишо просить тебя? Хошь, на колени перед тобой стану!..

Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, остановился и свистнул так, что чайки с воды снялись.

— Господи, дай ему ума и покоя, — с неожиданной верой сказал Матвей, глядя на любимого атамана.

Лагерь стал подниматься. Зашевелился.

Степан пошел было к шатру, но вдруг остановился и посмотрел в сторону Матвея... Постоял, посмотрел и быстро пошел к нему.

Матвей ждал.

— Вот тебе и каюк пришел, Матвей, — сказал он сам себе негромко.

— Ты вот не боись учить меня, — издали еще заговорил Степан, — не побоись сказать и всю правду. Соврешь — будешь в Волге. — Остановился перед Матвеем, некоторое время смотрел в глаза ему. — Я повел их! — Показал рукой назад, на лагерь. — Я! Но воля-то всем нужна!.. Всем?!

— Всем.

— А случись грех какой под Синбирском или где — побьют: кому эти слезы отольются? Стеньке?! Стенька — вор, злодей, погубитель — к мятежу склонил!

— Ты спрашиваешь только или уж суд повел?

— Не виляй хвостом!

— Всем отольются, Степан. А тебе в первую голову. Только не пужайся ты этого — горе будет, а не укор.

— На чью душу вина ляжет?

— На твою. Только вины-то опять нету — горе будет. А горе да злосчастье нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить собаками век свой — вот горе-то. И то ишо не горе — прожил бы да помер — дети наши тоже на собачью жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и они тоже. Вот горе-то!.. Какая ж тут твоя вина? Это счастье наше, что выискался ты такой — повел. И веди, и не думай худо. Только сам-то не шатайся. Нету ведь у нас никого боле — ты нам и царь, и Бог. И начало. И вож. Авось, Бог даст, и выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди, ночь-то?

— Ну, и не жальтесь тада. А то попреков потом не оберешься. Знаю: все потом кинутся виноватаго искать..

— Да никто не жалится! Я, мол, воеводы со всех сторон идут... И какая же тут вина твоя, коли псов спустили? Да и царь... Да нет, какая же вина?! Тут стяжки в руки — да помоги, Господи, пробиться. Только с умом пробиваться-то, умеючи, вот я про што. А ты — умеешь, вот и просим тебя: не робей сам-то, сам-то вперде не шатайся, а мы уж — за тобой. Мы за тобой тоже храбрые.

— Не пропадем! — резко сказал Степан, будто осадил тайные свои, тревожные думы.

— Неохота, батька. Ох, неохота.

— Вот... Сделаем так: седня не пойдем. Соберемся с духом. Подождем Мишку Осипова с людишками. — Степан помолчал. — Гулевать подождем, верно. Соберемся с духом, укрепимся.

Матвей, чтоб не спугнуть настроение атамана, серьезное, доброе, молчал.

— Соберемся с духом, — еще раз сказал Степан. Посмотрел на Матвея, усмехнулся: — Чего ты лаешься на меня?

— Я молюсь на тебя! Молю Бога, чтоб он дал тебе ума-разума, укрепил тебя... Ты глянь, сколько ты за собой ведешь!..

— Ну, загнусел...

— Ладно, буду молчать.

...В то утро приехал с Дона Фрол Разин. Степан очень ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом: распустить перед казаками такой райский хвост, чтоб они руки заломили бы от восторга и удивления и все бы — ну, не все, многие — пошли бы к Степану, под его драные, вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны государевой — приказов: астраханского, черноморского, царицынского, камышинского, саратовского, самарского. Велел раздавать донцов золотом и кликнуть охотников.

— Ну, расскажи, расскажи. Как там?

— Мишка Самаренин в Москву уехал со станицей...

Степан враз помрачнел, понимающе кивнул головой:

— Доносить. Эх, казаки, казаки... — Сплюнул, долго сидел, смотрел под ноги. Изумляла его эта чудовищная способность людей — бегать к кому-то жаловаться, доносить, искренне, горько изумляла. — Куда же мы так припляшем? А? — Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея. — Казаки?

Ответил Матвей:

— Туда и припляшете, куда мы приплясали: посадили супостатов на шею и таскаемся с ими как с писаной торбой. Они оттого и косятся-то на вас: вы у их как бельмо на глазу: тянутся к вам, бегут... Они мужика привязывают, а вы отвязываете — им и не глянется.

— Мужики — ладно: они испокон веку в неволе, казаки-то зачем сами в ярмо лезут? Этого — колом вбивай мне в голову — не могу в толк взять.

— Корней говорит... — начал было Фрол.

— Постой, — сказал Степан. — Ну их всех... Корнея, мурнея... гадов ползучих. Злиться начну. У нас седня — праздник. Без вина! Седня пусть отдохнет душа. Там будет... нелегко. — Степан показал глазами вверх по Волге. — Мойтесь, стирайтесь, ешьте вволю, валяйтесь на траве... А я в баню поеду. В деревню. Кто со мной?

Изъявили желание тоже помыться в бане Ларька, Матвей, Фрол, дед Любим, Федор Сукнин. Взяли еще с собой «царевича» и «патриарха».

«Патриарх» хворал с похмелья, поэтому за баню чуть не бухнулся принародно в ноги атаману.

— Батюшка, как в воду глядел!.. Надо! Баслови тя Бог! Баня — вторая мать наша. А я уж загоревал было. Вот надоумил тя Господь с баней, вот надоумил!.. — «Патриарх» радовался, как ребенок. Собирался. — Экая светлая головушка у тя, батька-атаман. Эх, сварганим баньку!..

* * *

Потом, когда сплывали вниз по Волге, до деревни, Степан беседовал с «патриархом».

— Сколько же ты, отче, осаденить можешь за раз? Ведро?

— Пива или вина?

— Ну, пива.

— Ведро могу.

— Вот так утроба! Патриаршая.

— Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока патриархом-то не сделался, горя помыкал. По базарам ходил — дивил народ честной. Ты спроси, чем дивил!

— Чем же?

— Было у меня заведено так: выпивал как раз ведро медовухи, мослом заедал...

— Как мослом?

— А зубами его... только хруст стоит. В мелкие крошки его — и глотал. Ничего. Потом об голову — вот так вот — ломал оглоблю и как вроде в зубах ковырял ей...

— Оглоблей-то?!

— Да так — понарошке, для смеха. Знамо, в рот она не полезет.

— А был ли женат когда?

— Пробовал — не выдюживали. Сбегали. Я не сержусь — чижало, конечно.

— Ты родом-то откуда?

— А вот — почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то. Мы, вишь, коноплю растили да помещнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили... Ну, веревки вили, канаты. Тем и жили. И помещник тем же жил. Он ее в Москву отвозил, веревку-то, там продавал. А тут, на Покров, случилось — погорели мы. Да так погорели, что ни одной избы целой не осталось. И помещник наш сгорел. Ну, помещник-то собрал, чего ишо осталось, да уехал. Больше, мол, с коноплей затеваться у вас не буду. А нам тоже — чего ждать? Голодной смерти? Разошлись по свету куда глаза глядят. Мне-то что? — подпоясался да пошел. А с семьями-то — вот горе-то. Ажник в Сибирь двинулись которые... Там небось и пропали, сердешные... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу.

— Ну, и пошел ты по базарам? — интересно было Степану.

— И пошел... По Волге шастал — люблю Волгу.

— А потом?.. — любопытствовал дальше Степан, но вспомнил и осекся: ему полагалось знать, как дальше сложилась судьба «патриарха» — высокая судьба. — Твоих земляков нет в войске? Не встречал? — спросил он.

— Нет, не встречал.

— Стренешь, отверни рожу — не знаешь. Так лучше будет.

— Они, видно, далеко разошлись. В Сибирь-то много собиралось. Прослышали: земли там вольные...

Степан перестал спрашивать, задумался.

Сибирь для Разина — это Ермак, его спасительный путь, туда он ушел от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то. Ермака взяли за горло, он потому и двинул в Сибирь, Степан сам пока держал за горло...

...Баня стояла прямо на берегу Волги. «Патриарх» захотел сам истопить ее. Возликовал, воспрянул духом... Даже лицом просиял неистребимый волгарь.

— Я с хмелю завсегда сам топил — умею. Уху сварить да баньку исполнить — это, милок, уметь надо. Бабы не умеют.

— Валяй, — благодушно сказал Степан. И сам ушел на берег к воде. Охота было побыть одному... Вклинились в думы — Ермак, Сибирь... и охота стало додумать про все это и про себя.

Денек набежал серенький, теплый, задумчивый. С реки наносило сырой дух... Гнильцой пахло и рыбой.

Степан поднял палку поровней и пошел вдоль берега. Шел и сталкивал гнилушки в воду. И думал. Редкие дни выпадали Степану вот такие — безлюдные, покойные, у воды. Он очень любил реку. Мог подолгу сидеть или ходить... Иногда, когда никто не видел, мастерил маленькие стружки и пускал по воде плыть. Для этого обстругивал ножом досточки, врезал в них мачточки, на мачточки — паруса из бересты — и отправлял в путь. И следил, как они плывут.

Степан думал в тот грустный, милый день так.

Почему не вышло у Ивана Болотникова? Близко ведь был... Васька Ус — славный казак, жалко, что хворь какая-то накинута, но Васька — пень: он заботится, той или не той дорогой идти. Не тут собака зарыта. Вот рассказали: некий старик на Москве во всеуслышанье заявил, что видел у Стеньки царевича Алексея Алексеевича, что Стенька ведет его на Москву — посадить на престол заместо отца, который вовсе сник перед боярами. Старика взяли в бичи: какого царевича видел? «Живого истинного царевича». — «И что ж ты, коль придет Стенька к Москве?» — «Выйду встречать хлебом-солью». Старика удавили. Вот если б все так-то! Всех не удавишь. Все бы так, всем миром — стали бы насмерть... Только как их всех-то поднять? Не поднять. Идут... Одни идут, другие смотрят, что из этого выйдет. И эти-то, тыщи-то, — сегодня с тобой, завтра по домам разошлись. У Ивана потому и не вышло, что не поднялись все. Как по песку шел: шел, шел, а следов нет. И у меня так: из Астрахани ушел, а хоть снова туда поворачивай — не опора уж она, бросовый город. И Царицын, и Самара... Пока идешь, все с тобой, все ладно, прошел — как век тебя там не было. Так-то челночить без конца можно. Надо Москву брать. Надо брать Москву. Слабого царя вниз головой на стене повесить — чтоб все видели. Тогда пятиться некуда будет. А до Москвы надо пробиваться, как улицей, — с казаками. Эти мужицкие тыщи — это для шума, для грозы. Вся Русь не подыметя, а тыщи эти пускай подваливают — шуму хоть много, и то ладно. Фрол привел с собой казаков, Степан думал, что он приведет больше, но на Дону — раскоряка, испугались: испугал, как это ни странно, как ни глупо, размах войны. Надо после Симбирска опять на Дон послать... Как воодушевить дураков?

Так думая, далеко ушел Степан по берегу. Версты две. И деревню прошел, и шел потихоньку дальше, пока его не нагнал «патриарх». Закричал издали:

— Батька!.. Эй! Мы уж хватились тебя! Пойдем-ка первый жарок словим. Отменная вышла банька!

— Скоро ты управился, — сказал Степан, вернувшись и подходя к «патриарху». — Ну, пошли, пошли.

— Я везде скорый! И усталы сроду не знал, ей-богу. За трех коней ворочал, — похвалился «патриарх».

— Ну?

— Не вру! Вот те крест. — Громадина «патриарх» сотворил на себя святой знак. — Один раз пошел на спор с помещником нашим: выдюжу за трех коней или нет.

— Как это?

— А видишь, коноплю-то, до того как в мялки пустить, ее сперва на кругу конями топчут: самую свежую-то, крепкую-то — кострыгу выламывают. Разложут на кругу — от так от высотой, — «патриарх» показал рукой от земли, — связывают трех коней, и стоит посередке парнишка и погоняет их. Они и ходют по кругу, мнут копытьями-то, ломают кострыгу... Так одну закладку до полдня, а то и больше топчут. Переворачивают аккуратно, чтоб не спутать, и толкут дальше. Я говорю поместнику: «Давай я тебе тоже до обеда всю закладку отомну. А ты мне за то — полведра сиухи и полотна на штаны и рубаху». — «Давай, — говорит. — Выдюжишь?» — «Это, говорю, не твоя забота. Ты лучше готовь сиуху и холста на одежду». Но был у меня, правда, ишо один уговор с поместником: вокруг будут стоять молодые бабенки и прихлопывать мне, подпевать. И какой-нибудь дед с дудкой. «Ладно», — говорит.

Выстрогал я себе деревянные колодки на ноги, обул их на онучки... Дед Кудряш, мы его за лысину так звали, заиграл мне под пляску, а девки и бабы подпевать стали да в ладошки прихлопывать. И пошел я — в колодках-то этих — по конопле плясака давать. Эх!.. Да с присвистом, с песенками разными... Девки уши затыкают, а самим послушать охота, а то я их не знаю. И поместник тут же стоит, хохочет. Солнышко уж высоко поднялось, а я все наплясываю. «Может, говорит, сиухи маленько?» — поместник-то. «Нет, мол, уговора такого не было». А мне сиуху-то жалко: выпьешь, а она враз вся потом выйдет. Думаю, я ее лучше вечером в холодке оглоушу. Пляшу. С меня пот градом... Рубаху скинул, пляшу. Передохнул, пока коноплю переворачивали, и опять. Так до обеда всю ее перемял. Даже маленько раньше.

Степан задумчиво слушал «патриарха». Под конец рассказа невпопад сказал:

— Ну... Может, и так... А?

«Патриарх», сообразив, что атаману не до его рассказов, а какие-то вредные думы одолели, тяжело хлопнул его по спине:

— Не кручинься, атаман. Вон как все ладно! А ты нос повесил. Чего?

— Так, отче... Ничего. — Степан помолчал... Поглядел на «патриарха», усмехнулся: — Смешно ты кормился... на базарах-то. Надо же додуматься!

Баню «патриарх» накалил так, что дышать было больно — обжигало рот.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Степан, выпячиваясь задом из бани. В предбанник. — Мы окочуримся тут к черту. Как она ишо не спыхнула?..

— Ну, пережди маленько, — посоветовал старый богатырь. — Пусть он отмякнет, жар-то, а то, правда, горло дерет. Счас отмякнет! — Он надел шапку, рукавицы и полез на карачках к полку. — О-о!.. Дратся начал! Ишь, гнет, ишь, гнет!..

Степан присел пока на порожек предбанника.

— Доберись до каменки, там сбоку кадушка с водой, зачерпни ковш — кинь на каменку! — крикнул «патриарх».

Степан нашарил кадушку, ковш около нее, зачерпнул полный ковш и плесканул на каменку. Каменка зло — с шипом, с треском — изрыгнула смертоносный жар. Степан выскочил опять из бани.

— Оставь дверь открытой! — заорал совсем теперь невидимый за паром «патриарх». И принялся там хлестать себя веником. Кряхтел, мычал, охал, ухал блаженно. — Вся скверна выйдет! Весь новый стану, еслив кожа не полопается!.. От-тана! От-тана! О-о!..

— Помрешь! — крикнул Степан. — Сердце треснет!

«Патриарх» слез с полка, лег на полу — голова на пороге.

— Вот, батюшка-атаман, так и выгоняют из себя всю нечистую силу. Это меня двуперстники научили, старцы. Бывал я у их в Керженце... Глянутся они мне, только не пьют.

— Сам-то к какой больше склоняешься: к старой, к новой? — спросил Степан. — Чего старцы-то говорят? Шибко клянут Никона?

— Клянут... — неопределенно как-то сказал старик. — Они много-то не говорят про это. А себя соблюдают шибко. О-о, тут они...

— А к какой сам-то ближе? Тоже к старой?

— К старой не могу — змия люблю зеленого. К новой... Я, по правде, не шибко разбираюсь: из-за чего у их там раскол-то вышел? Христос — один — для тех и для этих. А чего гада? В Христа я сам верую.

— А крестисся как?

— А никак. В уме. «Осподи, баслови» — и все. Христос так и учил: больше не надо. Не ошибеся. И тебе так советую.

Помолчали.

— Отче, ну-ка скажи мне, — заговорил Степан, — вот сял я на Москве царем. Ну... поднатужься, прикинь — так вышло. Сял. А тебя сделал правда патриархом...

«Патриарх» смотрел снизу удивленными глазами.

— Ну, и чего мы с тобой будем делать? — спросил он.

— Это я спрашиваю: чего будем делать?

«Патриарх» задумался. Усмехнулся... Покачал головой:

— Как я ни дуйся, а патриархом... Ты что, батька? Я скорей... Да нет, как я ни кажилься, а такой думы не одолеть.

— Да ну, — обозлился Степан, — не совсем же уж ты в сук-то вырос! Ну, подумай шутейно: стали мы — я царем, ты патриархом. Что делать станем?

— Хм... Править станем.

— Как?

— По совести.

— Да ведь и все вроде — по совести. И бояры вон — тоже по совести, говорят.

— Они говорят, а мы б — делали. Я уж не знаю, какой ба из меня патриарх вышел, никакой, но из тебя, батька, царь выйдет. Это я тебе могу заранее сказать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю... Я мужика знаю, сам мужик, знаю, какой нам царь нужен.

— Какой же?

— А мужицкий.

— Ну, заладил: мужицкий, мужицкий... Я сам знаю, что не боярский. А какой он, мужицкий-то?

— Да тут все и сказано: мужицкий. Чего тут гадать?

— Не ответил. Знаю, погулять мы с тобой сумеем, только там и для других дел башка нужна.

— А ты что, дурак, что ль? У тебя тоже башка на плечах, да ищо какая! Ты бедных привечаешь — уже полцаря есть. Судись по правде — вот и весь царь. А будешь не такой заполошный, тебе цены не будет! Вся Русь тебе в ножки поклонится. На руках носить будем. Народ тебя и так любит... Нет, у тебя выйдет. А патриарха ты себе найдешь, не дури со мной... Куда! — «Патриарх» усмехнулся. — Не надо, батюшка...

— Чего так? — улыбнулся и Степан.

— Не надо, — уперся «патриарх».

— Ну, отец, и колода же ты: лег поперек дороги — ни туда ни суда. Пошто, я спрашиваю?

— Да какой же я патриарх — выпить люблю. Ты меня тада главным каким-нибудь над питейными делами поставь, это по мне. Всех целовальников в кулак зажму!.. Шибко народ надувают, черти! Я б их тоже извел всех — заодно с боярами. Полезешь париться-то? Теперь уж не так гнет. А то выстынет — какое тада...

— Обожду пока. Не сдюжу. Лезь, парься.

«Патриарх» опять полез на полок.

— Кинь, батька!

Степан поддал еще парку, вышел в предбанник... И тут прибежали сказать:

— Батька, там из-под Синбирска люди прибегли...

— Ну? Что там? — всполошился Степан.

— Борятинский идет от Казани. В городке, слышно, не склоняются к сдаче... Велели тебя звать.

— Кто послал-то?

— Мишка Ярославов.

— А Мишка Осипов не пришел?

— Нету.

— Не шуми много — про Борятинского-то. Молчи. Приведи коня... — Степан второпях одевался. Крикнул вслед казаку: — Есаулам скажи, чтоб за мной гнали! Может, коней тут найдут... Не мешкайте!

Казак подвел коня, Степан вскочил на него и уехал. Остальные — немногие коней нашли, опять в лодках — устремились тоже в лагерь. В баньке не успели помыться. «Патриарх» очень сокрушался, что атаман так и не попарился. Банька была отменная, «царская».

5

Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску.

Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил в боевой порядок и сразу повел в наступление на цареву войско. День клонился к вечеру — медлить нельзя: к утру, если переждать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь.

Борятинский велел подпустить разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней — на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению.

Бой был упорный.

Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих.

Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действовали они напористее, смелее.

Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше — крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие есаулы и сотники опять собирали их, налаживали мало-мальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. Есаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах... В этом бою погиб Федор Сукнин.

Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше: упорней были и искусней в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики: Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску.

Борятинский медленно отступал.

Степан был в гуще сражения. Он отвлекался, только чтобы присмотреть, что делается с боков — у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон.

Степан взял с собой с десятков казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось.

Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие... Стеной стоял глухой слитный

гул, только вырывались отдельные звучные крики: матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем.

— Не валите дуrom!.. — кричал Степан Матвею. — Слышишь?!

— Ой, батька! Слышу!

— Прибери поздоровей с жердями-то — ставь в голову! А из-за их — кто с топорами да с вилами — пускай из-за их выскакивают. Рубнулись — и за жерди! А жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут! Взял?

— Взял, батька!.. Не слушают только они меня.

— Перелобань одного-другого — будут слушать!

— Батька! — закричали от казаков. — Давай к нам! У нас веселея!..

Дед Любим был с молодыми.

— Минька!.. Минька, паршивец! — кричал он. — Не забывайся! Оглянись — кто сзади-то?! Эй!..

— Чую, диду!

— Ванька!.. Отойди, замотай руку!

— Счас!.. Маленько натешусь.

— Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон!.. Сердце радуется.

Так учил дед Любим своих питомцев. И показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлёкся и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся... Стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это. Стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад, к своим.

— Ларька! — крикнул Степан. — Дед!..

С десятков стрельцов кинулись к нему. Ударили тупым концом копья в руку. Один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину.

Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к нему. И поспел. Застрелил стрельца над ним. Полусотня оттеснила стрельцов дальше.

Степан поднялся — злой, помятый, подобрал саблю.

— Чего вы там?! — заорал. — Атаману ноги на шее завязывают, а они чешутся!..

— Стерегись маленько! — тоже сердито крикнул Ларька. — Хорошо — услышал... Не лезь в кучу! Куда лезешь-то?

— Что мордва твоя? — спросил Степан.

— Ключем! Наскочим — опять собираю... Текут, как вода из ладошки. Веселимся... а толку нет. Но хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели!..

— Ммх!.. Войско. Не сварить нам с имя каши, Ларька. Побудь с казаками, сам пойду туда.

Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбежали от самой кипени свальной драки — чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их.

Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков.

— В гробину вас!.. В душу!.. — орал Степан. — Куда?! — Двух-трех окрестил кулаком по голове. — Стой! Стой, а то сам бить буду!..

Иностранцы и мужики остановились.

Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять:

— Счас наскочим — первые пускай молотют, сколь есть духу. Пристали — распадайся, дай другим... А сами пока зарядись, у кого есть чего, передохни. Те пристали — распадись, дай этим. Чтоб на переду всегда свежие были. И не бегать у меня! Казаков назад поставлю, велю рубить! Кого боитесь-то?! Мясников? Они только в рядах мастаки — топорами туши разделывать! А здесь они сами боятся вас. Ну-ка!.. Не отставай!.. Узю мясников!.. С жердями, с жердями-то — вперед, выставляй их! Тесней, тесней!..

Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело.

— Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! — крикнул Степан. — Скажите нашим, чтоб распались!.. А мы долбанем с бегу!

Наскочили. Заварилась каша... Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли...

А уже вечерело. И совсем стало плохо различать, где свои, где чужие.

— Круши! — орал Степан. — Вперед не суйся — ровней! А то от своих попадет.

— Ровней, ребятки! — покрикивал дед Любим. — Ровней, милые! Тут как с бабой: не петушишь, тада толк будет!

Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромя, на бугорок. Ему помогли стащить сапог.

Подошел потный и окровавленный Ларька.

— Куда?.. В ногу? — спросил он.

— В ногу опять. А ты чего в крове?

— Шибко?

— Нет... — Степан поворочал ногой. — Кость целая. Ты-то чего? Зацепили?

— Федора убили. Сукнина. — Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. — Я целый... зубы только... И то целые, однако.

— Ох, мать ты моя-то!.. Совсем есаулов не остается, — с горечью горькой сказал Степан. —

Вынесли хоть?

— Вынесли.

— Берегитесь сами-то! — повысил голос Степан. — Куда вас-то тоже черт несет! С кем останусь-то? — все поляжете...

— Хватит, что ль? Не видно уж стало... — Ларька всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей.

— Погодь. Пускай он отойдет подальше... С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет.

— Отходит уж. А то — впотьмах-то — своих начнем глушить. Стрельцы плотней держутся, а мы своих начнем... Горка и так за нами.

— Ну, вели униматься. Хватит. Казаков много легло?

— Да нет, думаю... Задело многих. Нет, три зуба все же выбили! — Ларька сплюнул. — Хорошие зубы-то были.

— Матвей живой? — спросил Степан.

— Видел, живой был. Он ничего, не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает... Но помогает собирать.

— Хоть так, — нерадостно сказал Степан. — Иди унимай потихоньку.

Ларька ушел.

Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов. Но постепенно затихала.

На совет к атаману собрались есаулы.

— Борятинский отходит к Тетюшам.

— Добре. Городок надо брать, — заговорил Степан. — Пока подойдут Урусов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо. Иначе хана нам тут с мужиками... Взять городок, всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.

— Обождать бы, батька. А ну — хитрит Борятинский? — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.

— Не хитрит. Знает теперь: одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже: пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?

— Были! — откликнулись из группы есаулов. — Сдадут острожок. А рубленный город надо приступом доставать. Тот не сдадут.

— Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку — подожгем. Лестницы вяжите... Не давайте людям охлаждаться. Там отдышимся. Взять надо городок! Возьмем — сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань — Федька Шелудяк приведет своих, на Дону ишо

разок кликнем... Тада и вылезть можно. Но городок надо взять!

6

Наступила ночь.

В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и с вала по ним выстрелили холостыми зарядами; разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно: посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись.

Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки (на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму), остальных бросил на стены городка, которые хоть тоже деревянные, но и прочней, и выше посадских.

Начался штурм.

Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами... Несколько раз в городке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам... В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарева огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих.

Разин сам дважды лазал на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз... Ступил уже на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный, атаман как будто обо что запнулся, поослабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв... Тоскливо стало, тошно, ничего не надо.

Ларька и на этот раз выхватил его из беды.

Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов.

Урон разинцы несли огромный.

— Городок надо взять! — твердил иступленно Степан.

Беспрерывно гремели пушки; светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры (пучки соломы с сухой драпиной внутри). Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья... Гул не обрывался и не слабел.

Под стены городка подвозили возы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей.

— Ларька, береги казаков! — кричал Разин. — Посылай вперед мужиков на стену.

— Всех сшибают! — отозвался Ларька. — Очертенели, гады. Не взять нам его...

— Надо взять!

К Степану привели переметчика из города.

— Ну? — спросил Степан. — Чего?

— Хотут струги ваши отбить... Чтоб вы без стругов остались... — Переметчик показал на городок: — Там уговариваются...

— А?! — переспросил Степан: не то не расслышал, не то не поверил.

— Хотут струги отбить!! — повторил перебежчик. — Вылазкой!.. С той стороны, с реки!

Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся...

— Ларька! Мишка! Кто есть?!.

— Мишку убили! — откликнулся подбежавший сотник. — Чего, батька?

— К стружкам! — велел ему Степан. — Бери сотню и к стружкам! Бегом! Отплывите на серединку... Не отдавай стружки! Не отдавай!.. Ради Бога, стружки!..

В это время со спины разинцев, от Свяги-реки, послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись; мужики, те всецело были озабочены стеной.

— Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут!.. А эти из городка счас выйдут! Окружат!.. Беда, батька!..

— Ларька! — закричал Степан.

— Здесь, батька! — Ларька вмиг очутился рядом.

— Собери казаков... Не ори только. К Волге — в стружки. Без гама! Останови сотню — я послал отогнать стружки: не отгоняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу... И тихо. Тихо!

— Чую, батька, — сказал смекалистый Ларька.

— Найдите Матвея, — велел Степан.

Матвея скоро нашли. Тот как прибежал с пожара: в саже, местами опален...

— Стойте здесь, Матвей, — сказал Степан. — Я пойду с казаками стретить пришлых... Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их, а они — вот они, собаки.

— Как же, Степан?! Ты что? — оторопел Матвей. — Какой там тебе Урусов — они ночью не сунутся... Это Мишка Осипов пришел.

— Стой здесь! — Степан был бледен и слабо держался на ногах. Но говорил твердо. И неотступно смотрел на Матвея.

Матвей понял, что их оставляют одних.

— Степан... Батька!.. Это Мишка Осипов!..

— Молчи! — Степан толкнул Матвея. — Откуда у Мишки пушки да ружья?.. Ты слышишь?!.

— Мужики!!! — заполошно заорал Матвей и бросился было к стене, к мужикам, но Ларька догнал его, сшиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу.

На стену всё лезли и лезли... Но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не слабели.

Скоро казаков никого почти у стены не было.

Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от Свяги один полк и велел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные и стрельцы увидели, что перед ними — только мужики с оглоблями да с теплыми пушками, из которых нечем было стрелять.

7

Матвей очнулся в струге.

Светало.

Сотни четыре казаков молча, изо всех сил гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей, сидел, склонив голову и прикрыв глаза; голова его чуть качалась взад-вперед от гребков.

Матвей огляделся... И все вспомнил. И все понял. И заплакал. Тихо, всхлипами...

— Не скули, — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы.

— Ссади меня, — попросил Матвей.

— Я ссажу тебя!.. На дно вон. — Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.

— Ссади, Степан, — плакал тот и просил.

— Молчи, — устало сказал Степан.

Матвей умолк.

И все тоже молчали.

— Придем в Самару — станем на ноги, — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь. — Через две недели нас опять много тыщ станет... Не травите себя. — Степану было тяжело и совестно говорить, он говорил через великую муку и боль.

— Сколько их там легло-о! — как-то с подвывом протянул Матвей. — Сколько их полегло, сердешных!.. Господи, Господи-и... Как жить-то теперь?.. Ка-ак?

— Ихняя кровь отольется, — сказал Степан.

— Кому?! — закричал ему в лицо Матвей.

— Скоро отольется... Не казись — так вышло.

— Да кому?! Кому она отольется?! Пролилась она, а не отольется! Рекой пролилась... в Волгу!

— Матвей плакал. — Понадеялись на молодцов-атаманов... Поверили! Эх!.. Заступники...

— Молчи!

— Не буду я молчать! Не буду!.. Будьте вы прокляты!

Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея:

— Молчи, собака!

Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея... Сглотнул слюну.

— Кто виноватый, Матвей? — спросил тихо.

— Ты, Степан. Ты виноватый, ты.

Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею.

— Кто виноватый?

— Ты!

Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею.

— Ты говорил: я не буду виноватый...

— Зачем мы бежим?! Их там режут, колют сейчас, как баранов!.. Зачем бросил их! Ваське пенял, что он мужиков бросил... Сам бросил! Бросил!.. Воины, мать вашу!..

Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом с ним.

— Они пока одолели нас, Матвей, — с мольбой заговорил атаман. — Дай с силами собраться... Кто сказал тебе, что конец. Что ты! Сейчас прибежим в Самару, соберемся... Нет, это не конец. Что ты! Верь мне...

— Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там!.. Милые...

— Больше будет. Астраханцы придут... Васька с Федькой, самарцы, царицынцы... На Дон пошлем. Алешку Протокина найдем. К Ивану Серку напишем... — Степан говорил как будто сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал — много потерял крови, рана болела.

— Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любят. А тебя сбили... Не пойдут теперь.

— Врешь!

— Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под несчастной звездой ты родился. — Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. — Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь... И обожглись. Да и сам ты — сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется... яркий..

— Вымойся, — велел Степан. — И не каркай.

— Спробуй. Приди в Самару — там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верю. Не могли мы погинуть по-доброму — со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет! Не я каркаю, Степан, над нами над всеми каркают... Подыми голову-то, оглядись: они уж свет заслонили — каркают.

8

Стали выше Самары.

Степан послал Ларьку с казаками в город — проведать. Сам ушел подальше от стругов, сел на берегу.

Это было то самое место, где совсем недавно последний раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы стоянки лагеря, еще зола кострищ не потемнела, не развеял ее ветер степной.

Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку.

Вдали на воде показались какие-то странные высокие предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, Степан догадался, что это... И страх объял его мужественную душу.

Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчмя укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих крестовинах гроздьями — по двадцать — тридцать — висели трупы. Плотов было много. И плыли они медленно и торжественно.

Степан, не отрываясь, смотрел на них.

Подошел Матвей, тоже сел. И тоже стал смотреть на плоты. Лица обоих были бледны, в глазах — боль. Долго смотрели.

— Считай, — тихо сказал Степан. — За каждого здесь — пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь — клянусь, другой раз клянусь. Господи, услышь меня, дай подняться, дай ишо раз подняться...

Матвей грустно, согласно вроде, кивнул головой.

— Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба не стало.

— Нет уж... теперь я не так буду.

— Будешь, будешь.

— Ты знай считай! Я в долгу аккуратный. — Дрогнувший было голос Степана вновь обрел крепость.

— Кого же считать?! — тихо и горько воскликнул Матвей. — Вся Русь тут. — Он помолчал и повернулся к атаману: — Только не на Дону наше спасение, Степан. Нет, не на Дону.

— Где же?

— Там, — Матвей показал на плоты. — Там, откуда они плывут. Может, там наше спасение, больше нигде.

Подскакал на коне Ларька.

— Не пускает Самара, — спрыгнув с коня, сказал он.

— Как?! — Степан вскочил. — Как? Ты что?

— Закрылись...

— Взять!!! Раскатать по бревну, спалить дотла!.. Зачем ты уехал оттуда? На распыл всю Самару!.. Поедем туда. Счас навяжу вот таких же плотов, и вперед этих по воде пустим. — Степан кинулся было к лодке.

Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не двинулся с места.

— Поедем Самару брать! — крикнул Степан. И остановился.

— С кем возьмешь-то? — спросил Ларька. — Взять. Перевернулось там все... Побили наших...

Степан растерянно оглянулся кругом... На воду. И опустил голову. Сказал тихо:

— Самара... А-а!.. Пока обойдем. Потом вернемся.

* * *

Уже только сотни две казаков скакали верхами приволжской степью. Скакали молча. Впереди Разин, Ларька Тимофеев, дед Любим, несколько сотников. Полторы сотни казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астрахань — подымать в поход всех, кто там остался. Если потребуется — если там спились с круга и забыли войну, — жестоко карать и гнать силой. А полсотни конных стрельцов ушли ночью со стоянки — сбежали. Догонять не стали — не догонишь.

Все понимали беду... Беда стояла в глазах у всех. Ничего впереди не ждали, но еще жались друг к другу... Да и не все жались-то: стрельцы уходили ночами. А кто оставался, с атаманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна надежда — уйти от беды, отъехать.

...Еще город на пути — Саратов.

Степан опять послал Ларьку. И опять ждал...

Вернулся Ларька, сказал:

— Не открыли.

— В Царицын, — велел Степан. — Там Пронька. Саратов потом сожжем. И Самару!.. И Синбирск!! Все выжжем! — Он крутнулся на месте, стал хватать ртом воздух. — Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду!.. Не меня!.. — Он сорвал шапку, с силой бросил ее к ногам. — Не меня змей сосать будет! Сам змей буду — сто лет кровь лить буду!.. Клянусь!.. Вот — клятву несу! — Степан брякнулся на колени, дрожащими пальцами хотел захватить горсть земли.

Ларька и Матвей подняли его за руки. Он уронил голову на грудь, долго стоял так. Вдохнул глубоко, посмотрел на товарищей своих — в глазах слезы. Он их не устыдился. Сказал тихо:

— В Царицын.

— Плохой ты, батька... Отдохнуть бы, — с жалостью сказал Матвей.

— Там отдохнем. Там нет изменников.

— Есть, Степан. Там будет так же. Не тешь себя...

— Откуда они узнают нашу беду? — с ужасом почти спросил Степан. — Ведь и едем скоро...

— Э-э... Вороны каркают — смерть чувят.

* * *

Теперь уж полторы сотни скакало осенней сухой степью.

Степан, правда, очень плох, ослаб очень.

На перегоне, вечерней порой, у него закружилась голова, он, теряя память, упал с коня.

И в тот-то момент, когда он летел с коня, раздался в ушах опять знакомый звон... И, утратив вовсе сознание, увидел Степан на короткое время: Москва... В ясный-ясный голубой день — престольная, праздничная. Что же это за праздник такой?

Звон колокольный и гул... Сотни колоколов гудят. Все звонницы Москвы, все сорок сороков шлют небесам могучую, благодарную песнь за добрые и славные дела, ниспосланные на землю справедливой вселенской силой.

Народ ликует. Да что же за праздник?

Москва встречает атамана Стеньку Разина.

Едет Стенька на белом коне, в окружении любимых атаманов и есаулов. А сзади — все его войско.

Со Степаном: Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, Федор Сукнин, Федор Шелудяк, Василий Ус, маленький сын Афонька, Прон Шумливый — все, все. Все нарядные и веселые.

Народ московский приветствует батюшку-атамана, кланяется. Степан тоже кланяется с коня, улыбается. Натерпелись люди...

Так хорошо видел Степан: проехали кривыми улочками Москвы... И улочки-то знакомые! Выехали на Красную площадь. Проехали мимо лобного места, направляясь к Спасским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Вот те и Кремль — Кремль как Кремль... А вот и палаты царские.

В царских палатах — царь и бояре.

Степан вошел, как он вошел когда-то в домашнюю церковку митрополита астраханского: с ватагой, хозяйским шагом.

— На карачки! — велел боярам. — Все! Разом!..

Бояре разом, послушно стали на карачки; на сердце у атамана отлегло. Он, не останавливаясь, прошел к трону, где восседал царь, взял его за бороду и сдернул с трона. И долго возил по

каменным белым плитам, приговаривая:

— Вот тебе, великий! Вот как мы его, великого! Вот он у нас какой, великий!.. Где он великий-то? — затычки делать из таких великих, бочки затыкать. Дурь наша великая сидит тут... расселась. — Степан пнул напоследок царя, распрямился, посмотрел на него сверху. — Вот он и весь... великий... Тьфу!

Потом он примерился сесть на трон... Посидел маленько — не поглянулось, делать нечего.

— Стырь! — позвал он любимого старика.

— Тут, батька!

— Иди садись. В царя игрывал — садись: всех выше теперь будешь.

— А чего я там буду?.. Негоже соколу на воронье место.

— Иди, не упирайся, старый!

— Да что я там?! Дерьма-то — царем. Я и не хотел сроду... Я так — зубоскалил. Неохота мне там... Да и чего делать-то?

— Сидеть! Не робей, тут — мягко, хорошо.

Стырь подошел, тоже пнул лежащего царя, взобрался на трон.

— Кварту сиухи! — велел он. — А чего с боярами будем делать, батька?

— Всех повесить и — вниз по Волге. Всех! — закричал Степан.

9

Очнулся Степан в незнакомом курене. Лежит он на широкой лежанке с перевязанной головой. Никого нет рядом, хотел оглядеться — голову повернуть больно. Хотел позвать кого-нибудь... и застонал.

К нему подошел Матвей Иванов.

— Ну, слава те Господи! С того света...

— Где мы? — спросил Степан.

— На Дону на твоём родимом. — Матвей присел на лежанку. — Ну силы у тебя!.. На трех коней. Господи, Господи... вернул человека... Слава тебе Господи!

— Ну? — спросил Степан, требовательно глядя на Матвея. — Долго я так?..

— Э-э!.. Я посидел, наверно. Долго. — Матвей оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос, как если бы он таился кого-то: — А Волга-то, Степушка, горит. Горит, родимая! Там уж, сказывают, не тридцать, а триста тыщ поднялось. Во как! А атаманушка тут — без войска. А они там, милые, — без атамана. Я опять Бога любить стал: молил его, чтоб вернул тебя. Вот — послушал. Ах, хорошо, Степушка!.. Славно! А то они понаставили там своих атаманов: много и без толку. Широко разлилось-то, а мелко.

— А ты чего так — вроде крадися от кого?

— На Дон тебя будут звать... — Матвей опять оглянулся на дверь. — Жена тут твоя, да Любим, да брат с Ларькой наезжают...

— Они где?

— В Кагальнике сидят. Хотели тебя туда такого, мы с дедкой не дали. Отстал от тебя Дон — и плюнь на его. Ишо выдадут. На Волгу, батька!.. Собери всех там в кучу — зашатается Москва. Вишь, говорил я тебе: там спасение. Не верил ты все мужику-то, а он вон как поднялся!.. Э-э, теперь его нелегко сбороть. Теперь он долго не уймется... раз уж кол выломил.

— А на Дону что?

— Корней твой одолел. Кагальник-то хотели боем взять — не дались. Бери счас всех оттуда — и...

— Много в Кагальнике? — допрашивал Степан.

— С три сотни.

— А в Астрахани?

— Васька помер, царство небесное. Митрополита убили, знаешь. Зря. И ты с церковью зря ругался — проклянут они тебя: грозятся. Это промашка твоя. Дон-то все... расшиперился — я так и знал. Но мужик, он... Слушай, Степан, пока тебе другого не насказали: мужик теперь в силе. Не гляди, што его колотют, — он сам обозлел...

Вошел дед Любим.

— Мать пресвятая!..

— Пришел попроведать нас с того света, — сказал счастливый Матвей. — Вот как бывает — не чаяли, не гадали.

— Что на Дону, дед? — спросил и Любима Степан.

— Плохо, атаман. Корней да Мишка Самаренин верх взяли. Кто и хотел ворохнуться, — присмирели. А они взяли да ишо слух пустили, Корней-то: срубили тебя...

— Степушка, — не унимался со своей радостью Матвей, — вот теперь скажу тебе... Ишо когда от Синбирска бежали, думал, на тебя гляючи, но плохой ты был — не стал уж говорить. Ты про Исуса-то знаешь?

— Ну? Как это?.. Знаю.

— Как он сгинул-то, знаешь? Рассказывал, поди, поп?.. Хорошо знал: ему же там — гибель, в Ирусалиме-то, а шел туда. Я досе не могу понять: зачем же идти-то было туда, еслив наперед все знаешь? Неужто так можно? А глядел на тебя и думал: можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Ну, тот — сын божий, он знал, что воскреснет... А ты-то? То ли вы думаете: любят вас все, — стало, никакого конца не будет. Так, что ли? Ясно видит: сгинет — нет, идет. Или уж и жить, что ли, неохота становится — наступает пора. Прет на свою гибель, удержу нет. Мне это охота понять. А сам не могу. Обдумай теперь все, хорошо обдумай... Я тебе не зря это рассказал, с Христом-то.

Степан хотел вдуматься в слова Матвея, но — сложно это, трудно, не теперь. Еще слабость великая в теле... Еще кулак не сожмешь туго — такая слабость. Он прикрыл глаза и долго лежал, пытаясь припомнить, как все случилось с ним... Правда, что ли, в стычке какой рубнули? Или — как?

— А казаки что? — опять спросил он Любима.

— А казаки что?! Я ж и говорю: нет тебя — они в разные стороны. Корней владычит...

— И наплевать на их! — с силой сказал Матвей.

Дед Любим посмотрел на него с усмешкой, пожаловался Степану:

— Загрыз меня тут совсем. Я уж не рад стал, что и казак-то.

Степан встал было с лежака, но его шатнуло вбок. Он сел опять, потрогал голову.

— Лежи уж!.. Куда ты? — сказал Матвей.

Но Степан привыкал к новому состоянию. Силы потихоньку возвращались к нему.

— Когда Ларька с Фролом приедут? — спросил.

— Седня пожалуют, — ответил Любим.

— Алена с имя?

— Алена здесь. Счас покличу. — Матвей вышел из куреня.

— Правда, на Волге-то?.. — спросил Степан старика. — Или прибавляет?

Дед Любим подумал.

— Не знаю, как тебе сказать. Поднялось много. С Осиповым, с Васькой Федоровым, Харитонов — эти вроде войском держутся, остальные — кто в лес, кто куда... Разлилось широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет?

Степан опять в волнении встал. И устоял.

— Глубоко будет. Корнея с Мишкой надо убить. Это мой промах: я их жить оставил. Завтра... Мы где?

— В Качалинском.

— Завтра в Кагальник поедем. Вот вам и конец! — воскликнул Степан, неведомо к кому обращаясь. — Начало только, а вы — конец!

В душу Степана наливалась сила, а с силой вместе — вера. Раз он поднялся, то какой же это конец! Муть в голове и слабость — пройдет, живая радость загудела в крови, уже он начал всего себя хорошо слышать и чувствовать.

— Окрепни сперва. Не торопись, — посоветовал Любим.

— Окрепну.

— Конечно, появишься ты теперь на Волге...

— Надо с казаками появиться.

— Казаки-то...

Вбежала Алена:

— Родимый ты мой!.. Степушка!.. — Повисла на шее мужа. — Да царица ты небесная, матушка-а!..

— Ну, ну, только не выть, — предупредил Степан.

Дед Любим поднялся, сказал сам себе:

— Пойду приму сиухи. Во здравие. Может, принести квартиру?

— Не надо, — отказался Степан.

Любим ушел. Пошел искать Матвея, чтобы с ним выпить. Знал, что Матвей пить не станет — не пьет, но про Иисуса доскажет. За время долгой болезни атамана, выхаживая его, старый казак сдружился с умным Матвеем, любил его рассказы.

Обо всем успели поговорить Степан с женой. Осталось главное: что делать дальше? Алена знала, что делать, — ей подсказал Корней Яковлев. Она тайком виделась с ним.

— Степушка, родимый, согласишься. Пошто ты его врагом-то зовешь? Он вон как об тебе печалится...

— Дура! — Степан встал с кровати, заходил по куреню. Алена осталась сидеть. — Ах, дура!.. Приголубили ее. Он — лиса, я его знаю. Чего он говорит?

— Поедем, говорит, с им вместе, он повинится царю — царь помилует. Было так — винулись...

— Зачем же он с войной на Кагальник приходил?

— Они тебя опять сбивать станут, смутьяны... Он хотел их переимать, твоих...

— Тьфу!.. — Степан долго ходил туда-сюда в сильном раздражении. — И ты мне говоришь такое!

— Кто же тебе говорить будет? Смутьяны твои? Они ждут не дождутся, когда ты на ноги станешь. Им опять уж не терпится, руки чешутся — скорей воевать надо, чтоб их черт побрал. согласишься, Степушка!.. Съезди к царю, склони голову, хватит уж тебе. Слава богу, живой остался. Молебен царице небесной отслужим да и станем жить, как все хорошие люди. Чего тебе надо ишо? Всю голь не пригреешь — ее на Руси много.

— Сам он к царю ездил? После Мишки-то...

— Иван Аверкиев с казаками. В двенадцать. А царь, слышно, заслал их в Холмогоры — не верит. Раз, мол, присылали, а толку...

— Собака, — с сердцем сказал Степан, думая о своем. — Помутит Дон. Я его живого сожгу!.. И всю старшину, всех домовитых!.. Не говори мне больше такие слова, не зли — я ишо слабый. К

Корнею я приду в гости. Я к им приду! Пусть заранее в Москву бегут.

Алена заплакала:

— Не обманывает он тебя, Степушка!.. Поверь ты. Не с одной мной говорил, с Матреной тоже, с Фролом...

— Он знает, с кем говорить.

— Он говорил: Ермака миловал царь, тебя тоже помилует. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех такой толкнули... Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, не чужой...

— Хватит. Вытри слезы. Афонька как?

— Ничо. С бабкой Матреной там... Она прихворнула. Повинись, Степушка, родной мой...

— Тут кони есть? — спросил Степан.

— Есть.

— Покличь деда с Матвеем. Сама тоже собирайся.

— Слабый ты ишо. Куда?

— Иди покличь. Не сердись на меня, но... с такими разговорами больше не лезь.

— Господи, Господи!.. — громко воскликнула Алена. — Не видать мне, видно, счастья, на роду, видно, проклятая... — Она заплакала.

— Что ж ты воешь-то, Алена! Радоваться надо — поднялся, а ты воешь.

— Я бы радовалась, если б ты унялся теперь. А то заране сердце обмирает. Уймись, Степан... Корней не лиходей тебе.

— Уймись. Как ни одного боярина на Руси не станет, так уймись. Потерпи маленько. Иди покличь деда. И не реви...

Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос.

— Степан, ты послушай-ка про Исуса-то... — начал было Любим, но Степан не дал ему.

— Завтра в Кагальник поедем, — сказал он. — Собирайтесь.

Но в Кагальник они приехали только через неделю: пять дней еще Степан отлеживался.

10

В Кагальник прибыли, когда уж день стал гаснуть.

Казаки — триста самых отпетых и преданных — встретили атамана с радостью великой, неподдельной.

— Батька! Со здравием тебя!.. — орали.

— Поднялся! Мы Зосиму молили тут...

— Здоров, батюшка!

Высыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. Степан тоже улыбался, оглядывал всех... Похоже, можно начинать все сначала. Никакой тут беды нет, она тут не ночевала.

«Матвей, Матвей... не знаешь ты казаков, — думал он. — Мужик, он, может, и обозлился, и махает там оглоблей, на Волге-то, но где ты таких соколов беззаветных найдешь, таких ловкачей вертких, где еще есть такие головушки буйные?..»

Степан подавал всем руку, а кого и обнимал.

— Здорово, братцы! Как вы тут?

— Заждались тебя!

— Ну, добре. Радый и я вас всех видеть... Слава богу! Все хорошо будет.

Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол...

— Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходили! — издали еще весело известил Ларька.

— Что ж ты радуисся? — спросил Степан, отдавая коня в чьи-то руки. — Горевать надо... Или — как? — Поздоровался с есаулом, с сотниками, с братом.

— Клади мы на их — горевать, — откликнулся Ларька.

Степан устал за дорогу. Прошли в землянку.

Матрена, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке.

— Прилетел, сокол... Долетели мои молитвы.

Степан неумело приласкал старуху.

— Что эт ты? Завалилась-то?

— Вот — завалилась, дура старая...

Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим.

— Афонька!.. Ух, какой большой стал! Здоров! — Поднял мальчика, потискал. — Вот гостинцев, брат, у меня на этот раз нету — не обессудь. Самого, вишь, угостили... насилу очухался.

Не терпелось Степану начать разговор деловой — главный.

— Ларька, говори: какие дела? Как Корнея приняли?

— Ничего... Хорошо. Больше зарекся, видать, — нету.

— Много с им приходило?

— Четыре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева...

— Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру... А он додумался — бояр на Дон звать.

Чего тут без меня делали?

— В Астрахань послали, к Серку писали, к ногаям...

— Казаки как?

— На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что провинились перед царем...

— Через три дня пойдем в Черкасск. Передохну вот...

— Братцы мои, люди добрые, — заговорил Матвей, молитвенно сложа на груди руки, — опять ведь вы не то думаете. Опять вас Дон затащил. Ведь война-то идет! Ведь горит Волга-то!.. Ведь там враг-то наш — на Волге! А вы опять про Корнея свою: послал он к царю, не послал он к царю... Зачем в Черкасск ехать?

— Запел! — с нескрываемой злостью сказал Ларька. — Чего ты суешься в чужие дела?

— Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах — рази они мне чужие?

Тяжелое это было воспоминание — мужики на плотах. Не по себе стало казакам: и тяжело, и больно.

— Помолчи, Матвей! — с досадой сказал Степан. — Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся туда в три сотни? Ни себе, ни людям...

— Пошто так?

— Дон поднять надо. Думаешь, правда остыли казаки? Раззудить некому... Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу явимся. Но не в триста же!

— Опять за свой Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!.. — Матвей искренне не мог понять атамана и казаков: что за сила держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он этого понять, страдал. — Триста тыщ, Степан!..

Горе Матвея было настоящее, казаки это видели.

— Знаю я их, эти триста тыщ! Седни триста, завтра — ни одного, — как можно мягче, но и стараясь, чтоб правда тоже бы дошла до Матвея, сказал Степан. — И как воюют твои мужики, тоже видали...

— Опять за свое! — воскликнул Матвей. — Вот глухари-то!.. Да вы вон какие искусники, а все же побежали-то вы, а не...

— Выдь с куреня! — приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея.

— Выдь сам! — неожиданно повысил голос и Матвей. — Атаман нашелся. Степан... да рази ж ты не понимаешь, куда тебе счас надо? Ведь что выходит-то: ты без войска, а войско без тебя. Да заявись ты туда — что будет-то! Все Долгорукие да Борятинские наострят лыжи. Одумайся, Степан...

— Мне нечего одумываться! — совсем тоже зло отрезал Степан. — Чего ты меня, как дите малое, уговариваешь. Нет войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними.

— Эхх!.. — только и сказал Матвей.

— Все конные? — вернулся Степан к прерванному разговору.

— Почесть все.

— Три дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею. Матвей... как тебе растолковать... К мужикам явиться, надо... радость им привезть. Одно дело — я один, другое — я с казаками. Все ихное войско без казаков — не войско. Сам подумай! А мне надо ишо тут одну зловредную голову с плеч срубить — надежней за свою будет. Мой промах, я и выправлю.

* * *

Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька.

— Спишь? — спросил он тихо.

— Нет, — откликнулся Матвей и сел на лежанке. — Какой тут сон... Тут вся душа скоро кровью истекет. Горе, Лазарь, какое горе... не понимаете вы, никак вы не поймете, где вам теперь быть надо. Да вразуми вас Господь!.. Вы же с малолетства на войнах — как вы не поймете-то? А?

— Собирайся, пойдем: батька зовет, — сказал Ларька.

Матвей удивился и обеспокоился:

— Опять худо ему?

— Нет, погугарить хочет... Пошли.

— Чего это?.. Ночью-то?

— Не знаю. — Ларька нервничал, и Матвей уловил это. Он вздул с помощью кресала малый огонек и внимательно посмотрел на есаула... И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось, еще противились разум и сердце.

— Ты что, Ларька?..

— Что? — Ларька злился и хуже нервничал. — Пошли, говорят!

— Зачем я ему понадобился ночью?

— Не знаю. — Ларька упорно смотрел на крохотный огонек, а не на Матвея.

— Не надо, Лазарь... Грех-то какой берешь на душу. Я лучше так уйду...

— Одевайся! — крикнул Ларька.

— Не шуми. Приготовлюсь по-людски... Эхх...

Матвей встал с лежанки, прошел со свечечкой в угол, молча склонился к сундучку, который повсюду возил с собой. Достал из него свежую полотняную рубаху, надел... Опять склонился к сундучку. Там — кое-какое барахлишко: пара свежего холстяного белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток — он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество... Не мог подняться с колен.

— Ну! — позвал Ларька.

Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Плечи его вздрагивали. Он плакал.

— Пошли. — Матвей вытер слезы, встал с колен... — Прости вас Господь! — сказал он с волнением. — Обманули людей... Может, и не хотели того. Но мно-ого на вас невинной крови... — Он повернулся было к Ларьке, но тот сильно толкнул его к выходу.

— Шагай!

Утром Ларька сказал Степану:

— Этой ночью... Матвей утек.

— Как? — поразился Степан. — Куда утек?

— Утек. Кинулись — нигде нету. К мужикам, видно, своим — на Волгу. Куда звал, туда и утизенил.

Степан пристально посмотрел на верного есаула... И все понял. И так больно стало, так нестерпимо больно, как бывает больно от невозвратимой дорогой утраты.

— Гад ты подколодный, — сказал он, помолчав, негромко. — Ох, какой же ты гад... Мешал он тебе?

— Мешал, — твердо сказал Ларька. — Умный шибко!.. Чего ни сделаешь, все не так, все не по его...

— А мы с тобой?! — закричал Степан, белея. — Мы всегда с тобой умные?!

— Ну, и... так тоже... к такой-то матери все, все дела, все на свете! — Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана. — Кончай и меня тогда, раз он тебе милее нас. Мне с им тоже не ходить. Меня всего тряской трясти начинает, как он только поглядит — опять не так делаем. Живи и оглядывайся на его!..

— Тряской его трясет... — Степан долго, мрачно молчал, глядя в пол. И сказал с грустью: — Нет у меня есаулов... Один остался, и тот живодер. А выхода... тоже нет. Поганец! Уйди с глаз долой!

Ларька ушел.

11

Через два дня три с лишним сотни казаков, во главе с Разиным, скакали правым берегом Дона — вниз, к Черкасску. В «гости» к Корнею.

Опять — движение, кони, казаки, оружие... Резковатый, пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабости. И крепка рука. И близок враг — свой, «родной», знакомый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мольбе и злобе предсмертной...

Ну, что же это, как не начало?

Но, может, это после хвори осталась тревога на душе? Никак не поймешь: отчего она? Все же ведь хорошо. Все хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность, что-то тревожит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков — и шевельнется в груди тревога, прямо как страх. И

никак от этой тревоги не избавишься — не обгонишь ее на коне, не оставишь позади. Что за тревога такая?

Черкасск закрылся.

Заплясали на конях под стенами.

— В три господ Бога мать! — ругался Степан. Но сделать уже ничего не сделаешь — слишком малы силы, чтобы пробовать взять хорошо укрепленный теперь городок приступом.

Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе.

— Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо ж нам повидаться! Что они, с ума походили? Своих не пускают...

Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался. И привозил ответ:

— Нет.

— Скажи, — накалялся Степан, — еслив они будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон посажу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого закопаю! Пусть они там не слушают его, он первый изменник казакам, он продает их боярам. Рази же они совсем одурели, что не понимают!

Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с казаками, которые были на стене. И привозил ответ:

— Нет. Ишо суляться стрельбу открыть. Одолел Корней.

— Скажи, — велел в последний раз Степан, — мы ишо придем. Мы придем! Плохо им будет! Кровью плакать будут за лукавые слова Корнеевы. Скажи: они все уж там проданы с потрохами! И еслив хоть одна курва в штанах назовет там себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут. Пусть над имя дети малые смеются. — Степан устал. — И дети ихные проданы. Скажи: все они там, с Корнеем в голове, — прокляты от нас. Еслив их давить всех придут, мы не придем заступиться. Мы им теперь не заступники.

Ехали обратно. Не радовала степь вольная, не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор.

Нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не тревога.

12

Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Нога.

Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, заметался, как раненый волк в облаве. Стремительность опять набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней.

Станица за станицей, хутор за хутором...

По обыкновению Степан велел созывать казаков на майдан и держал короткую речь:

— Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь проливали и в этой самой земле

лежат, его теперь наша старшина с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным продают: называют суда бояр. Так что лишают нас вольностей, какие нам при отцах и дедах наших были! Нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно! Нам бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь нашим русским и другим братьям, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пускай скажет здесь прямо и пускай потом на себя пеняет!

Таких не было, которые бы заявляли «прямо» о своем нежелании поддержать разинцев и помочь «русским и другим братьям» на Волге, но к утру многих казаков не оказывалось в станице. Степан зверел.

— Где другие?! — орал он тем десяти — пятнадцати, которые являлись поутру на майдан. — Где кони ваши?! Пошто неоружные?!

Угрюмое молчание было ответом.

Уводили глаза в сторону...

— Ну, казаки!.. Наплачетесь. Ох, наплачетесь! — недобро сулил Разин.

...В другом месте Степан откровенно соблазнял:

— Атаманы-молодцы! Охотники вольные!.. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить, на добрых конях поездить, — пошли со мной! Силы со мной — видимо-невидимо: она на Волге, там ждут нас! Ну, молодцы!.. Не забыли же вы, как вольные казаки живут. Стрепенитесь!

Поутру — то же: десять — двенадцать молодых казаков, два-три деда, которые слышали про атамана «много доброго». И все. А никогда не говорил атаман так много, цветасто — аж самого коробило. Но он больше не знал, как всколыхнуть мертвую воду; гладь ее, незыблемость ее — ужасала.

Тоска овладела Степаном. Он не умел ее скрывать. Однажды у них с Ларькой вышел такой разговор. Они были одни в курене. Степан выпил вина, сплюнул, сказал прямо и просто:

— Не пьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это.

— Какой конец? Ты что? — удивился Ларька; может, притворился, что удивлен, — даже и это противно знать: все врут теперь или нет?

— Конец... Смерть чую.

— Брось! Пошли в Астрахань... Уйдем там усобицу ихнюю. Может, в Персию опять двинем... — Ларька вроде говорил искренне.

— Нет, туда теперь путь заказан. Там два псаря сразу обложут: царь с шахом. Они теперь спелися.

— Ну, на Волгу пошли! — Нет, Ларька еще предан душой. Но это не радует, а только гнетет: где другие, где они, с преданными душами-то!

— С кем? Сколь нас!..

— Сколь есть... Мужиками обростем: вошкаются же они там...

— Мужики — это камень на шею. Когда-нибудь да он утянет на дно. Вся надежда на Дон была... Вот он — Дон! — Степан надолго задумался. Потом с силой пристукнул кулаком в столешницу. — На кой я Корнея жить оставил?! Где голова была!.. Рази ж не знал я его? Знал — не станет он тут прохладиться: всех путами спутал, а концы... Москва держит. Не седня-завтра суда бояры с войском явятся.

Ларька выпил. Помолчал и сказал:

— Не вышло, видно, у Ивана. Пропал где-то.

— Про кого ты? — не понял Степан.

— Ванька Томилин... Посылал я его в Черкасск Корнея извести. Пропал, видно, казак. Может, перекинулся...

— Когда же?

— До того ишо, как нам к Черкасску ходить. Ни слуху ни духу... У меня зельишко было, мордвин один дал: с ноготка насыпать в рюмку... А может, мордвин надул.

— Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дня не проживет.

— Пропал... Может, не сумел. Но там... чего там, поди, суметь-то!

— Может, изменил. За кого теперь можно заручиться? Надо было нам раньше думать, Ларька. Как я-то?! Где голова была!

— Нет. Я его знаю, Ваньку... Чего-то, видно, не вышло.

— Ну, пропал.

— Пропал. Жалко, казак добрый, — вздохнул Ларька.

Степан надолго замолк.

* * *

В одной станице, в курене богатого казака, вышел с хозяином спор.

— Пропало твое дело, Степан Тимофеич, — заявил хозяин напрямки. — Не пойдут больше за тобой.

— Пошто? — спросил Степан.

— Пропало... Не пойдут больше.

— Откуда ты взял?! — хотел серьезно понять Степан. — Как это: я вам говорю — не пропало, а вы — пропало. Я лучше знаю или вы?

— Видим... не слепые. За тобой кто шел-то? Голутьба наша да москали, которых голод суда согнал. Увел ты их, слава богу, рассеял по городам, сгубил которых — теперь все, не обижайся. Не пойдут больше за тобой. И не мани, и не сули горы златые... Смешно даже слушать-то. Не зови никого и сам уймись. Хватит.

— А ты, к примеру, пошто послужить не хошь?

— Кому? — Казак прищурил глаза в усмешке. — В разбойниках не хаживал, не привел Господь Бог... С царем мне делить нечего — мы с им одной веры. Он меня поит-кормит, одевает...

— А мужиков... — Степан уже пристально смотрел на казака. — Братов таких же, русских, одной с тобой веры — бьют их... У тебя рази душа не болит?

— Нет. Сами они на свой хребет наскребли. И ты, Степан, не жилец на свете. От тебя смертью пахнет.

Степан и Ларька уставились на казака.

— Смертью пахнет, — пояснил тот. — Как вроде — травой лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит: не жилец.

— А от тебя не пахнет? — спросил Степан.

— От себя не учуешь. А вот у нас в станице — кто бы ни помирал — я наперед знаю. Подойдешь — даже лихотит, до того воняет. Скажешь человеку — не верит, пройдет время, глядишь: отдал богу душу. Или на войне срубят, или своей смертью помрет. Я — такой. Меня даже боятся. А от тебя счас — крепко несет. Срубят тебя, Степан, на бою. Оно бы и лучше — збаламутил ты всех... Царя лаешь, а царь-то заботится об нас. А счас вот — по твоей милости — без хлебушка сидим. Мы за тебя в ответе оказались. А на кой ты нам? Мы с царем одной веры, ишо раз тебе говорю.

Степан впился немигающим взглядом в казака, одаренного таким странным даром: чують чужую смерть.

Ларька встал и вышел из куреня, чтоб ничего больше не видеть. Слышал, как Степан сказал казаку:

— Поганая ваша вера, раз она такая...

Больше Ларька не слышал.

Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер саблю пучком пакли... Садясь на коня, велел казакам:

— Спалить.

— Не надо бы — у себя-то... — неуверенно сказал Ларька. — Так вовсе никого не подыдем.

— Спалить! — крикнул Степан. Стегнул коня и погнал прочь.

Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подравнял своего коня к скоку разинского жеребца, чуть сзади.

— Спалили? — спросил Разин, не оглянувшись.

— Нет, — коротко отозвался Ларька.

Степан оглянулся... Не то что удивился такому непослушанию, а — интересно: это бунт, что ли?

— Я же велел...

— Со зла велел. После сам пожалеешь.

Если это не бунт, то и не ватажный угар, когда слово атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и куда она упадет, искорка, там горит. Нет, это не гулевой пожар, это похмелье в пасмурное утро, горькое, пустое и мерзкое.

«Это — конец. Конец. Конец». Степан понимал.

Он молча скакал... И захотелось вдруг еще и вот что понять: ну, есть страх? Злость? Боль? Жалость?.. Нет, одно какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой-то конец. Какой ни на есть! Надоело. Тошно. Он и сам не верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей Иванов, царство небесное: на леченом коне далеко не ездят. «Битый я — вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной, какой дурак! Я б сам первый не пошел...»

Ларька как будто подслушал его мысли. Позвал:

— Степан!

— Ну? — Атаман не обернулся.

— Придержи!.. Погутарим.

Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но и опять не обернулся.

— Не подыметя Дон, Степан... — заговорил Ларька, оглянувшись на казаков, но те были далеко. — Знаешь, чего мы делаем, мотаемся по станицам? Слабость свою всем в глаза пялим. Когда волка ранят, он, дурак, вместо того чтоб перебрести ручеек да отлежаться где-нибудь в закутке,лизать рану, он вместо этого старается уйти подальше — кровь теряет и след за собой волокет. Так и мы...

— Мы же не уходим. — Степану интересно стало, как думает есаул про все эти дела.

— Мы хуже: на глазах мечемся.

— Все так же думают или один ты... такой умник?

— Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно, не надо даже умником быть. У тебя голова, а у нас что, корчаги вместо голов?

Степан оглянулся на есаула:

— Чего ж ты советуешь? — Еще сбавил ход жеребцу. — Нет, так: скажи, пошто Дон больше не подыметя?

— Степа, мы ж казаки с тобой. Чего греха таить — и ты знаешь, и я знаю: за щастливым атаманом — это мы с радостью великой, хоть на край света... хаживали! И за тобой шли. А теперь ты... запнулся. Тут уж — прости, батюшка-атаман, — погожу. Отсижусь пока дома. Ненавижу эту поганую жилку, но сам такой... Никуда не денесся. Вот тебе мой ответ. Плохой ответ, но... какой есть.

— Я не ответ спрашиваю, а — совет.

— Совет?.. Тут я пока... дай подумать. — Ларька замолчал.

И Степан молчал.

— Ну, раз спрашиваешь, — заговорил Ларька, — то я скажу... Пойдем в Запороги? Нас там с радостью примут. Вот мой совет добрый. Никуда больше не надо — ни в Астрахань, ни... Там хуже нашего. И на Волге нечего делать: у их там теперь свои атаманы... Там теперь — ихняя война пошла.

— Битые-то придем в Запороги?..

— А они что, сроду битые не были? Им тоже попадало.

— Ларька!.. — с грустью и изумлением воскликнул атаман. — Послушал бы ты сейчас со стороны себя: бесстыдник! Братов наших, товарищей верных в землю поклали, а сами наутек? Эх, есаул... Плачет по тебе моя пуля за такой совет, но... не судья я вам больше. Скажу только, как нам теперь быть: разделим с братьями нашими ихнюю участь. А если у тебя эта твоя поганая жилка раньше времени затрепыхалась, — отваливай.

Теперь молчал Ларька.

— Что молчишь?

— Нечего сказать, вот и молчу. Это как же ты мне советуешь отвалить-то — ночью? Тайком?

— Ты видишь, как отваливают. Тайком.

— До такого я пока не дошел.

— А не дошел, не советуй всякую дурость.

Некоторое время ехали молча.

Отдохнувшие кони сами собой перешли в рысь. Казаки отпустили их. День был нежаркий. Степь, еще не спаленная огнем солнцем, нежилась, зеленая, в ласковых лучах; кони всласть распинали ее сильными ногами.

— Знаешь, чего хочу? — спросил Степан после долгого молчания.

Ларька, оскорбленный и пристыженный, хотел уклониться от разговора. Буркнул:

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Хочу покоя. Упасть бы в траву... и глядеть в небо. Всю жизнь, как дурак, хочу полежать в траве, целый день, без всякой заботы... Скрывал только... Но ни разу так и не полежал.

Ларька удивленно посмотрел на Степана. Не думал он, что неукротимый атаман, способный доводить в походах себя и других до иступления... больше всего на свете хотел бы лежать на травке и смотреть в небо. Он не поверил Степану. Он переиначил желанный покой этот на свой лад:

— Скоро будет нам покой. Только опасаясь, что головы наши... будут в сторонке от нас. Одни только головушки и будут смотреть в небо. А? — Ларька невесело засмеялся.

Степан улыбнулся тоже.

— Воронье... — сказал он непонятно.

— А?

— Воронье, мол... глаза выключают — не посмотришь. Нечем смотреть-то будет.

На этом перегоне их догнал верховой.

— За вами не угоняйся. То там, сказывают, видали, то тут...

— Говори дело! — нетерпеливо велел Степан.

Казак ненароком зыркнул глазами на войско атамана, до смешного малое... Разные ходили слухи: то говорили, со Стенькой много, то — мало. Теперь видно: плохо дело атамана, хуже не бывает. И казак не сумел скрыть своего изумления; на его усатом лице промелькнуло что-то вроде ухмылки.

— Ты что? — спросил Ларька, обеспокоенный запинкой казака и его пытливым взглядом. Он и усмешку казака не проглядел.

— Корней в Кагальник нагрязнул. — Казак спокойно посмотрел в глаза Степану.

Степан, Ларька, сотники молча ждали, что еще скажет гонец. Казака этого никто не знал.

— Ну? — не выдержал Степан. — С войском?

— С войском.

— Сколь? Да рожай ты!.. — заругался Степан. — Тянуть, что ль, из тебя?

— Сот семь, можа, восемь... Сказывает, грамоту тебе от царя привез.

— Какую грамоту?

— Больше молчит. Велел только сказать: милостивая грамота.

Степан долго не думал:

— В Кагальник!

— Степан... я не поеду, — заявил Ларька.

— Как так? — Степан крутнулся в седле, вперился глазами в есаула — в лицо его, в переносицу. — Как ты сказал?

— Подвох это. Какая милостивая грамота! Ты что?

Степан качнул удивленно головой:

— Рази я для того еду, что в грамоту ту верю? Ларька... что ты, Бог с тобой! Ты уж вовсе меня за недоумка принимаешь. Грамота, видно, есть, только не милостивая. С какого черта она милостивой-то будет? Мы ему Сибирь не отвоевали...

Теперь Ларька удивился:

— Для чего же? Не возьму, для чего к им ийтить?

— Придем — все разом решим. Раз они сами вылезли — нам грех уклоняться. Не могу больше... Ты видишь — зря мотаемся. Сам же укорял: без толку мотаемся... Поехали — крест поставим и не будем мотаться.

— В триста-то казаков на семьсот! Нет, Степан... ты вояка добрый, но там тоже... не турки, а такие же казаки. Ничего нам не сделать. Какой крест?

— Помрем по-людски...

— Мне ишо рано. — Ларька решительно изговорился в душе; страх он одолел, но все же заговорил громче — чтоб другие слышали.

— Вон ка-ак? — протянул Степан; такого он не ждал.

— А как?.. С тобой на верную гибель? — спросил Ларька. — Зачем?

— Последний раз говорю: едешь? — Степан не угрожал, но никто бы и не поручился, что он сейчас не всадит Ларьке пулю в лоб. Было тихо.

— Нет. Зачем? Я не понимаю: зачем? — Ларька оглянулся на казаков... И опять к Степану: — Зачем, батька?

Степан долго смотрел в глаза верному есаулу. Ларька выдержал взгляд атамана.

Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом обратился ко всем:

— Казаки! Вы слышали: в Кагальник пришел с войском Корней Яковлев. Их больше. Их много. Кто хочет ийтить со мной — пошли, кто хочет с Ларькой остаться, — я не неволю. Обиды тоже не таю. Вы были верные мои друзья, за то вам поклон мой. — Степан поклонился. — Разделитесь и попрощайтесь. Даст Бог — свидимся, а нет — не поминайте лихом. — Степан подъехал к Ларьке, обнял его — поцеловались.

— Не помни зла, батька, — сказал Ларька, перемогая слезы. — Не знаю... у тебя своя думка... я не знаю...

— Не тужи. Погуляй за меня. Видно, правду мне казак говорил... близко мой конец.

Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно сморщился и ладошкой сердито шаркнул по глазам.

— Прости, батька... Не обессудь.

— Добре... Вы простите тоже.

Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в степь. Он слышал топот за собой, но не оглядывался, крепился. Потом оглянулся... Не больше полусотни скакало за ним. Степан подстегнул коня и больше уже не оборачивался. И не давал коню передохнуть — торопился. Полусотня едва попевала за ним — не у всех были добрые кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько сморил. Степан не оглянулся и не сбавил бег.

Трудно понять, какие чувства овладели Степаном, когда он узнал, что в Кагальнике сидит Корней Яковлев. Он действительно напрямик пошел к гибели. Он не мог не знать этого. И он шел. Вспомнились слова Матвея про Иисуса... Но вдумываться в них Степан не стал. Да и не понял он тогда, почему — Иисус? А теперь и вовсе не до того — разбираться в чувствах, в предчувствиях, в мыслях путаных... С каждым скоком коня все ближе, ближе, ближе те, кого атаман давно хотел видеть. Теперь — скоро уж — все будет ясно, скоро будет легко. Скоро, скоро уж станет легко. Степан волновался, тискал в пальцах тонкий ремешок повода... Господи, как охота скорей заглянуть в ненавистные, в глубокие, умные глаза Корнея, Фрола Минаева, Мишки Самаренина... Выстегать бы их вовсе, напрочь — плетью изо лба, чтоб вытекли грязным гноем. Но зачем-то надо было Степану — еще раз увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже... Затем, может, что охота увидеть — какое в них будет торжество. Будет в них торжество-то? Как они глядеть-то будут?

* * *

К вечеру подъехали к Кагальнику.

Оставив полусотню на берегу Дона (таково было условие сидящих теперь в Кагальнике), он с тремя сотниками переплыл, стоя на конях, на остров. И пошел к своей землянке, где были теперь Корней и старшина — ублюдки, нечисть донская. Степан ничего вокруг не видел, не слышал. Он торопился, хоть изо всех сил не показывал этого, но прямо чуть не бежал.

У входа в землянку его и сотников хотели разоружить. Степан вытащил саблю — как если бы хотел отдать ее — и вдруг с силой замахнулся на караульных. Те отскочили.

И Степан вошел — стремительный, гордый, насмешливый. Вот он, желанный миг желанного покоя. Враги в сборе — ждут. Теперь — его слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дорогой миг расплаты. Будет слово. Будет слово и дело. Усталая душа атамана взмыла вверх — ничего не хотела принять: ни тревоги, ни опасений.

Корней и старшина сидели за столом. Всего их было человек двенадцать — пятнадцать. Они слышали некий малый шум у входа, и многие держали руки с пистолями под столом. Выбежать на шум не решились — посоветились своих, да и знали, что со Стенькой здесь всего трое, и знали, что Стенька не затеет свару на улице — войдет сюда.

В землянке была Алена. Матрены, брата Фрола и Афоньки не было. Про Алену Степан не знал, что она здесь.

— Здорово, кресный! — приветствовал Степан Корнея.

— Здоров, сынок! — мирно, добрым голосом сказал Корней.

— Чего за пустым столом сидите? Алена!.. Али подать нечего? — Степан даже руками развел — так удивился.

— Есть, Степан, как же так нечего! — востропнулась Алена, до слез обрадованная миром в землянке.

— Так давай! — Степан отстегнул саблю, бросил ее на лежанку. Пистоль оставил при себе. Сотники его сабель не отстегнули. На них покосились из-за стола, но смолчали.

Степан прошел на хозяйское место — в красный угол. Сел. Оглядел всех, будто хотел еще раз проверить и успокоиться, что — все на месте.

Никто не понимал, что происходит. Даже Корней был озадачен, но вида тоже не показывал.

— Чего такие невеселые? — спросил Степан. — А? Сидят как буки... Фрол, чего надулся-то?

— А ты с чего развеселел? — подал голос Емельян Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, того, который и теперь еще был где-то в Москве — наушничал царю и боярам на Стеньку.

— А чего мне? Дела веселые, вот и веселюсь.

— Оно видно, что веселые...

— Не рано ли, Степан? Веселиться-то?

— Ну, а где ж твое войско, кресник? — спросил Корней.

— На берегу стоит. — Степан все не спускал дурашливого, веселого тона. Все поглядывал на старшину, — будто наслаждался. Он и наслаждался — видел теперь глаза всех: Фрола Минаева, Корнея, Мишки Самаренина, всех. И — ни торжества в этих глазах, ничего — один испуг, даже смешно.

— Там полста только. Все, что ль? А я слышал, у тебя многие тыщи. Врут? — Умный Корней догадался — подхватил беспечную игру. — От люди! — медом не корми, дай приврать. И все ведь добра атаману желают, не по злобе. А невдомек, дуракам, что такими-то слухами только хуже душу бередают атаману. И так-то не сладко, а тут...

— А у тебя сколь? — нетерпеливо прервал его Степан. — Семьсот, я слышал? — Вот — семьсот твоих да полста моих — это семьсот с полусотней. Вот это и есть пока наше войско. Пока сэстоль... Скоро будут многие тыщи. Говорят, а зря не скажут, кресный, — не отмахивайся. Про вас вовсе вон чего говорят: совсем уж, мол, боярам продались, беглецов отдают... все вольности отдают, даже и бояр с войском зовут, мол... Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота: так ли, нет ли? А? — Степан засмеялся. — Тоже врут небось?

Корней старательно разгладил левой ладошкой усы, промолчал на это.

Алена поставила на стол вино. Из всех тут, в землянке, одна, может быть, Алена только и не понимала, не догадывалась, чем кончится это застолье.

— Разливай, дядя Емельян! — Степан хлопнул по плечу рядом сидящего пожилого, дородного Емельяна Аверкиева. — Вынь руку-то из-под стола, чего ты там? Уж не забыл ли на старости, как креститься надо? Лоб надо крестить-то, лоб, а ты... Грех ведь! Тьфу!

Дядя Емельян дернулся было с рукой... и смутился. Сказал с усмешечкой:

— Да ведь ты, Стенька... ложкой кормишь, а стеблем в глаз норовишь.

— Да что ты, Христос с тобой! — воскликнул Степан. — Я грамотку царскую приехал послушать, грамотку. А вы зачем звали? Мне сказали — грамотка у вас от царя...

Выручил всех Корней. Взял кувшин, разлил вино по чарам. Но опять вышла заминка — надо брать чары.левой рукой — поганой рукой, не по-христиански. Опять не знали, что делать, сидели, кто ухмылялся в дурацком положении, кто хмурился... Упустить Стеньку из виду —

хоть на короткое время занять руки — опасно: неизвестно, кому первому влетит между глаз Стенькина пуля, а сзади — еще трое с саблями и с пистолями.

Степан взял свою чару, поднял...

— Со свиданьем, казаки!

Старшина сидела в нерешительности.

Степан выложил свой пистоль на стол.

— Кладу — вот. Выкладывайте и вы, не бойтесь. Или вы уж совсем отсырели, в Черкасске сидючи? Нас ведь четверо только!

Казаки поклали пистолы на стол, рядом с собой, взяли чары.

— Я радый, что вы одумались и пришли ко мне, — сказал Степан. — Давно так надо было. Что в Черкасск меня не пустили, за то вам отпускаю вашу вину. Это дурость ваша, неразумность. Выпьем теперь за вольный Дон — чтоб стоял он и не шатался! Чтоб никогда он не знал изменников поганых!

Переглянулись...

Понесли пить...

Когда пили, Корней незаметно мигнул одному казаку. Тот встал и пошел было из землянки. Один из сотников Разина остановил его:

— Посиди.

— Ты с чем приехал, Степан? — прямо спросил Корней.

— Карать изменников! — Степан ногой двинул стол. Трое его сотников рубили уже старшину. Раздались выстрелы... В землянку вбежали. Степан застрелил одного и кинулся к сабле, пробиваясь через свалку кулаком, в котором был зажат пистоль.

— Степан!.. — закричала Алена. — Они же подобру приехали!.. Степушка!.. — Она повисла у него на шее. Этим воспользовались, ударили чем-то тяжелым по голове. Удар, видно, пришелся по недавней ране. Степан упал.

И опять звон ошеломил голову. И ночь сомкнулась непроглядная, беспредельная, и Степан полетел в нее. Не чувствовал он, не слышал, как били, пинали, топтали распростертое тело его.

— Не до смерти, ребятушки!.. — заполошно кричал Корней. — Не до смерти! Нам его живого надо!

...И опять, как сознание помутилось, увидел Степан:

Степь... Тишину и теплынь мира прошили сверху, с неба, серебряные ниточки трелей. Покой. И он, Степан, безбородый еще, молодой казак, едет в Соловецкий монастырь помолиться святому Зосиме.

— Далеко ли, казак? — спросил его встречный старый крестьянин.

— В Соловки. Помолиться святому Зосиме, отец.

— Доброе дело, сынок. На-ка, поставь и за меня свечку. — Крестьянин достал из-за ошкура тряпицу, размотал ее, достал монетку, подал казаку.

— У меня есть, отец. Поставлю.

— Нельзя, сынок. То — ты поставишь, а это — от меня. На-ка. Ты — Зосиме, а от меня — Николе Угоднику поставь, это наш.

Степан взял монетку.

— Чего ж тебе попросить?

— Чего себе, то и мне. Очи знают, чего нам надо.

— Они-то знают, да я-то не знаю, — засмеялся Степан.

Крестьянин тоже засмеялся:

— Знаешь! Как не знаешь. И мы знаем, и они знают.

Пропал старик, все смешалось и больно скрутилось в голове. Осталось одно мучительное желание: скорей доехать до речки какой-нибудь и вволю напиться воды... Но и это желание — уже нет его, опять только — больно. Господи, больно!.. Душа скорбит.

Но опять — через боль — вспомнилось, что ли, или кажется все это: пришел Степан в Соловецкий монастырь. И вошел в храм.

— Какой Зосима-то? — спросил у монаха.

— А вон!.. Что ж ты, идешь молиться — и не знаешь кому. Из казаков?

— Из казаков.

— Вот Зосима.

Степан опустился на колени перед иконой святого. Перекрестился... И вдруг святой загремел на него со стены:

— Вор, изменник, крестопреступник, душегубец!.. Забыл ты святую соборную церковь и православную христианскую веру!..

Больно! Сердце рвется — противится ужасному суду, не хочет принять его. Ужас внушает он, этот суд, ужас и онемение. Лучше смерть, лучше — не быть, и все.

Но смерти еще нет. Смерть щадит слабого — приходит сразу; сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов.

14

Вот уж не бред и видения, — а так и было: прокляли Степана на Руси. Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открестилось от Стеньки Разина, разбойника, изменника, душегубца.

«Великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градах учинил, и всех купно православных, которые к ево воровству не пристали, побил, со единомышленники своими да будет проклят!..» — так читали. Вот она — бумага-то!..

Господи, Господи!.. Кого клянут именем твоим здесь, на земле! Грянь ты оттуда силой праведной, силой страшной — покарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние исторгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, и руку не подыми за слабых и обездоленных: с проклятиями полезут!.. С бумагами... С именем твоим... А старания-то все, клятвотворцев-то, вера-то вся: есть-пить сладко надо.

«...Страх господа Бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменявший, ЦЕРКОВЬ святую возмутивший и обругавший...»

Слушали люди... Это — из века в век — слушают, слушают, слушают.

«И к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Как, однако!.. Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего-то — чтоб набить брюхо. Тьфу!.. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и — хрюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали — ублажали. Вот невоготу-то, Господи! Вот с души-то воротит, вот тошно-то.

«Новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, зло мысленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец...»

Ну, что же уж тут... Ничего тут не сделаешь.

— Врете! — сильный, душераздирающий голос женщины. Если бы его тоже могли слышать все.

Это кричала Алена-старица с костра. Ее жгли. Это — там, где еще горел бунт, где огонь его слабел, смертно чадил и гас в крови.

— Врете, изверги! Мучители!.. Это вас, — кричала Алена, объятая пламенем, в лицо царевым людям (стрельцам и воеводам, которые обступили костер со всех сторон), — не вы, мы вас проклинаям! Я, Алена-старица, за всю Русь, за всех людей русских — проклинаяю вас! Будьте вы трижды прокляты!!! — Она задохнулась дымом... И стало тихо.

15

Какая бывает на земле тишина! Непостижимая.

Отлогий берег Дона. Низину еще с весны затопило водой, и она так и осталась там, образовав неширокий залив.

Ясную, как лазурь поднебесная, гладь залива не поморщит низкой теплый ветерок, не тронет упавший с дерева легкий лист; вербы стоят по колена в воде и смотрятся в нее светло и чисто.

Станица в две сотни казаков расположилась на берегу залива покормить коней. Везут в Москву Степана Разина с братом. Они еще в своих богатых одеждах; Степан скован по рукам и ногам

тяжкой цепью, Фрол гремит цепью послабее, не такой увесистой.

— Доигрался — ишо никого из казаков не проклинали, — горестно сказал Корней крестнику. — Легко ли?

— Ну, так я тебя проклинаяю, — молвил Степан спокойно.

— За что бы? Я на церкву руку не подымал, зря не изводил людей, — стараясь тоже говорить спокойно, сказал Корней. — Царю служу, я на то крест целовал. И отец мой служил... И твой тоже.

— Эх, Корней, кресный, — вздохнул Степан. — Вот закованный я по рукам-ногам, и не на пир ты меня везешь, — а жалко тебя.

— Вон как! — искренне изумился Корней.

— Жалко. Червем прожил. Помирать будешь, спомнишь меня. Спомнишь... Я ишо раньше к тебе не раз приду — мертвый.

Они сидели чуть в сторонке от других, ближе к воде; Степан привалился спиной к нетолстой молодой вербе с криулинкой, руки держал промеж ног, чтоб лишний раз не звякать цепью — этот звяк угнетал его.

— Ладно, — согласился Корней, — я — червем, ты — погулял...

— Не в гульбе дело, — оборвал Степан рассуждения войскового. — А то бы я не нашел, где погулять!

— Чего же ты хотел добиться? — спросил тогда Корней.

— Не поймешь.

— Где нам! Где нам за тобой угнаться. Мы люди малые...

— Змей ты ползучий, и поганый вдобавок, — сказал Степан негромко. — Подумай: рази ты человек? Да рази человек будет так, чтоб ему только одному хорошо было! Ты вот торгуешь Доном... Вольностями нашими. После тебя придут — тоже охота урвать кусок пожирней, — тоже к царю поползут... Больше-то чем возьмете? — Степан говорил без злобы, спокойно. — И вот такие лизоблюды... все отдадут. Вот беда-то. Пошто я тебя не пристукнул!.. Можеть, другим бы не повадно было... Гады вы! Бог тебе ум дал, а ты измусолил его — по углам рассовал, всю жизнь, как собака, в глаза хозяину своему заглядывал. А доберись я до того хозяина, — он бы сам завыл, как собака.

— Быть было ненастью, да дождь помешал. Смотри, как бы тебе не завывать там. Там умеют... сок жать.

— Не завою. Не порадуя царя — не дождетесь.

— Стенька... Скажи напоследок: пошто войсковым не захотел стать? Я же тогда не обманывал тебя, правду говорил. Помнишь? В церкви-то...

— Помню.

— Пошто же?

— У человека душа есть, а рази важно ей — войсковою я или не войсковою. Она небось и не знает-то про эти слова. Был бы я товарищ верный, да была бы... Да был бы я — вольный. Вот и все, я и спокойный.

— Ну, и спокойный? Столько людей загубил...

— Не за себя губил, за обиженных.

— Фу-ты, какой заступник выискался!

— А кто же за их заступится? Ты? Тебе лишь бы допозлти до кормушки... Эх, надо б мне тебя раздавить! Пожалел. Моя промашка, кресный. Каюсь.

— Корней Яковлич! Можно и в путь-дорогу! — шумнули от казаков, где их собралось покучней; которые уж и коней седлали, подпруги подтягивали.

— С богом! — Корней встал и пошел к своей лошади.

За разговором этим наблюдал со стороны Фрол Минаев. За время, пока Степана держали в Черкасске и потом везли плененного, Фрол Минаев держался поодаль, наблюдал, но не подходил. А Степану было не до него. Степан, как пришел в память, все время был спокоен и задумчив. Иногда только подбадривал брата, павшего духом, улыбался и шутил с ним. На всех остальных смотрел с глубоким презрением.

Теперь, пока казаки ловили и седлали коней, Фрол Минаев подошел к Степану, присел рядом. Как когда-то, в степи, когда гнался атаман за другом-врагом, не догнал, упал с коня, — так же сидели теперь, только Степан был в железах. Оба, видно, вспомнили то свое сидение, глянули друг на друга, помолчали. Близко никого не было; Фрол заговорил:

— Степан...

— Ну? — Степан прищурился на Фрола... Долго смотрел, внимательно. — Что ж ни разу не подошел поговорить?

— А чего говорить? — наигрывая беспечность, но и принахмурившись, откликнулся Фрол. — Без разговоров все понятно. Чего говорить? Хотел я только спросить...

— Тебе — есть чего. Ты упреждал меня — твоя взяла. Вот и скажи, а не спрашивай. Посмейся хоть надо мной. Корней вон выговорил...

— Я не радуюсь, Степан, — искренне сказал Фрол. — Нет. Мне жалко тебя.

— Ну? — удивился Степан. — А кто это угостил меня сзади? В землянке-то?.. Не ты?

— Нет.

— Кто же?

— Не все равно тебе кто?

— Ну, все же.

— Мишка Самаренин.

- А-а. Я, грешным делом, на тебя думал. Похоже на тебя...
- Степан... — раздумчиво, с глубоким, серьезным интересом повторил Фрол, — дурацкое дело — теперь спрашивать: к чему ты все это затеял?..
- Дурацкое, — согласился Степан. — Надоело. Я ж тебе говорил.
- Ладно, не буду. Скажи только: пошто так легко попался? Сам ведь полез... Знал же: конец там тебе, зачем же лез?
- Э, не так все легко, Фрол, как на словах у тебя. «Конец»... Перебей мы вас тада, в землянке... Не знаю. Не знаю, кто из нас какие слова говорил бы счас.
- Четверо-то — двенадцать?! Ты что?
- Не знаю, не знаю. Одно знаю: вовремя меня Мишка угостил по затылку. Не знаю, куда бы качнулись эти ваши семьсот казаков. Выйди я тада из землянки цел, невредим — поднялась бы у кого рука на меня? А?
- Не знаю, — признался Фрол. — Как-то... не думал так.
- А я знаю. И ты знаешь: не поднялась бы. Опять хитришь. Все хитришь, Фрол... Ты все знаешь: они с вами, пока вы — над имя. Убери-ка счас отсюда всю головку старшинскую... А? — Степан засмеялся. — Встал бы я да зыкнул, как бывало: братцы!.. — Степан и в самом деле налег на голос, крикнул. Казаки, все как один, враз оглянулись. Кто успел поставить ногу в стремя, оглянулся, стоя на одной ноге, кто седлал лошадь, оглянулся с седлом в руках... Корней Яковлев шел к коню, от возгласа Степана, неожиданного, аж споткнулся. Резко оглянулся... Не по-старчески скоро пошел, побежал почти к Степану, невольно сунулся правой рукой к поясу. И никто ничего не сказал, все молчали. Смотрели на Степана...
- А-а, — сказал Степан. — А ты говоришь.
- Фрол Минаев махнул рукой Корнею, чтоб не спешил к пленнику, что пленник — дурачится. Корней, не поворачивая головы, глянул туда-сюда по сторонам — не видел ли кто, как он чуть не бегом кинулся к скованному по рукам и ногам человеку и даже за пистоль схватился? — проверил и, повернувшись, пошел опять к коню, медленно.
- Змей заполошный, — сказал негромко, себе под нос. — Ажник ноги подсеклись.
- Степана истинно развеселила эта всполошка казаков.
- Вот, Фрол... говорят: не выливай помоев, заготовь сперва чистой воды. Правда. Всяко бывает... И так бывает: поехали пир пировать, а пришлось бы горевать.
- Да нет, тебе теперь уж не пировать, — тихо сказал Фрол.
- Как знать... — тоже тихо, глядя на затон, молвил Степан.
- Знаю. Это-то знаю.
- Ну, а чего ж ты ишо хочешь узнать, Фролушка? — спросил Степан ласково. — Чего тебе сказать, друг мой любый? — Он повернулся к Фролу.
- Зачем в Кагальник-то пришел? Неужель уйтить некуда было? Я прям ушам своим не

поверил, когда сказали, что — едешь.

Степан ответил не сразу. И ответил неясно:

— Спотычка была у меня в жизни... Горькая одна спотычка. — Он посмотрел в далекую даль, и боль явственная проглянула из его глаз так, что он даже зажмурился. И опять молчал долго. Открыл глаза, глянул на свои руки и ноги, качнул горестно головой. — Вот за то и получил... эти дары. — Тряхнул железами, они покорно звякнули.

— Какая спотычка? — Фролу и правда было интересно. — У тебя много спотычек было. Какая же самая... горькая?

— Это я тебе не скажу. Другу сказал бы... Но у меня их не осталось. Вот на тем свете свижусь с имя — покаюсь. Повинюсь.

— Жалеешь, что не убил меня? На степи-то? — спросил еще Фрол.

— Нет, — честно сказал Степан. — Нет. Гнался — хотел убить, потом — нет. Не знаю... как-то расхотел. Я тебя ишо один раз мог убить... теплого, в постеле. Был я одна в Черкасске. Ночью. Ты даже не знаешь...

— Знаю, Корней говорил.

— А-а. Ну вот: мог зайти, приткнуться к лежаку... Не стал.

— Ну, а чего ты хотел-то, Степан? Прости меня... не думал спрашивать, а охота. — Фрол жалостливо смотрел на скованного давнего друга. — Я и тогда спрашивал, только не понял...

— Хотел дать людям волю, Фрол. Я не скрытничая, всем говорил. И тебе говорил, ты только не захотел понять. Мог-то ты мог — не захотел.

— А чего из этого вышло? — Вот это, главное, и хотел — не спросить — сказать хотел Фрол.

— А чего вышло? Я дал волю, — убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю... Берите!

— Ты сам в цепях! Волю он дал...

— Дал. Опять не поймешь?

— Не пойму. — Фрол все смотрел на повергнутого атамана с жалостью и пытливо.

— Фрол... — Степан вдруг резко повернулся к нему, один миг смотрел — присматривался, от волнения даже пошевелился и глотнул. — Друг... сбей железы. Пока подбегут — успеешь... — Степан торопился говорить, говорил негромко и неотступно смотрел на Фрола. — Спомни дружбу, Фрол... Мы их одолеем, они сами не полезут... Фрол... милый... вас же обманно зовут на Москву: вас тоже покарают там. Откинут вас, как бревешки обгорелые, — вы ж тоже возле огня лежали. На кой вы им теперь? Сбей, Фрол: улетим, только нас и видали. А? Они, эти-то, не сунутся, Фрол!.. Ослобони только руки — иди тада, возьми меня! Да они и не сунутся. Фрол, друг... — Степан все смотрел на Фрола... и плакал. Черт знает, какая слабая минута одолела, но — плакал. Светлые капли падали с ресниц на щеки, на усы, а с усов, подрожав, срывались.

— Век не забуду. Неужель тебе бояры московские дороже? Мы уедем... Куда позовешь, туда уедем. С нами опять сила большая будет!..

— Опять он за силу!.. — Фрол явно растерялся от таких неожиданных, напористых, из самого сердца идущих слов Степана. — На кой она тебе?

— Ну, так уедем, — на все соглашался Степан. — Возьмем сотни две охотников — и в Сибирь. Что же за радость тебе, что мне снесут голову? И вам позор, и Дону всему... на веки вечные. Неужель ты спокойно помрешь после этого?! Да и не выпустят вас теперь с Москвы — вы тоже опасные, раз со мной знались. А ты-то... в дружках ходил. Подумай-ка, ты ж не дурак. Чего ж мы... сами лезем туда? Фрол! Сбей — скочим на коней — мы их тут же развеем, они и не рыпнутся. Рази не так, Фрол?

Может, мгновение какое-то Фрол колебался... Или так показалось Степану. Но только он еще раз с мольбой сказал:

— Фрол, друг... спаси: доживем вольными людьми. Не страх меня убивает, а — совестно так жизнь отдавать. Веришь, нет — загодя от стыда душа обмирает. Это ж — перед всем-то народом... Сам теперь жалкую, что поехал тада в Кагальник — стих накатил какой-то. Мы ишо стрепенемся, Фрол!

— Без ума, что ли, бьесся? — сказал Фрол, не глядя на Степана. Встал и пошел прочь грузным шагом.

Степан отвернулся... Резко тряхнул головой, скидывая с ресниц слезы. Сплюнул.

Казачи были уже все верхами. Подъехали сажать на коней Степана и Фрола, они сами не могли сесть из-за цепей.

— Другой раз в казачи крестют нас, брат, — сказал Степан брату. — Первый раз — когда отец малых... Я про себя-то не помню, а с тобой — помню; вокруг церкви отец возил: тоже подсаживал да держал. Теперь тоже — подсаживают и держут, чем не крестины! Вот. А ты закручинился. Казаку, когда его один-то раз в казачи крестили, и то пропасть нелегко, а нас — по другому разу. Не тужи, брат, не пропадем.

Фрол Минаев через день пути сказался хворым и вернулся в Черкасск. Многие поняли: не хочет видеть казни Степана в Москве. Не хочет и близко быть к тому месту, где прольется кровь атамана, бывшего друга его.

Понял это и Степан. Долго после того караулил минуту, когда брат Фрол окажется близко и их не услышат; скараулил, стал наказывать брату тихо, просительно:

— Фрол... потерпи, как пытать станут, пожалей меня... Не кричи, не кайся.

Брат Фрол молчал.

— Потерпи, Фрол, — просил Степан, стараясь найти слова добрые, ласковые. — Что теперь сделаешь? Разок перетерпим, зато ни одну собаку не порадуем. Хоть память... хоть лихом никто не помянет.

— Тебе хорошо — ты погулял вволю, — сказал Фрол.

— Ну!.. — Степан не знал, что на это сказать. — Фролушка, милый ты мой, потерпи: закричишь,

все дело смажешь. Ради Христа, прошу... Сам Христос вон какие муки вынес, ты же знаешь. Потерпи, Фрол. Подумай-ка, сколь народу придет смотреть нас!.. А мы вроде обманем их. У нас отец хорошо помер, брат Иван тоже... Ты вот не видал, как Ивана удавили, а я видал — хорошо помер, нам с тобой не совестно за их было. Не надо и нам радовать лиходеев, не надо, Фрол, пожалей меня. Я любил тебя, зря, может, затынул с собой, но... теперь чего про это — поздно. Теперь примем все сполна... Бог с ей, с жизнью. Ладно, Фрол?

Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать? — он не знал, как там будет, сможет ли он вытерпеть все.

— Фрол Минаев, смотри, — отвалил, — подвел к концу Степан свою просьбу. — Знаешь пошто? Не хочет на наши муки смотреть — совестно. Вишь, ждут — сломаемся. Не надо, брат. Думай все время про ихние усмешки поганые — легче терпеть будешь. Смотри на меня: как я, так и ты. Будем друг на дружку глядеть — не так будет... одиноко. Это хорошо, что нас вместе: они нам, дураки, силы прибавляют.

Лет через десять после того юный Афонька Разин, пасынок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно говорить — в присутствии войскового атамана, — что-де он еще «пустит кой-кому кровя» за отчима — отомстит... Все так и ахнули. Подумали: пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но войсковой только глянул на казачка... И, помолчав, грустно промолвил:

— Пусть сперва молоко материно на губах обсохнет. Мститель. Не таких... — И не досказал войсковой. Смолк.

Войсковым тогда был Фрол Минаев.

16

И загудели опять все сорок сороков московских.

Разина ввозили в Москву.

Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди.

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман — руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы. Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол Разин.

Телегу везли три одномастных (вороных) коня.

За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самариним.

Заклучали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, дулами книзу.

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу, и она так занимала его, что не было ни желанья, ни времени видеть, что творится вокруг.

Так ввезли их в Кремль и провели в Земский приказ.

И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать.

— Ну? — мрачно и торжественно молвил думный дьяк. — Рассказывай... Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем сговаривался?

— Пиши, — сказал Степан. — Возьми большой лист и пиши.

— Чего писать? — изготовился дьяк.

— Три буквы. Великие. И неси их скорей великому князю всея-всея.

— Не гневи их, братка! — взмолился Фрол. — К чему ты?

— Что ты! — притворно изумился Степан. — Мы же у царя!.. А с царями надо разговаривать кратко. А то они гневаются. Я знаю.

Братьев свели в подвал.

За первого принялись за Степана.

Подняли на дыбу: связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой, свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей — тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись.

Кнутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул — и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар... Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут.

— Будешь говорить? — спрашивал дьяк после каждого удара.

Степан молчал.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный, и тут озлобился. Он сменил и второй кнут.

Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата. Слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не услышал, чтобы Степан издал хоть один звук.

Двадцать ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне.

— Двадцать. Боевой час, — сказал он. — Дальше... без толку: забьем, и все.

Степан был в забытьи, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул.

Подняли Фрола.

После трех-четырёх ударов Фрол громко застонал.

— Терпи, брат, — серьезно, с тревогой сказал Степан. — Мы славно погуляли — надо потерпеть. Кнут не Архангел, душу не вынет. Думай, что — не больно. Больно, а ты думай: «А мне не больно». Что это? — как блоха укусила ей-богу! Они бить-то не умеют.

После двенадцати ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой.

Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной.

— О-о!.. — воскликнул он. — От эт достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то — чтоб до костей дошло... Так! Давненько в бане не был — кости прогреть. О-о... так! Ах, сукины дети, — умеют, правда...

— Где золото зарыл? С кем списывался? — вопрошал дьяк. — Где письма? Откуда писали?..

— Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку! Ах, в гробину вас!.. В три господа Бога мать, не знал вперед такой бани — погрел бы кой-кого... Славная баня!

Ничего не дала и эта пытка.

Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.

— Будешь говорить?! — заорал дьяк.

— Июды, — сказал Степан. — Бейте уж до конца... — Он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале, — чтобы только не выводили на народ такого... слабого.

— Где добро зарыл?

На это Степан молчал.

— Заговорил? — спросил царь.

— Заговорит, государь! — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и огонь. — Покамест упорствует.

— Спросить, окромя прочего: о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?

Писец быстро записывал вопросы царя.

— Как пошел на море, по какому случаю в Астрахань ясырь присылал? Кому? По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил? За что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона, и что он к ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли? Как иттить на Синбирск, жену видал ли?

Степана привязали спиной к столбу, закличили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть.

Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уже голосом сказал:

— Все думал... А в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы...

Началось истязание водой.

— С крымцами списывался? — спрашивал дьяк.

Степан молчал.

Капают, капают, капают капли... Голова стянута железными обручами — ни пошевелить ею, ни уклониться от муки. Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову; горит все внутри, глаза горят, сердце горит и пухнет... Да уж и остановилось бы оно, лопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть!.. Ну, сколько же?.. Зачем уж так?

— Куда девал грабленное? Кого подсылал к Никону?

Волнами из тьмы плещет красный жар; голова колетса от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание.

— Чего велел сказать Никон? — еще услышал он, последнее.

...Вошел Степан в избу; сидит в избе старуха, качает дите. Поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела:

Бай, бай, да побай,

Хоть сегодня помирай.

Помирай поскорей —

Хоронить веселей.

Тягька с работки

Гробок принесе,

Баушка у свечки рубашку сошье.

Матка у печки

Блинов напеке.

Бай, бай...

С села понесем

Да святых запоем.

Захороним, загребем

Да с могилы прочь пойдем.

Будем исть-поедать,

Да и Ваню поминать.

Ба-ай...

— Что ж ты ему такую... печальную поешь? — спросил Степан.

— Пошто печальную? — удивилась старуха. — Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:

Спи, Ванюшка, спи, родной,

Вечный тебе упокой:

Твоим ноженькам тепло,

И головушке...

— Хватит! — загремел в былую силу Степан.

...Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.

— Что ты? А? — склонился дьяк.

— Кто? — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.

— Кого хотел сказать-то? — еще спросил тот.

— Вам? — Степан медленно повел глазами, посмотрел на палачей. — Ну-у... выставились... Вы рады всю Русь продать... Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас...

Его ударили железом каким-то по голове. Опять все покачнулось и стало валиться.

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал:

— Тяжко... Помоги, братка, дай силы!

...И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, попятнулись... В подземелье загремел сильный голос:

— Кто смеет мучить братьев моих?!

Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склонился над Степаном.

— Братка!.. — Степан открыл глаза — палачи на месте, смотрят вопросительно.

— За брата казненного мститься хотел? — спросил дьяк. — Так?

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни единого стопа или вздоха не вырвалось больше из его уст. Господи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне смерти. Ну, что же так?.. Так уж и я не могу.

Царю доложили:

— Ничего больше не можно сделать. Все пробовали...

— Молчит?

— Молчит.

Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали):

— Чего умеете?! Чего умеете?! Ничего не умеете!

— Все пробовали, государь... Из мести уперся, вор. За поимку свою мститесь. Дальше без толку — дух испустит.

— Ну, и... все, будет, — сказал царь. — Не волыньте.

17

Красная площадь битком набита. Яблоку негде упасть.

Показались братья Разины под усиленной охраной. Площадь замерла.

Степан шел впереди... За ночь он собрал остатки сил и теперь старался идти прямо и гордо глядел вперед. Больше у него ничего не оставалось в последней, смертной борьбе с врагами — стойкость и полное презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило — как он примет смерть.

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост лобного места. Фролу помогли подняться.

Дьяк стал громко вычитывать приговор:

— «Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!

В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и ево государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады, и иных многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил».

Слушал люд московский затаив дыхание.

Слушал и не слушал Степан историю славных своих походов. Он помнил их без приговора. Спокойно его лицо и задумчиво. Он старался изо всех сил стоять прямо.

— «Ты ж, вор, и в шахове области многое воровство учинил. А на море шаховых торговых людей побивал и животы грабил, и города шаховы поимал и разорил, и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую».

Степан посмотрел на царскую башню на Кремлевской стене...

Оттуда смотрел на него царь Алексей Михайлович.

— «А во 177-м году по посылке из Астрахани боярина и воевод князя Ивана Семеновича Прозоровского стольник и воевода князь Семен Львов и с ним великого государя ратные люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И ты, вор Стенька с товарищи, видя над собой промысел великого государя ратных людей, прислал к нему, князь Семену, двух человек

выборных казаков. И те казаки били челом великому государю от всего войска, чтоб великий государь пожаловал, велел те ваши вины отдать. А вы за те свои вины ему, великому государю, обещались служить безо всякой измены и меж великим государем и шаховым величеством ссоры и заводов воровских никаких нигде не чинить и впредь для воровства на Волгу и на моря не ходить. И те казаки на том на всем за все войско крест целовали. А к великому государю к Москве прислали о том бить челом великому государю казаков Ларьку и Мишку, с товарищи, знатно, обманом».

Вот когда во всю силушку заговорила бумага-то! Вот как она мстила теперь.

— «А во 178-м году ты ж, вор Стенька с товарищи, забыв страх божий, отступя от святыне соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на Дону церковей божиих ставить и никакова пения петъ не велел, и священников з Дону збил, и велел венчаться около вербы. Ты ж, вор, пошел на Волгу...»

Волга... Не ведомо ей, что славный герой ее, которого она качала на волне своей, слушает сейчас в Москве последние в жизни слова себе.

— «Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, будто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на оборону. И царицынские жители по твоей прелести своровали и город тебе здали. И ты, вор, воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду».

Слушал народ московский. Молчал.

— «Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с раскату бросил. И брата его князя Михаила, и дьяков, и дворян, и детей боярских, которые к твоему воровству не пристали, и купецких всяких чинов астраханских жителей, и приезжих торговых людей побил, а иных в воду пометал мучительно, и животы их пограбил».

Степан смотрел куда-то далеко-далеко.

— «А учиня такое кровопролитие, из Астрахани пришел к Царицыну, а с Царицына к Саратову, и саратовские жители тебе город здали по твоей воровской присылке. А как ты, вор, пришел на Саратов, и ты государеву денежную казну и хлеб и золотые, которые были на Саратове, и дворцового промыслу, все пограбил и воеводу Козьму Лутохина и детей боярских побил.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарищи под Синбирск пришел, с государевыми ратными людьми бился и к городу Синбирску приступал и многие пакости починил. И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, будто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет.

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на прелесть, будто с тобою Никон монах, и тем прельщал всяких людей. А Никон монах по указу великого государя по суду святейших вселенских патриарх и всего Освященного престола послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, и ныне в том монастыре.

А ныне по должности к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу службой и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всево войска и сами вы и с

братом твоим с Фролкой пойманы и привезены к великому государю к Москве.

И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу за измену и ко всему Московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью — четвертовать».

Все так же спокойно, гордо стоял Степан.

Палач взял его за руку... Степан оттолкнул палача, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился.

Потом поклонился на три стороны народу (минуя Кремль с царем), трижды сказал громко, как мог:

— Прости!

К нему опять подступили... Степан хотел лечь сам, но двое подступивших почему-то решили, что его надо свалить; Степан, обозлившись, собрал остатки сил и оказал сопротивление. Возня была короткая, торопливая; молча сопели. Степана уронили спиной на два бруса — так, что один брус оказался под головой, другой — под ногами... В тишине тупо, коротко таянул топор — отпала правая рука по локоть. Степан не издал стона, только удивленно покосился на отрубленную руку. Палач опять взмахнул топором; железное лезвие хищно всплеснуло на горячем солнце белым огнем; смачный, с хрустом, стук — отвалилась левая нога по колено. И опять ни стона, ни вздоха громкого... Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо. Он был бледен, на лбу мелкой росой выступил пот.

Фрол, стоявший в трех шагах от брата, вдруг шагнул к краю помоста и закричал в сторону царя:

— Государево слово и дело!

— Молчи, собака! — жестко, крепко, как в недавние времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал Степан. Глотнул слюну и еще сказал — тихо, с мольбой, торопливо: — Потерпи, Фрол... родной... Недолго.

Палач третий раз махнул топором...

Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дрогнул. Вскрикнула какая-то баба...

Палач рубил еще дважды.

Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей...